



ЕВРОПЕЙСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Андрей Заостровцев

## О РАЗВИТИИ И ОТСТАЛОСТИ

Как экономисты  
объясняют историю?



Санкт-Петербург 2014

Утверждено к печати Ученым советом  
Европейского университета в Санкт-Петербурге

Рецензенты:

В. Я. Гельман, канд. полит. наук  
Л. Э. Лимонов, д-р экон. наук

**Заостровцев, А. П.**

3-29 О развитии и отсталости: как экономисты объясняют историю? / Андрей Заостровцев. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. — 248 с.

ISBN 978-5-94380-180-8

В книге раскрываются и сравниваются концепции экономистов, объясняющие ход исторического развития, природу прогресса и отсталости стран и народов. Представлены воззрения Дугласа Норта и ряда его соавторов, Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона, Дипака Лала, Людвиг фон Мизеса и его последователей, Дейдры Макклоски. Такая панорама экономической мысли обеспечивает взгляд на поднятые проблемы с различных точек зрения. Автор придерживался принципа беспристрастного их изложения.

Представленные в работе авторы преимущественно нацелены на раскрытие загадки современного экономического роста, которому не более 200 лет. Что сделало человечество значительно более богатым сегодня, чем два столетия назад? Почему этот рост стартовал первоначально в Западной Европе и США? Что задает его темпы сегодня? В чем причина различий в уровне развития стран? Есть ли выход из отсталости? Решая эти и многие другие подобные вопросы, авторы предлагают универсальные концепции, раскрывающие с их точки зрения весь ход истории человечества. В итоге видно, как экономисты объясняют историю.

Книга адресована как экономистам, так и не в меньшей степени всем исследователям в области социальных наук. Она будет полезна преподавателям социальных дисциплин и студентам, изучающим эти дисциплины. Знакомство с ней даст много пищи для размышлений любому, кто интересуется историей и глобальными проблемами современности.

УДК 330.3  
ББК 65.01

© А. П. Заостровцев, 2014  
© Европейский университет  
в Санкт-Петербурге, 2014

ISBN 978-5-94380-180-8

Предисловие ..... 7

*Глава 1*

ДУГЛАС НОРТ: ПОСТИЖЕНИЕ ИСТОРИИ ..... 11  
1.1. Введение ..... 11  
1.2. От клиометрика — к институционалисту ..... 13  
1.3. Логика общественной динамики ..... 29  
1.4. Истории успехов и провалов ..... 47  
1.5. Теория социальных порядков ..... 59

*Глава 2*

АСЕМОГЛУ И РОБИНСОН: ТОЛЬКО ИНСТИТУТЫ  
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ! ..... 73  
2.1. Введение ..... 73  
2.2. Какие теории не работают? ..... 75  
2.3. Близкие, но далекие ..... 83  
2.4. Инклюзивные и экстрактивные институты ..... 89  
2.5. Порочный круг и благой круг ..... 94  
2.6. Тупики авторитарной модели роста и теории модернизации ..... 111

*Глава 3*

ДИПАК ЛАЛ: МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ ..... 118  
3.1. Введение ..... 118  
3.2. Исходные понятия и методология анализа ..... 121  
3.3. Почему Запад? ..... 133  
3.4. А что Восток? ..... 139  
3.5. Либеральный экономический мировой и имперский порядок ..... 158  
3.6. Индивидуализм, закат Запада и луч надежды ..... 164

*Глава 4*

МИЗЕС И АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА:  
ИДЕИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ..... 169  
4.1. Введение ..... 169  
4.2. История по Мизесу ..... 173  
4.3. Нам не дано предугадать... ..... 182  
4.4. Новая экономика развития: институты и *метис* ..... 189  
4.5. О роли экономиста ..... 199

<i>Глава 5</i>	
ОТ МИЗЕСА К МАККЛОСКИ: РИТОРИКА И ИСТОРИЯ .....	204
5.1. Введение .....	204
5.2. Что мешает экономисту понять историю? .....	206
5.3. Гуманомика, буржуазные добродетели и буржуазное достоинство .....	213
5.4. Формула Макклоски .....	220
5.5. Макклоски: предупреждения и рекомендации .....	224
Заключение .....	228
Литература .....	232

## Предисловие

Экономисты бросились писать историю. Причем нередко не историю какого-либо государства или уж тем более не историю какого-то периода в жизни государства. Экономистов привлекает ни больше ни меньше вся история человечества. В первую очередь те страны, где появился современный экономический рост и откуда он распространился на весь мир. В этом случае главная задача — объяснить, как они сами говорят, «загадку экономического роста». И, само собой, тут же появляется задача объяснить не только истории успеха, но и истории провалов. В общем, историю взлетов и падений.

Что касается роста. Казалось бы, что здесь особенного. Растем и растем. Однако так было далеко не всегда. Примерно до начала XIX в. экономического роста не было. Точнее, он случался, но временами. В отдельных регионах, в отдельные эпохи. И вскоре заканчивался. А тут человечество за какие-то 200 лет увеличило свое богатство многократно. Читатель книги познакомится с разными вариантами ответа на вопрос, который часто формулируют так: «Почему Запад?» Почему он стал богатым, а другие нет и теперь его усиленно догоняют такие азиатские гиганты, как Китай и Индия? Где они были раньше?

Как нам предстоит убедиться, разные экономисты дают на эти вопросы разные ответы да еще много спорят друг с другом. Так что выбирайте из несоответствующих точек зрения любую на вкус. В данной книге специально почти не делается оценок той или иной концепции. Присутствует только изложение. Насколько оно доступно — не автору судить. А вот почему выбраны именно те экономисты, которые выбраны, — об этом, конечно, судить автору. И необходимо раскрыть основания этого выбора для читателя.

Прежде всего критерием являлся охват. Когда описывается если не вся, то значимая часть истории человечества и/или предлагается теория, которая может ее объяснить. Возьмем, к примеру, Дугласа Норта. До выхода последней книги, которую он написал с двумя соавторами, его работы делали упор на теоретические концепции, на основании которых можно понять, что помогает и что мешает развитию. Выбранное им направление исследований получило название новой институциональной

экономической истории. В последней работе, носящей амбициозный подзаголовок «Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества», дана теория социальных порядков и перехода от одного к другому, которая прилагается к различным регионам нашей планеты. Впрочем, ряд регионов выпал из рассмотрения, но тут уж, как говорится, «нельзя объять необъятное».

В то же время в одной из глав представляется теория истории Людвиг фон Мизеса — пожалуй, ключевой фигуры в австрийской экономической школе. У него, говоря современным языком, почти нет кейсов. Но он дает ключ к познанию исторической динамики — сообщает нам свое мнение о том, что в конечном счете движет миром. Не будем здесь заранее раскрывать эту «тайну». Заметим только (для сведения некоторых углубленных в абстрактные модели экономистов), что австрийская школа не умерла, а продолжает жить. И доказательство этому читатель найдет в данной книге в виде обращения к творениям ныне здравствующих последователей Мизеса (Питера Беттке, не говоря уже о Дейдре Макклоски).

Многие считают, что экономисты — скучные люди, копающиеся в кучах биржевых сводок. Однако экономисты, о которых пойдет речь в книге, предстанут совсем в ином свете. Для тех, кто привык мыслить традиционно, они, возможно, даже окажутся неузнаваемы. Дуглас Норт с его соавторами озабочены в первую очередь проблемой насилия; Дипак Лал — вопросами идеологии или, как он ее называет, космологией, а также тем, что у него называется материальными ценностями; Дейдра Макклоски — риторикой. Все они пишут об убеждениях людей, идеях. Не очень похоже на экономистов — правда? Некоторые из них вообще призывают не искать каких-то привычных материальных факторов, объясняющих успехи и неудачи наций. Просто потому, что в роли таковых они не выступают. Точка зрения, возможно, и спорная, но интересная, и в ее пользу приводятся достаточно весомые аргументы.

Далее для тех, кто более-менее знаком с современной экономической теорией, экономист — это математик, описывающий свой предмет исследования на базе математических моделей и эконометрических тестов. Типичное воплощение такого образа экономиста — предстающие перед нами Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон. Если мы обратимся к их работам, то найдем всего этого добра в избытке. Но только не в их последней книге с любопытным названием «Почему страны терпят неудачу?». Возможно, их к отказу от математики подтолкнула популярность вышедшей незадолго до этого книги Норта и его соавторов о социальных порядках

и насилии (той самой, что носит амбициозный подзаголовок). Для нас же этот отказ был главным критерием выбора освещаемых концепций, поскольку в таком случае авторы предстают на одном вербальном поле и в результате открывается возможность сопоставлять и сравнивать их взгляды. Если же кто-то в вопросах анализа исторического развития стран и народов прячется за завесу математики, то это часто (хотя и не всегда) означает, что, кроме общих банальностей, сказать-то особо и нечего. Тут отчасти влияет такой-то фактор, а там чуть сильнее — некий иной. Ничего определенного. В мире множественных регрессий и коэффициентов детерминации можно, конечно, жить всю жизнь, вот только человеческие действия они объясняют неудовлетворительно. Об этом, кстати, можно прочитать (в той или иной форме) у всех выбранных нами экономистов, кроме, разумеется, названной выше пары.

Автор полагает, что данная книга будет интересна не только и не столько экономистам. Больше — историкам, социологам, политологам, философам. Они получают возможность ознакомиться с тем, как экономисты играют на их поле. Впрочем, среди рассматриваемых писателей есть и один политолог — постоянный соавтор Дугласа Норта Барри Вайнгагст. Однако это — исключение. Кроме того, политология в США гораздо ближе к современной политической экономии и даже, можно сказать, почти ничем не отличается от нее. И экономисты, и политологи публикуются в одних и тех же журналах и берутся за одни и те же темы.

В процессе работы знакомые с содержанием данной книги коллеги время от времени советовали дополнить ее такими фигурами, как Карл Поланьи, Фернан Бродель, Иммануил Валлерстайн, Эрик Райнерт, Мансур Олсон, Авнер Грейф, Джованни Арриги, Джоэль Мокир, Джеффри Сакс, Грегори Кларк и др. Однако некоторые из них не являются формально экономистами (Бродель, Валлерстайн), а это было непременным условием включения в обзор (см. заглавие книги), другие же — просто не поместились. Их имена по большей части упоминаются в том или ином контексте в главах. Возможно, будет вторая серия. Тем более что не исключено и появление новых достойных имен.

Пока же стоит принести благодарности тем людям, стараниями которых эта книга стала возможна. В первую очередь коллегам по Центру исследования модернизации Европейского университета: известному специалисту в области модернизации, истории общественной мысли и экономики Дмитрию Травину, признанному в мире политологу Владимиру Гельману, выдающемуся российскому востоковеду Николаю Добронравину. И, конечно же, Отару Маргания, благодаря которому наш

Центр живет и работает, не зная проблем вот уже более пяти лет. А также бесценному нашему организатору и помощнику Анне Тарасенко. Не забыты и все активные участники регулярного семинара Центра, где положенные в основу книги разработки обсуждались в виде препринтов.

Помимо Центра исследований модернизации автор книги работает в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург. Одна из глав обсуждалась в виде доклада на XV Апрельской международной научной конференции «Модернизация экономики и общества», проводившейся университетом в 2014 г. Это, несомненно, позволило улучшить работу.

И наконец, никак нельзя обойти благодарностью Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург). Почти все проблемы, рассматриваемые в этой книге, неоднократно выносились на ежегодные конференции Центра — «Леонтьевские чтения» — и заседания его междисциплинарного семинара «Экономика и общество».

Автор надеется, что его книга будет интересна тем, кого привлекают различные взгляды на проблемы развития и отсталости в мире, истоки радикальных изменений в судьбах человеческого сообщества.

## Глава 1

# ДУГЛАС НОРТ: ПОСТИЖЕНИЕ ИСТОРИИ

История — это в первую очередь изучение того, как вчерашний выбор влияет на сегодняшние решения.

*Норт 2010: 183*

### 1.1. ВВЕДЕНИЕ

Дуглас Норт (р. 1920) — самый известный на сегодняшний день экономист-историк. И связано это не с получением формально высшей награды для ученого (Нобелевской премии по экономике), которой он удостоился в 1993 г. Его главные работы, определившие наметившийся переворот в области социальных наук, вышли после этого события. Во-первых, заслуживает внимания книга «Понимание процесса экономических изменений», изданная на Западе в 2005 г. (North 2005; рус. пер.: Норт 2010), и, во-вторых, конечно же, выделяется сразу ставший очень широко известным труд трех авторов под заглавием «Насилие и социальные порядки» (North, Wallis, Weingast 2009; рус. пер.: Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011). В настоящее время на базе фундаментальных концепций, представленных Нортом и его соавторами (Барри Вайнгастом, Джоном Уоллисом и Стивеном Уэббом), развертываются целые исследовательские программы (Норт и др. 2012; *In the Shadow of Violence* 2013).

Норт не относится к числу типичных по современным критериям экономистов, большинство из которых являются профессионально подготовленными математиками, взявшимися за исследование экономических и прочих социальных проблем. Об этом свидетельствует творческий путь Норта, о котором мы можем узнать от него самого: нобелевские лауреаты по традиции представляют не только нобелевские лекции, но и пишут собственные биографии (North 1993a). Возможно, сказалось, что в юности он увлекался марксизмом, и когда выбрал профессию экономиста, то оказался в Университете Беркли в Калифорнии. В те времена там еще не властвовала формальная экономика, известная как неоклассика, которая

и до сих пор составляет ядро экономического мейнстрима<sup>1</sup>. Одним из университетских преподавателей, повлиявших на Норта, был Лео Рогин (марксист), читавший курс экономической истории.

Почему представляется важным подчеркнуть влияние марксизма? Дело в том, что учение К. Маркса динамично. В нем рассматривается исторический ход социально-экономических процессов: каким общество было, каким оно стало, какие процессы, определяющие будущие изменения, разворачиваются в нем в данное время; почему одно общественное устройство превосходит и вытесняет другое. Кроме того, марксистская экономическая теория, в отличие от одержимой концепцией статического равновесия неоклассики, — это теория неравновесия, придающая немалое значение институтам<sup>2</sup>. Последнее сближает ее с новой институциональной экономикой (НИЭ), одним из основателей которой с полным на то правом считается Норт. Поэтому можно согласиться со сказанным в предисловии к русскому изданию «Насилия и социальных порядков», что его «более широкий политэкономический взгляд на многие вопросы — тоже в известной степени наследие Маркса» (Расков 2011: 12).

И в самом деле, несмотря на диаметрально противоположность в видении перспектив капитализма, некоторые марксистские положения не противоречат подходам австрийской экономической школы, на что указывают и сами ее сторонники: «Парадоксальным образом в отдельных, очень любопытных моментах ее (марксистской теории. — А. З.) позиции иногда совпадают с анализом рыночных процессов австрийскими экономистами вообще и Мизесом и Хайеком в частности» (Уэрта де Сото 2008: 202). Принимая во внимание это обстоятельство и учитывая полученный Нортом в молодости интеллектуальный «заряд марксизма», можно лучше понять его постоянное обращение к Хайеку

<sup>1</sup> «Основная часть исследований “мейнстрима” все еще соответствует парадигме, традиционно именуемой “неоклассической”, т. е. включающей в себя три предпосылки “твердого ядра”: индивидуализм, эгоизм и рационализм поведения экономического субъекта» (Либман 2008: 106).

<sup>2</sup> «Маркс явно признает и ту роль, которую играют *институты* в предоставлении людям возможности приобретать экономическую информацию и передавать ее на рынке, и значение институтов для знания, которым располагают экономические субъекты» (Уэрта де Сото 2008: 203). Эти содержащие позитивную оценку слова одного из лидеров современной австрийской экономической школы — принципиального антагониста марксистского учения — говорят о многом.

в последней персонально написанной книге «Понимание процесса экономических изменений» (Норт 2010)<sup>3</sup>.

После Беркли Норт попадает в Национальное бюро экономических исследований, где он получает возможность познакомиться с наиболее выдающимися экономистами США 1950-х гг. (в частности, с Саймоном Кузнецом). Пребывание его там было кратким, но тем не менее плодотворным. Оно привело к появлению первой книги «Экономический рост Соединенных Штатов с 1790 по 1860 г.» (North 1961). С тех пор предметом исследований ее автора стала экономическая история.

## 1.2. ОТ КЛИОМЕТРИКА — К ИНСТИТУЦИОНАЛИСТУ

В 1950–1960-е гг. в США так называемый экономический империализм переживал период «бури и натиска». Экономическая теория в силу обращения ее ко всем без исключения вопросам общественной жизни (от выборов до преступлений) открыто заявила о своих претензиях на роль универсальной общественной науки. Это неизбежно означало и распространение главного прикладного инструмента экономических исследований — эконометрики (математической статистики) на все захватываемое пространство социальных исследований. Процесс математизации начинает распространяться и на историю. Рождалось то, что вскоре получило название клиометрика<sup>4</sup>.

Немало в данном направлении сделал и Норт. В работе, посвященной его вкладу в НИЭ, видные представители этой экономической школы Клод Менар и Мэри Ширли отмечают, что «в конце 1950-х — начале 1960-х Норт стал лидером в первых попытках применить экономическую теорию и количественные методы к истории и в этом процессе стал одним из основателей новой области — клиометрики» (Menard, Shirley 2011: 11). Характерно, что в 1993 г. Норт получил Нобелевскую премию совместно с экономистом, чье имя до сих пор прочно ассоциируется со словом «клиометрика», — Робертом Фогелем (1926–2013). Причем в официальном пресс-релизе Шведской академии наук их

<sup>3</sup> Подробнее о схожести методологии австрийской школы и институционализма см.: Ковалев 2011.

<sup>4</sup> «Название “новой” экономической теории, использующей эконометрию (*econometrics*) для изучения проблем экономической истории» (Словарь современной экономической теории Макмиллана 1997: 80).



научный вклад персонально не выделялся: указывалось, что им обоим премия была присуждена «за обновление исследований в экономической истории путем применения экономической теории и количественных методов для объяснения экономических и институциональных изменений» (Press-Release 1993).

Норт вполне мог и до сегодняшнего дня оставаться «клиометриком». Однако, как можно судить по автобиографии, его увлечение математическими методами в исторических исследованиях не было продолжительным. Обратившись к истории Европы, он, по его же собственным словам, «быстро пришел к убеждению, что инструменты неоклассической экономической теории непригодны для задачи объяснения тех фундаментальных социальных изменений, которые характеризовали европейские экономики начиная со средних веков» (North 1993a).

Становление Норта в том качестве, в котором его сейчас знает весь круг специалистов в социальных науках, заняло продолжительное время. Осознание непригодности неоклассики для экономической истории еще не означало автоматического появления новых инструментов анализа. Первым шагом в изменении отношения Норта к неоклассике Менар и Ширли считают одну из самых цитируемых его статей «Источники изменения производительности в океанском судоходстве. 1600–1850» (North 1968), в которой он «сбросил технологию с трона» (Menard, Shirley 2011). Небезынтересен тот факт, что статья была опубликована в таком оплоте неоклассической мысли, как издание знаменитого Чикагского университета *Journal of Political Economy*.

Что же пришло на место технологии, которой в традиционных неоклассических теориях повышения производительности и экономического роста отводится немалая роль? Норт обратил внимание на то, что на длительном историческом отрезке прогресс в самом судостроении был незначителен, а на производительности положительно сказывалось главным образом укрепление гарантий прав собственности вследствие уничтожения пиратства. Выигрыш заключался и в том, что суда избавлялись от тяжелого вооружения и могли взять на борт больше полезного груза<sup>5</sup>. Можно сказать, что тут на первый план выдвигались такие ключевые понятия НИЭ, как права собственности и трансакционные

<sup>5</sup> Обращение Норта к теме морских перевозок было не случайным. В годы Второй мировой войны он начал работать на судах, перевозящих грузы в Тихом океане, и, получив соответствующую подготовку, досрочно дослужился до штурмана (North 1993a).

издержки<sup>6</sup>. Последние же несовместимы с неоклассическим видением мира и придают важную роль институтам<sup>7</sup>.

В то же время переход к разработке и развернутому применению инструментальной новой институциональной экономики к экономической истории шел постепенно. Последовавшие две совместные работы (North, Davis 1971; North, Thomas 1973), с одной стороны, были новаторскими в том плане, что применяли институциональный анализ к экономической истории и уделяли основное внимание институциональным изменениям, но, с другой стороны, над авторами еще довлела парадигма неоклассической экономики. В этом признается и сам Норт в «Автобиографии» (North 1993a); на это же указывают Менар и Ширли. В работе 1970 г. присутствует утверждение, что инновации происходят, когда ожидаемые выигрыши превышают ожидаемые издержки; в книге 1973 г. аналогичное утверждение высказывается в отношении институциональных изменений (Menard, Shirley 2011).

Такая логика в конечном счете неизбежно вела к догме об эффективности институциональных изменений<sup>8</sup>, что, естественно, не могло никак объяснить природу долговременной отсталости многих стран. А Норта интересовал именно вопрос о причинах устойчивости глобальных разрывов в темпах развития и уровнях благосостояния. Для этого ему необходимо было отказаться от мысли о ходе истории как прогрессе институтов — от менее эффективных к более эффективным — и попытаться объяснить, почему неэффективные институты зачастую являются должителями.

<sup>6</sup> Нетрудно увидеть влияние на Норта другого нобелевского лауреата по экономике (1991), юриста по образованию, Рональда Коуза (1910–2013), работы которого внесли сильное смятение в беспроblemное существование конструкций неоклассиков. Экономисты согласятся с тем, что их в рабочем состоянии поддерживает гипотеза об отсутствии открытых Коузом трансакционных издержек.

<sup>7</sup> В нобелевской лекции Норт подчеркнул: «Неоклассический результат в виде эффективных рынков достигается, только когда проведение трансакций не требует затрат. Лишь при условии беззатратного заключения сделок акторы достигают решения, которое максимизирует агрегированный доход независимо от институциональных устройств. Когда заключение сделок требует затрат, тогда институты имеют значение» (North 1993b). С тех пор запущенное Нортом выражение «институты имеют значение» стало своего рода девизом НИЭ.

<sup>8</sup> Применение постулата о рациональности к институциональным изменениям с очевидностью означает прогрессистский взгляд на историю, который разделяли и нередко до сих пор разделяют многие мыслители самых различных убеждений.



За поиском ответа пришлось обратиться к таким социальным явлениям, которым в 1970-е гг. экономисты, как правило, не уделяли должного внимания. Впервые большое значение придается идеологии в ее роли как катализатора, так и тормоза институциональных изменений. Новые соображения воплотились в монографии «Структура и изменения в экономической истории» (North 1981).

Термин «структура» нуждается в разъяснении. Его дает сам автор: «Под “структурой” я имею в виду те характеристики общества, которые, как мы полагаем, являются базисными детерминантами его функционирования. В них я включаю политические и экономические институты, технологию, демографию и идеологию общества» (Ibid.: 3).

В этой книге задачей экономической истории было названо объяснение структуры и функционирования экономики во времени. Выражение же «во времени» означало, что необходимо объяснить их *изменения* с течением времени.

Книга ознаменовала и еще один шаг Норта в направлении разрыва с неоклассикой. С одной стороны, признавалось ее достоинство как инструмента анализа функционирования экономики в данный момент времени или при помощи сравнительной статистики контрастов в ее функционировании в различные моменты времени. С другой стороны, утверждалось, что «она не объясняет и не может объяснить динамику изменений» (Ibid.: 57).

В аргументации о неприменимости стандартного экономического анализа к изучению экономической истории особый упор делается на идеологию: «Постоянные экономические изменения происходили не только по причине изменения относительных цен, подчеркиваемых в неоклассических моделях, но также по причине эволюционирующих идеологических взглядов, которые приводили индивидов и группы к противоположным воззрениям на справедливость их положения и к действиям, вытекавшим из этих воззрений» (Ibid.: 58).

Интересен подход к введению идеологии как важного фактора, определяющего ход экономической истории. Начинается он с указания на противоречия в неоклассическом видении мира. Если, согласно последнему, человек является максимизатором собственного благополучия, то характерная для него же гоббсианская модель государства как создателя правил, ограничивающих индивидуальное поведение, не будет работать: человек как эгоистичный максимизатор станет нарушать правила всякий раз, когда найдет это выгодным. Издержки же тотального контроля за соблюдением правил окажутся столь велики, что правила станут неработоспособными.

Что ограничивает оппортунистическое поведение человека? Идеология! Она помогает оправдывать существующее положение дел, снижая тем самым затраты на принуждение<sup>9</sup>. Она же несет ответственность и за коллективные действия, которые были бы невозможны без нее в силу описанного в неоклассической экономике эффекта безбилетника. При наличии успеха в борьбе с эффектом безбилетника она может и разрушать существующий порядок<sup>10</sup>. Присущие ему правила утрачивают свою легитимность, и на их месте выстраиваются новые, нашедшие предвзвешенно свое идеологическое обоснование. Таким образом, идеология способна служить источником перемен. В итоге можно заключить, что у Норта не только институты, но и идеология «имеют значение».

В книге много места уделено роли государства. Оно рассматривается как «единственный правитель» (как один актер). От такого представления, как мы увидим, автор позднее откажется, что произведет довольно радикальную перемену в видении роли государства в экономической истории. Пока же он определяет его довольно традиционно: как «организацию со сравнительными преимуществами в насилии, распространяющуюся на географическую территорию, чьи границы определяются властью облагать налогами ее жителей» (Ibid.: 21).

В вопросе о государстве сознательно игнорируется дискуссия между сторонниками контрактного и хищнического его происхождения по причине невозможности доказать правоту той или другой стороны<sup>11</sup>. На первый же план выдвигается противоречие между стремлением государства,

<sup>9</sup> «Затраты на поддержание существующего порядка находятся в обратном отношении к осознаваемой легитимности существующей системы» (North 1981: 53).

<sup>10</sup> «Идеология должна преодолеть проблему безбилетника, если ей необходимо активизировать группы ради изменения существующего экономического порядка» (North 1981: 65).

<sup>11</sup> «Вопрос о том, возникает ли государство как хищническая группа, атакующая и эксплуатирующая крестьянскую деревню (хищническое происхождение государства), или развивается из общих нужд в организации для крестьянской деревни (контрактное происхождение государства), не может быть разрешен» (Ibid.: 64). Отсюда очевидно, что для Норта не представляется важным столкновение позиций Олсона с его разработанной несколько позднее концепцией «государства-бандита» (Olson 1993; рус. пер.: Олсон 2010; McGuire, Olson 1996; рус. пер.: Макгуайр, Олсон 2010) и Джеймса Бьюкенена, который (в соавторстве с Гордоном Таллоком) подвел экономическое обоснование под обновленную теорию общественного договора как конституционного договора (Buchanan, Tullock 1962; рус. пер.: Бьюкенен, Таллок 1997) и развивал ее далее в целом ряде своих работ (Buchanan 1975; рус. пер.: Бьюкенен 1997; Brennan, Buchanan 1985; рус. пер.: Бреннан, Бьюкенен 2005).

с одной стороны, установить права собственности, максимизирующие ренту для правителей, а с другой — внедрить законодательство и правоприменение, способствующие снижению транзакционных издержек и повышению экономической эффективности, а следовательно, росту налоговых поступлений (Ibid.: 24, 64). Эта фундаментальная дихотомия государства — первопричина неудач государств в обеспечении устойчивого экономического роста (Ibid.: 25). В своей следующей фундаментальной работе (North 1990; рус. пер.: Норт 1997) Норт, подчеркивал, что именно в книге 1981 г. было дано объяснение существованию неэффективных институтов, где вина за это возлагалась на руководителей государств<sup>12</sup>.

Что же движет миром? В поиске ответа на этот вечный вопрос тогда же была сделана попытка «открыть» основное противоречие, ответственное за его изменения. «Постоянное противоречие между выигрышами от специализации и обусловленными ею издержками — не только главный источник структуры и изменений в экономической истории, но оно находится в центре современных проблем политической и экономической деятельности» (North 1981: 209). Дело в том, что выгоды от специализации могут сопровождаться одновременным ростом транзакционных издержек. Чтобы справиться с ним, нужны новые, более эффективные институты. В исторической части рассматриваемой работы приводятся многочисленные примеры приспособления институтов к меняющейся ситуации (того, что позднее будет названо адаптивной эффективностью).

Возвращаясь к отношениям с неоклассикой, нельзя не заметить, что в монографии наряду с ее критикой постоянно прослеживается стремление найти место для нее в объяснении истории. Этому, например, служат частые указания на изменения относительных цен как на источник институциональных изменений. Теория государства описывается в духе обновленного мейнстрима, сочетающего неоклассические принципы с категориями новой институциональной экономики (принципал-агент, оппортунистическое поведение, транзакционные издержки и проч.). Не случайно посвященная ей глава названа совершенно недвусмысленно: «Неоклассическая теория государства» (Ibid.: 20). И даже роль идеологии

<sup>12</sup> «Руководители государств создавали систему прав собственности в своих интересах, а транзакционные издержки вели к доминированию обычно неэффективных прав собственности. Таким образом можно было объяснить существование на протяжении всей истории, включая наше время, таких прав собственности, которые не продуцируют экономический рост» (Норт 1997: 22–23).

в объяснении исторического процесса представлена в конечном счете как дополнение неоклассического подхода, помогающее разрешить сформулированную в его рамках проблему безбилетника в коллективных действиях.

В итоге при рассмотрении возможности появления в перспективе теории экономической истории значительная роль в ней отводилась неоклассике. «Такая теория может произойти только от соединения теорий демографии, запаса знаний и институтов с неоклассической теорией производства» (Ibid.: 68).

Следующая монография Норта (North 1990) появляется, как видим, девять лет спустя. В предисловии автор так говорит о главной отличительной особенности очередного труда:

В настоящей работе излагаются общие принципы теории институтов и институциональных изменений. Хотя эта работа опирается на мои предшествующие исследования институтов, составлявшие основной предмет моей научной деятельности за последние двадцать лет, здесь я иду гораздо дальше, чем в своих прежних трудах, в изучении природы политических и экономических институтов и процесса их изменений. Главный ключ к анализу, представленному в настоящей работе, — углубленное изучение того, что же представляют собой институты, чем они отличаются от организаций и как влияют на транзакционные и трансформационные (производственные) издержки (Норт 1997: 12).

Автор сформулировал задачу книги следующим образом: «...до сих пор не разработаны аналитические принципы, которые позволили бы включить институциональный анализ в теорию экономики и экономическую историю. Задача этой книги состоит в том, чтобы выработать такие основополагающие принципы» (там же: 18).

Нами не ставится задача последовательного рассмотрения содержания книги Норта. Многие (но не все) разработанные в ней базовые понятия и концепции нашли свое подтверждение и развитие через 15 лет, в работе 2005 г. (Норт 2010). Именно последняя венчает его достижения в области создания как понятийного аппарата, так и методологии и логической схемы исторической динамики, выстроенных на основе институционального анализа. К ним мы обратимся в дальнейшем. Пока же сосредоточим внимание на отношениях Норта с экономическим мейнстримом. И сразу заметим, что он продолжил свой дрейф от его использования как инструмента анализа экономических изменений.

Для начала в книге указывается на внутренний конфликт, который испытывают социальные науки из-за того, что разрабатываемые теории не соответствуют реальным процессам в окружающей жизни. И при этом подчеркивается, что «это несоответствие наиболее явно проявляется в экономической науке, где особенно велик контраст между логическими выводами неоклассической теории и функционированием экономических систем» (Норт 1997: 28).

Норт признает, что неоклассическая теория — это огромный вклад в знания и что ее применение, по его мнению, приносит хорошие результаты при анализе рынков в развитых странах. Тем не менее она не служит надежным ориентиром для объяснения более примитивных, неэффективных, но, несмотря ни на что, долгоживущих (иногда в течение тысячелетий) форм человеческого взаимодействия. Со стороны экономистов, занимающихся вопросами экономического роста, не получили удовлетворительного объяснения как существование разных экономических систем, так и различия в их функционировании<sup>13</sup>. Согласно Норту, «этому есть простое объяснение: применяемой теории не под силу данная задача» (там же: 28).

Неоклассическая доктрина исходит из предполагающих рациональность мира моделей (из инструментальной рациональности). Если акторы почему-либо ошибаются, то обратная связь через действие рыночной конкуренции отсеет упорствующих в своих заблуждениях и, в конце концов, оставшиеся игроки исправят свои ошибки. Институтам здесь отводится исключительно подсобная роль: побудить индивидов к приобретению дополнительной информации, помогающей принять правильные решения. Как замечает Норт, отсюда следует не только то, что «институты создаются для достижения эффективных результатов, но и то, что в экономическом анализе допустимо игнорировать институты, поскольку они не играют самостоятельной роли в определении экономического поведения» (там же: 33).

В противоположность неоклассике Норт отталкивается от следующих двух положений. Во-первых, он исходит не только из того, что индивиды действуют в условиях неполной информации (со временем это стало общим местом и в мейнстримовских построениях), но, главное, допускает,

<sup>13</sup> Надо сказать, что не решен вопрос и о самом экономическом росте. В вышедшей в 2004 г. книге с многоговорящим названием «Загадка экономического роста» известный экономист Элханан Хелпман вынужден был признать, что «тайна экономического роста остается нераскрытой более двухсот лет» (Хелпман 2011: 13).

что субъективно выработанные ими модели поведения часто ошибочны. При этом информации, полученной в результате обратных связей, недостаточно для их корректировки. Во-вторых, снова подчеркивается, что институты далеко не всегда создаются ради эффективности. Они создаются «скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил» (там же).

Поведение же человека, согласно Норту, «гораздо сложнее, чем описывают экономисты в своих моделях, опирающихся на функцию индивидуальной полезности» (там же: 37). Альтруизм и самоограничение радикально влияют на результаты выбора. Восприятие внешнего мира у людей происходит на основе уже имеющихся у них ментальных конструкций, которые обеспечивают его понимание и тем самым во многом определяют решения индивида.

Очевидно, что такая модель человеческого поведения отличается от модели «экономического человека» (*homo economicus*) или, в более развернутой формулировке, — *REMM* (*resourceful, evaluating, maximizing man*)<sup>14</sup>. Она обладает характеристиками модели социологического человека (*homo sociologicus*) — *SRSM* (*socialized, role-playing, sanctioned man*)<sup>15</sup>, но, очевидно, не совпадает с ней<sup>16</sup>. Модель человека, по Норту, скорее всего, ближе к социоэкономическому человеку Петера Вейзе (*homo socioeconomicus*)<sup>17</sup>. Именно такой человек у Норта — субъект исторического процесса<sup>18</sup>. Неоклассическая же трактовка поведения человека является сугубо частным случаем, справедливым для особых обстоятельств. Она не подходит для понимания исторической динамики человеческого общества и его институтов<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Изобретающий, оценивающий, максимизирующий человек.

<sup>15</sup> Социализированный, исполняющий роль и могущий быть подвергнут санкциям человек.

<sup>16</sup> О двух разных моделях человека в экономике и социологии см.: Бруннер 1993: 51–72.

<sup>17</sup> «В борьбе между его собственными предпочтениями и действиями, которые предписаны нормами, развивается и формируется его личность» (Вейзе 1993: 129).

<sup>18</sup> «Ход всей мировой истории дает огромное количество свидетельств, что поведение человека значительно сложнее простого рационального некооперативного поведения» (Норт 1997: 43).

<sup>19</sup> «Принятые экономистами поведенческие постулаты полезны для решения некоторых проблем. Но они не способны решить многие вопросы, стоящие перед представителями социальных наук, и являются главным препятствием к пониманию существования, образования и развития институтов» (Норт 1997: 43).

Норт не видел никакой панацеи от недостатков неоклассики и в новых применяемых ею инструментах анализа, прежде всего в теории игр. Дело в том, что она не меняет неоклассической парадигмы.

Теория игр освещает проблемы сотрудничества и изучает конкретные стратегии, которые изменяют вознаграждения игроков. Но существует глубокая пропасть между сравнительно ясными, точными и простыми решениями теории игр и тем сложным и неточным способом, которым на ощупь двигаются индивиды, чтобы установить взаимодействие с другими людьми. Более того, игровые теоретические модели, как и неоклассические модели, исходят из предположения об игроках, стремящихся максимизировать личную выгоду. Но, как показывают некоторые работы, относящиеся к области экспериментальной экономической теории, человеческое поведение явно гораздо сложнее, чем это следует из такого простого допущения. Хотя теория игр показывает, какие выгоды могут получить индивиды, сотрудничая или избегая сотрудничества в различных ситуациях, она не раскрывает вопрос об издержках транзакций и о том, как влияют на эти издержки различные институциональные структуры (Норт 1997: 32).

В конце книги (там же: 167–169) возобновляется «выяснение отношений» с неоклассикой. И заодно с марксизмом и клиометрикой, которая была изначально инновационным продуктом его научного творчества. За клиометрикой признается возможность описания экономической истории как континуума и последовательности институциональных изменений (в эволюционном виде). Правда, при этом оговаривается, что такое под силу только опытным специалистам. В то же время, поскольку экономическая история сама по себе не есть целостная картина мира, а некое неструктурированное множество, то клиометрика не в состоянии выйти на обобщения или анализ за рамками конкретного исторического сюжета.

В чем же заключается ценность клиометрики? Норт определяет ее весьма неоднозначно. «Вклад клиометрического подхода, — пишет он, — заключается в применении к истории систематизированного корпуса теоретических идей — неоклассической теории, — а также в применении высокоразвитых количественных методов для разработки и проверки исторических моделей» (там же: 167). И тут же добавляет:

Однако мы уже заплатили высокую цену за некритическое восприятие неоклассической теории. Хотя главным вкладом неоклассики в эконо-

мическую историю явилось систематизированное применение ценовой теории, в центре внимания неоклассической теории стоит проблема размещения ресурсов в каждый данный момент времени. Это невероятно сковывает историков, для которых главный вопрос — объяснить течение изменений во времени. Более того, аллокацию ресурсов неоклассика рассматривает как процесс, который вроде бы происходит без «трения», т. е. как будто институты не существуют или не имеют значения. Между тем эти два последних обстоятельства — «трение» и значение институтов — показывают, чем на самом деле должна заниматься экономическая история, а именно: объяснением различных моделей роста, стагнации и упадка обществ во временном разрезе и изучением того, как «трение» — следствие взаимоотношений между людьми — порождает широко расходящиеся линии развития (там же: 167–168).

На этом Норт не останавливается. Он признает, что применение неоклассической теории к истории дало специалистам возможность анализировать ограничения, определяющие выбор человека. Однако сами эти ограничения трактовались очень узко. Под ними имелись в виду не человеческие взаимоотношения, а только доступные технологии и доход. Причем технология рассматривалась как экзогенный фактор и в результате не получалось встроить ее в теорию.

Однако в истории экономической мысли было одно исключение: Маркс. Он попытался соединить изменения технологические с институциональными. Его учение о связи производительных сил с производственными отношениями Норт расценивает как пионерную попытку соединения пределов и ограничений технологии с пределами и ограничениями человеческой организации. Утопизм же теории Маркса заключался в том, что для достижения предусмотренных ею результатов «потребовалось бы внести фундаментальные изменения в человеческое поведение» (там же: 169).

Полемика Норта с неоклассикой нашла свое дальнейшее развитие в монографии 2005 г. (North 2005). Здесь он совершенно недвусмысленно формулирует, что природа бессилия неоклассики в объяснении проблем развития связана с тем, что она и не ставит перед собой такой задачи<sup>20</sup>. По этой причине она игнорирует именно то, что принципиально важно для

<sup>20</sup> «Неоклассическая теория дает нам понимание работы рынков в развитых экономиках, но в ее задачи не входит объяснение эволюции рынков и экономики вообще» (Норт 2010: 102).



ее выполнения. Норт связал это игнорирование с тремя ее принципиальными недостатками. Заключаются они в том, что она беспрепятственна (*frictionless*)<sup>21</sup>, статична и не зависит от человеческой интенциональности.

Беспрепятственность означает, если говорить коротко, нулевые трансакционные издержки<sup>22</sup>. В пренебрежении ими и, как следствие, институтами Норт уже и ранее неоднократно «обвинял» неоклассику. При «беспрепятственности» отсутствуют какие-либо «внешние» вмешательства в работу рынков, а заодно и ресурсы, необходимые для осуществления изменений. В сущности, это означает, что институты, как отмечалось в предыдущей книге автора, излишни. Статичной неоклассическая картина мира является по той причине, что в ней не задействован фактор времени. Учет же интенциональности требует понимания того, как люди осуществляют выбор.

В этом упоре на интенциональность человеческих действий заключается важный момент общности взглядов Норта с праксиологией австрийской экономической школы<sup>23</sup>. С интенциональностью субъектов она, в частности, связывала невозможность построения экономики как подобия естественной науки. «Науки о человеческой деятельности невозможно реформировать по образцу физики и других естественных наук» (Мизес 2005: 33). В то же время основатели неоклассической школы (Стенли Джевонс, Леон Вальрас, Френсис Эджуорт, Вильфредо Парето, Ирвин Фишер) и не скрывали, что произведенная ими революция в экономической теории осуществлена в результате стремления выстроить ее по образцу физики XIX в. (Майровский 2012). Норвежский экономист Эрик Райнерт пишет о том, что для стандартной экономической науки типична «метафора равновесия, основанная на физической теории 1880-х годов» (Райнерт 2011: 56). Норт же ссылается на создателя современной неоклассической теории экономического роста Роберта Солоу, который в 1985 г. объявил физику той идеальной наукой,

<sup>21</sup> В русском переводе предыдущей работы Норта (Норт 1997) английское слово *friction* переводится как «трение», соответственно, *frictionless* — это «отсутствие трения».

<sup>22</sup> Во избежание каких-либо расхождений в дальнейшем в понимании этой ключевой категории НИЭ обратимся к определению самого автора: «Трансакционные издержки — это издержки, связанные с обменом; при углублении специализации и разделения труда растет и число обменов, каждый из которых поглощает какие-то ресурсы» (Норт 2010: 135–136).

<sup>23</sup> О теории истории австрийской экономической школы см. главу 4.

до уровня которой дотягиваются лишь самые лучшие образчики экономической теории (Норт 2010: 36).

В то же время Норт не признает не только физическую, но и биологическую метафору для экономики. Он явно не разделяет идей такого традиционно противопоставляемого неоклассике направления современной экономической мысли, как эволюционная экономика. Дело в том, что «на механизмы отбора в эволюционной теории, в отличие от экономической эволюции, не влияют представления о финальных результатах. <...> Действие экономической эволюции определяется именно институтами, в создании которых выражается интенциональность игроков» (там же: 103). Во введении же к этой работе он сформулировал свою мысль еще более категорично: «В противоположность дарвиновской эволюционной теории ключом к эволюционным изменениям человечества является интенциональность игроков» (там же: 9)<sup>24</sup>.

Таким образом, Норт не разделяет модного ныне направления экономической мысли, основоположники которого Ричард Нельсон и Сидней Уинтер взяли за образец биологию<sup>25</sup>. Нельсон и Уинтер полагают, что «слепая эволюция» и преднамеренные процессы переплетаются, различить их нелегко и в разрабатываемой ими теории подобное разграничение не приносит пользы и лишь сбивает с толку (Нельсон, Уинтер 2002: 31). У Норта же интенциональность акторов всегда выходит на первый план. «Эволюция человеческого общества направляется представлениями игроков» (Норт 2010: 9)<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> В «Справочнике по новой институциональной экономике» Норт писал: «В противоположность стандартной теории, черпающей свое вдохновение из физики, моделирование процесса изменений должно черпать свое вдохновение из эволюционной биологии, но, по контрасту с теорией Дарвина, в которой селекционные механизмы не содержат убеждения относительно конечных последствий, человеческая эволюция направляется представлениями игроков, в которой выборы — решения — делаются в свете этих представлений с намерением получить вытекающие из них результаты» (North 2008: 21).

<sup>25</sup> В своей фундаментальной работе «Эволюционная теория экономических изменений» Нельсон и Уинтер пишут, что «прежде всего этот термин (эволюционная теория. — А. З.) указывает на то, что мы заимствовали основополагающие идеи из биологии» (Нельсон, Уинтер 2002: 29).

<sup>26</sup> Такую позицию разделяют и другие незаикланные на экономической ортодоксии авторы. Поведение людей «нельзя рассматривать в отрыве от концепции “собственного желания” и связанной с ним совершенно непредсказуемой склонности изменять решения на ходу» (Хайлбронер 2008: 408). Бьюкенен и немецкий экономист Виктор

Из непредсказуемой интенциональности человеческого выбора и связанной с ней неопределенностью будущего вытекает ключевое отличие НИЭ Норта от неоклассики — экономика рассматривается им как неэргодическая система. Определить ее легче всего, начав с противоположности — эргодической экономики. В последней «фундаментальная структура является постоянной, неизменной во времени» (Норт 2010: 32)<sup>27</sup>. В то время как «мир, в котором мы живем, является неэргодическим — это мир постоянно возникающих новых изменений» (там же). В результате «осмысление мира, находящегося в процессе становления, ведет к появлению новой теории или, по крайней мере, к изменению той, которой мы располагаем» (там же).

Восприятие социальной среды как неэргодической действительно подводит к подлинному перевороту в науках об обществе, и прежде всего в экономике. Она теряет какое-либо подобие с естественными науками<sup>28</sup>. В неэргодическом мире отсутствует то, что в естественных науках определяется как «закон»<sup>29</sup>. В процессе изменений социума нет какого-либо

---

Ванберг в совместной статье представляют теорию рынка как созидательного процесса, где будущее, в отличие от неоклассической доктрины, не только не познаваемо в любом самом приблизительном варианте, но и не существует как таковое независимо от сознательного человеческого выбора, который только предстоит сделать. Любопытно, что они указывают на связь такого понимания с физикой, но только современной (в частности, с концепцией «порядка из хаоса» лауреата Нобелевской премии по химии Ильи Пригожина), «предполагающей переход от детерминизма традиционной физики (вероятно, вдохновившей неоклассическую программу исследований в экономической науке) к нетелеологическому, открытому, креативному и недетерминированному по своей природе эволюционному процессу» (Бьюкенен, Ванберг 2012: 356).

<sup>27</sup> Одним из характерных признаков современного мейнстрима является постулат об эргодичности: представление об универсальных законах (с поправкой на случайные возмущения), описывающих прошлое, настоящее и будущее (Либман 2008: 109).

<sup>28</sup> «Естественные науки используют редукцию для того, чтобы прийти к фундаментальным принципам, которые (вероятно) делают эти науки эргодическими. Социальные науки не имеют таких фундаментальных принципов, за исключением, возможно, бихевиоральной предпосылки, и даже эта последняя вряд ли является удовлетворительной» (Норт 2010: 36).

<sup>29</sup> «В социальных науках, по-видимому, не существует фундаментальных “степенных законов”, сопоставимых с аналогичными, имеющимися в естественных науках» (Норт 2010: 31–32). Роберт Хайлбронер в этой связи даже не считал экономику наукой: «Если бы экономика была наукой, то нам отводилась бы роль простых роботов, способных выбрать реакцию на увеличение цен не в большей степени, чем частица железа — на появление неподалеку магнита» (Хайлбронер 2008: 408).

постоянства, повторяемости явлений. «Мы создавали и создаем общества, являющиеся уникальными по сравнению со всем, что имело место в прошлом» (там же: 36). В результате «эргодическая гипотеза является аисторической» (там же).

Построение экономической истории на парадигме, в центр которой ставится гипотеза о неэргодическом мире, в сущности, не оставляет никакого места в ней неоклассическим подходам. Достаточно указать хотя бы на тот факт, что вместе с признанием неэргодичности, а значит, и отсутствия «законов развития», нужно признать и неуместность применения для постижения общественных изменений математического моделирования<sup>30</sup>. Ведь «математические теоремы (являющиеся главным результатом работы теоретиков мейнстрима), по определению, формулируются в категориях универсальных законов» (Либман 2008: 109).

В результате математическое моделирование социальных изменений, основанное на абстрактных неоклассических постулатах, равносильно по своей эффективности использованию рельсоукладчика в качестве заменителя газонокосилки. Неадекватность реальности статичной картине мира из неоклассического учения обнаруживает себя всякий раз, когда опирающийся на него экономист выступает в роли «советника князей»: дает рекомендации для практической политики.

Неоклассическая экономическая теория статична и вследствие этого резко сужает кругозор тех разработчиков политики, которые черпают из нее свое вдохновение. Итогом слишком часто становятся политические предписания, которые приводят к результатам, не соответствующим намерениям, поскольку политика, основанная на статичной теории, в динамичном окружении наверняка приведет к непредвиденным (и неприятным) последствиям (Норт 2010: 180).

---

<sup>30</sup> Австрийская экономическая школа с самого начала указывала на неприменимость математики как метода естественных наук к изучению человеческого поведения. Достаточно указать на аргументацию, приведенную в главной работе Мизеса (Мизес 2005: 55–56, 112, 329–335, 354–355, 657–658, 665–669). Этой же позиции придерживаются не только нынешние сторонники австрийской школы — последователи Мизеса, но и представители таких альтернативных неоклассике течений, как экономический реализм (Лоусон 2012: 434–436) и «Другой канон» (Drechsler 2004; Reinert 2004; Reinert, Daastøl 2004; Райнерт 2011: 35–36, 56–60, 64–65, 74–77, 152–153, 232–233, 244–245, 280).

В этой же работе он подводит итог эволюции своих воззрений: неоклассическая теория непригодна для изменяющегося мира; необходима новая экономическая парадигма взамен неоклассической.

Экономическая парадигма — неоклассическая теория — создавалась не для того, чтобы объяснить процесс экономических изменений. Мы живем в мире неопределенности и непрерывных изменений, эволюция которого все время идет по новым и неожиданным путям. Стандартные теории в этих условиях едва ли на что-нибудь годятся. Попытка разобратся в экономических, политических и социальных изменениях (при том что невозможно изучать изменения в одной из этих сфер в отрыве от прочих) требует фундаментальной перестройки нашего образа мысли (там же: 7).

Дальнейшее творчество Норта с его соавторами направлено на осуществление этой «фундаментальной перестройки». В книге «Насилие и социальные порядки» последняя глава так и называется: «Новая исследовательская повестка дня для общественных наук» (Норт и др. 2011: 416). В докладе «В тени насилия» исследователи говорят о том, что «наша цель — разработать и применить альтернативную концептуальную парадигму для понимания динамического взаимодействия политических, экономических и социальных сил в развивающихся странах» (Норт и др. 2012: 4). Новая «исследовательская повестка дня» предполагает, что «существующий массив знаний в общественных науках может быть трансформирован с помощью новых концептуальных рамок, меняющих само наше мышление традиционных проблем экономики, политической науки, социологии, антропологии и истории» (там же: 448)<sup>31</sup>.

Разработка меняющих привычное мышление и синтезирующих общественные науки «новых концептуальных рамок» не могла возникнуть на пустом месте. Она требовала предварительного создания методологической схемы, раскрывающей с опорой на исследуемые НИЭ категории источники и механизм социальных перемен.

<sup>31</sup> Попутно заметим, что, создавая новую парадигму, Норт, Уоллис и Вайнгаст не строили никаких математических моделей: «Мы не предлагаем формальной модели, которая делала бы возможной эксплицитную эмпирическую проверку или детерминистские предсказания социальных изменений» (Норт и др. 2011: 34). И это, скорее всего, не случайно, а вытекает из нортовского неприятия парадигмы эргодичности. «Мы не предпринимали никаких попыток статистического анализа, так как никаких прямых способов измерения наших основных понятий не существует» (там же: 435).

### 1.3. ЛОГИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ

В работе «Понимание процесса экономических изменений» Норт с самого начала и далее, на протяжении всей книги, подчеркивает принципиальную невозможность создания теории динамических изменений (Норт 2010: 7, 107, 180–181). Причина — ограниченная способность к предвидению. Проистекает она из двух принципиальных фактов: во-первых, из известной уже нам неэргодичности мира; во-вторых, из того, что «сегодня мы не можем знать, не научимся ли мы завтра чему-нибудь такому, что будет определять наши завтрашние поступки» (там же: 107).

В то же время Норт рассматривает эту книгу как очень важную ступень развития НИЭ. «В моих предыдущих исследованиях, — пишет он, — не учитывался характер социетальных изменений и то, каким образом люди понимают его и как это понимание влияет на их действия» (там же: 8). Можно сказать, что им предложена если не теория, то некая общая логика процесса общественной динамики.

Автор выделяет три ее первоисточника: во-первых, количество и качество населения; во-вторых, объем знаний, причем в первую очередь знаний, касающихся власти над природой; в-третьих, институциональный каркас, в котором заложена система стимулов человеческой деятельности. «Всеобъемлющая теория экономических изменений, таким образом, включала бы в себя теории демографического развития, накопления знания и институциональных изменений» (там же: 13)<sup>32</sup>. Вопросы демографии оставляются Нортом в стороне, о накоплении знания говорится, но сравнительно немного. Легко догадаться, что основное внимание уделяется институциональным факторам.

В то же время последние не являются первопричиной экономических изменений. На первый план выходят представления и убеждения людей, которые формируют институты. Тут можно поставить такой вопрос: а что, в свою очередь, формирует представления и убеждения? Норт возвращает нас к фундаментальным изменениям демографического и ресурсного характера (там же: 195). Подробно эта связка в рассматриваемой книге не раскрывается<sup>33</sup>. В то же время в ней постоянно

<sup>32</sup> Особо выделим то обстоятельство, что здесь, в отличие от работы 1981 г., в этот перечень не включена неоклассическая теория производства.

<sup>33</sup> В предыдущей работе автор нередко отталкивался от изменений относительных цен. В этом плане характерно его утверждение о том, что «глубокие изменения



подчеркивается лежащая в основе всего неопределенность: «Убеждения и институты, создаваемые людьми, имеют лишь смысл в качестве непрерывной реакции на различные уровни неопределенности, с которыми мы сталкиваемся в рамках динамически развивающегося физического и социального ландшафта» (там же: 29).

Неопределенности отведено столь большое место, что на ней следует остановиться подробнее. По Норту, человеческое сообщество всеми путями стремится к ее снижению. Даже свою книгу он называет «исследованием неустанных попыток людей получить большую власть над собственной жизнью» (там же: 14).

Неопределенность, вслед за известным экономистом начала прошлого века Фрэнком Найтом (1885–1972), Норт понимает как невозможность оценить вероятность наступления того или иного события<sup>34</sup>. Он выделяет два источника неопределенности. Первый связан с тем, что им было названо «физическим ландшафтом». По его мнению, «общая характеристика человеческой истории состоит в систематическом снижении уровня воспринимаемой неопределенности, связанной с физической средой» (там же: 31). Результатом чего должно быть «сокращение тех источников неопределенности, которые должны объясняться при помощи убеждений, включенных в колдовство, магию, религию» (там же). С другой стороны,

в соотношении цен приводят к изменению норм и идеологий и чем ниже информационные издержки, тем быстрее протекают эти изменения» (Норт 1997: 175–176). В результате тут сама собой напрашивается такая последовательность: демографические и ресурсные сдвиги сильно меняют относительные цены, а через них убеждения (ценности) людей. Однако Норт уже тогда не готов был принять такое объяснение как универсальное. Дело в том, что ряд важнейших исторических изменений никак не связан с движением относительных цен. Так, например, Норт замечает, что «отмену рабства в XIX веке невозможно объяснить, не принимая во внимание изменение суждений о легитимности положения, при котором один человек владеет другим» (там же: 43). Тем более что есть исследования, говорящие о сравнительных преимуществах принудительного труда в южных штатах США в XIX в. в связи с особенностями сельскохозяйственных культур, которые там выращивали (Эггертссон 2001: 229). В результате приходится признать как самостоятельное значение идей, так и их важную роль: «Идеи, организованные идеологии и даже религиозный фанатизм играют очень важную роль в формировании обществ и экономик» (там же: 65).

<sup>34</sup> Если возможность такой оценки существует, то экономисты говорят о риске. Различие между риском и неопределенностью можно показать на примере игры в русскую рулетку. Если мы знаем, сколько патронов вставлено в барабан, то легко можно рассчитать вероятность гибели игрока. Это — риск. Если же мы не знаем ничего, то это — неопределенность (возможно, что оружие и вовсе не заряжено).

уменьшение неопределенности, связанной с физической средой, стало возможным благодаря значительному усложнению социальной среды. И тут как раз из-за данного усложнения неопределенность возрастает, а поэтому понимание этой среды «очень ограничено и включает в себя множество иррациональных объяснений» (там же). Важнейшей причиной социальной неопределенности является все та же неэргодичность общественной жизни.

Норт выделяет пять уровней неопределенности по мере ее возрастания. Ее же смягчение внутри каждого из них обуславливается наличием специфичных для них ответных реакций социума. Ниже эти уровни вместе с ответными реакциями представлены для удобства восприятия в табличной форме (табл. 1).

Таблица 1

#### Уровни неопределенности и ответная общественная реакция

Уровень неопределенности	Ответная реакция ради снижения неопределенности
Первый	Увеличение информации в рамках наличного объема знаний
Второй	Увеличение объема знаний в рамках существующего институционального каркаса
Третий	Изменение институционального каркаса в рамках существующей структуры убеждений
Четвертый (прежде не встречавшиеся ситуации)	Изменение структуры убеждений
Пятый (остаточная неопределенность)	Иррациональные убеждения

Понятно, что, рассматривая первый и второй уровни, нужно как-то разграничить новую информацию и новые знания. Граница между ними часто бывает неуловима. И все же во втором случае речь идет об изобретениях и инновациях, которые нельзя свести просто к нахождению новой информации. Здесь, по всей видимости, имеется в виду в первую очередь то, что Джоэль Мокир называл обновлением полезных знаний и рассматривал в качестве решающего ингредиента экономического роста (Мокир 2012: 15).

Следующий и более высокий уровень неопределенности требует для своего уменьшения изменения институционального каркаса. Подробнее с нортовской трактовкой институтов и процесса институциональных изменений познакомимся далее. Пока же вслед за автором констатируем, что процесс этот направлен на увеличение выгод от совместной деятельности и инвестиций в человеческий капитал, усиление стимулов к изобретениям и инновациям и снижение трансакционных издержек (там же: 34).

Далее, в тех обстоятельствах, когда человеческое сообщество сталкивается с не встречавшимися прежде ситуациями, для преодоления кризиса требуется изменение структуры убеждений. Просто изменений институтов в рамках доминирования прежних убеждений уже недостаточно. При этом успех или неудачу ответов людей на новые ситуации во многом будет определять культурное наследие (там же: 35).

И наконец, то, что названо «остаточной неопределенностью». Как уже отмечалось, Норт исходит из своего рода «эффекта качелей»: неопределенность физической среды была радикально уменьшена, однако это уменьшение компенсировалось нарастанием неопределенности социальной среды<sup>35</sup>. Скорее всего, это связано с тем, что в ходе «покорения» физической среды неизбежно складывались все более сложные социальные институты. Например, хозяйственное освоение дальних расстояний и глобальных пространств на нашей планете требовало перехода от личного к обезличенному обмену, неразрывно связанному с появлением качественно новых и трудных для рационального восприятия его участниками институтов. При этом процесс развития институтов никогда «не останавливается на достигнутом»,

<sup>35</sup> «Общая характеристика человеческой истории состоит в систематическом снижении уровня восприятия неопределенности, связанной с физической средой и, следовательно, с сокращением тех источников неопределенности, которые должны объясняться при помощи убеждений, включенных в колдовство, магию и религии. Но если неопределенность, связанная с физической средой, уменьшалась, следствием этого становилась намного более сложная социальная среда. И хотя нам удалось добиться определенного прогресса в понимании этой социальной среды, наше понимание очень ограничено и включает в себя множество иррациональных объяснений» (Норт 2010: 31). Российский исследователь Евгений Балацкий в этой связи даже выдвигает гипотезу о том, что Норт исходит из смещения фокуса экономической эволюции: перенесение усилий человечества с развития производственных технологий на формирование эффективных социальных технологий — иначе говоря, институтов (Балацкий 2011: 157).

а продолжается постоянно. В итоге «остаток, который ведет к иррациональным убеждениям, играет в современном мире не менее важную роль, чем прежде» (там же: 35)<sup>36</sup>. В частности, в этот остаток попадают и системы религиозных убеждений<sup>37</sup>.

Возвращаясь к нортовскому описанию экономических изменений в историческом процессе (или, более широко, «эволюции человеческой среды»), стоит обратить внимание на следующую цепочку: представления и убеждения<sup>38</sup> → институты → организации → государства (там же: 223). Дополняя ее вышесказанным о демографических и ресурсных факторах, а также процессом обучения (*learning*), можно построить следующую схему, в которой отражается логика общественной динамики по Норту (рис. 1). Разумеется, она, как и любая схема, страдает неполнотой, ограниченностью и требует развернутых дополнительных комментариев, но тем не менее не лишено основания утверждать, что ее использование вносит некую наглядность и упорядоченность в очень сложное порой переплетение нортовских мыслей.

Для начала процитируем первоисточник: «Ключом к построению основ для понимания процесса экономических изменений служат представления и убеждения — как представления и убеждения отдельных индивидов, так и общие представления и убеждения, из которых складываются системы представлений и убеждений» (там же: 124)<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Иррациональное может быть определено, лишь отталкиваясь от определения его противоположности — рационального, под которым Норт понимает логически непротиворечивые объяснения, гипотетически могущие быть предметом эмпирической проверки (Норт 2010: 31).

<sup>37</sup> Норт связывал потребность в иррациональном с какими-то врожденными свойствами разума, пока, по всей видимости, не поддающимися научным объяснениям. «Очевидно, что всеобщая “приверженность” людей к “нерациональным” объяснениям, которые находят свое выражение в религии, суевериях, в фундаменталистских идеях, имеет своим источником какие-то врожденные свойства разума, которые и порождают все эти верования» (Норт 2010: 111).

<sup>38</sup> В оригинале только «убеждения» (*beliefs*) (North 2005: 155).

<sup>39</sup> В подлиннике эта фраза выглядит так: «*The key to building a foundation to understand the process of economic change is beliefs — both those held by individuals and shared beliefs that form systems*» (North 2005: 83). Перевод термина *beliefs* как «представления и убеждения», по всей видимости, имеет цель расширить несколько узкое понимание термина «убеждения», которое за ним закрепилось в русском языке. В то же время такой вольный перевод не должен заставлять читателя искать различие между представлениями и убеждениями в нортовском понимании, поскольку самой проблемы

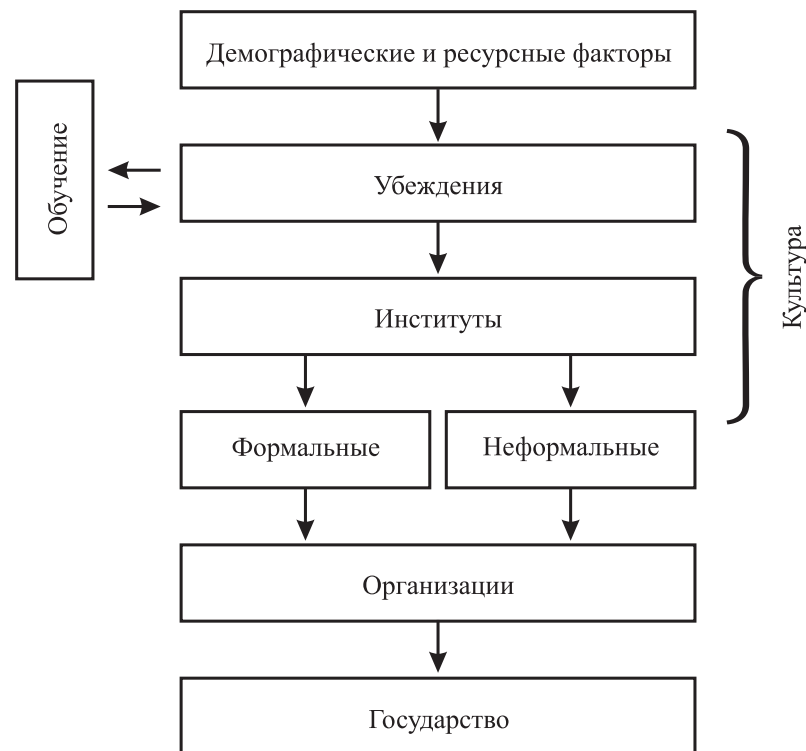


Рис. 1. Логическая цепочка общественных изменений по Норту

Объясняется это тем, что «мир, который мы создали и пытаемся понять, порожден человеческим разумом и не существует вне этого разума» (там же).

не существует в принципе. В дальнейшем термины «представления» и «убеждения» рассматриваются нами как тождественные. В предшествующей работе автор чаще прибегал к понятию «идеология», давая следующее ее описание: «Под идеологией я понимаю субъективное восприятие (модели, теории), которым располагают все люди для того, чтобы объяснять окружающий мир. Будь то на микроуровне индивидуальных взаимоотношений или на макроуровне организованных идеологий, дающих целостное объяснение прошлого и настоящего, таких как коммунизм или религии, — в любом случае теории, создаваемые отдельными людьми, окрашены нормативными представлениями о том, как должен быть организован мир» (Норт 1997: 41).

Столь же значительное место убеждениям Норт отводит и в своей статье из «Справочника по новой институциональной экономике». «Убеждения и тот путь, которым они развиваются, находятся в сердце понимания процесса изменений» (North 2008: 25). Дело в том, что людям никогда не дана реальность как таковая — они сами конструируют ее в процессе обучения. В этой связи большое внимание уделяется когнитивной теории<sup>40</sup>. Постараемся далее передать ход рассуждений автора (разумеется, таким, каким он нам представляется).

Обучение, согласно Норту, — это развитие структуры, которая интерпретирует получаемые органами чувств сигналы (North 1994: 362)<sup>41</sup>. Выделяются два уровня обучения (North 2008: 26). На первом в ходе осознания физической и социальной среды первоначально появляются классифицирующие мир категории, на основе которых далее развиваются интерпретирующие мир ментальные модели. Они не являют собой нечто застывшее: и категории, и ментальные модели меняются с новым опытом, который, в частности, включает и контакт с другими идеями. На втором уровне категории и концепции принципиально не меняются, но меняются идеи о деталях и применимости наличных знаний. «Значительная часть обучения основана на усвоении и подгонке незначительных событий, которые влияют на нашу жизнь, постепенно изменяя наше поведение. ИмPLICITное знание возникает неосознанно» (Норт 2010: 47).

Норт разделяет представление современной нейронауки об организации человеческого мозгом мышления на базе паттернов (этот термин на русский язык приблизительно можно передать как «штампы» или «модели»). Приводятся сведения об эксперименте, где совершенно случайным образом выбрасывались 0 и 1. От участников эксперимента требовалось каждый раз делать предсказания. Впоследствии испытуемых расспрашивали, чем они руководствовались в процессе выработки решений. Все участники поведали о своих «паттернах», которые, как очевидно, не могли не быть ложными. Отсюда делается вывод: «Поиск паттернов там, где их нет, сочетается с неустрашимостью попытки людей иметь объяснения, теории, догмы, позволяющие объяснить окружающий мир, даже если у них нет “научного” объяснения» (там же: 48).

<sup>40</sup> В книге «Понимание процесса экономических изменений» этой теории уделена целая глава (Норт 2010: 42–63).

<sup>41</sup> Кроме того, под обучением традиционно понимается «процесс проб и ошибок, когда неудача в решении проблемы ведет к апробации нового решения» (Mantzavinos, North, Shariq 2003: 4).

Как видим, Норт постоянно возвращается к обсуждению предпосылки о рациональности человеческого поведения, лежащей в основе экономического мейнстрима. Оно было начато еще в его совместной с Артуром Дензау статье (Denzau, North 1994). Авторы напоминали о том, что в основе рационального выбора лежит допущение о знании индивидами их интересов, на котором они и выстраивают этот выбор. Дензау и Норт соглашались, что данное допущение еще может быть оправдано для случая, когда индивиды выбирают товары в супермаркете. Однако весь разнообразный опыт функционирования экономических и политических систем как в истории, так и в современности свидетельствует против того, что индивиды на самом деле знают собственные интересы и действуют соответственно. «Вместо этого люди действуют частично на основе мифов, догм, идеологий и “полусырых” теорий» (Ibid.: 3).

В работе «Понимание процесса экономических изменений» Норт продолжает развивать эти положения. Он признает, что предпосылка рациональности отлично служила экономистам (и другим социальным ученым) в решении ограниченного перечня проблем в области микротeorии. В то же время «в действительности не критическое принятие допущения рациональности разрушительно для большинства проблем, стоящих перед гуманитарными учеными, и является серьезным препятствием для дальнейшего развития науки» (Норт 2010: 19). Дело в том, что «допущение рациональности не является ошибочным, но его принятие с самого начала закрывает возможность более глубокого понимания процесса принятия решения в ситуации противостояния неопределенности сложного мира, созданного нами» (там же: 19–20)<sup>42</sup>. По всей видимости, это более глубокое понимание процесса принятия решений опирается на мнение о том, что он основан большей частью на ложных представлениях<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Приведем еще одно норттовское возражение против провозглашения универсальности принципа рациональности. «Тенденция переносить предпосылку рациональности в чистом виде на более сложные проблемы, включающие в себя неопределенность, столь характерная для экономистов, стала препятствием на пути прогресса в понимании нами социального ландшафта» (Норт 2010: 43).

<sup>43</sup> «Люди в течение всей своей истории зачастую принимали решения под влиянием укоренившихся представлений, которые в большинстве случаев оказываются ложными» (Норт 2010: 144). Интересно, что сегодня подход, согласно которому люди действуют на основе предубеждений, распространяется, к примеру, на поведение избирателя. Так, Брайан Каплан, представляющий виргинскую школу политической

Данные выпады Норты против рациональности вполне понятны из приведенных выше положений, касающихся его представлений о выработке ментальных моделей (убеждений)<sup>44</sup> в процессе обучения. Однако обучение — это не некий экзогенный фактор, формирующий убеждения. На приведенной ранее схеме (рис. 1) не случайно показано и их взаимовлияние, ибо человеческое мышление — не *tabula rasa*, на которой обучение вольно писать какие угодно иероглифы. «Субъективное мировосприятие индивидов <...> претерпевает постоянные изменения под влиянием опыта, проходящего через фильтр существующих (культурно детерминированных) ментальных конструкций» (Норт 1997: 175). Процесс обучения есть «постепенный процесс, при котором роль фильтра играет культура общества, определяющая полезность знаний» (Норт 2010: 108).

И здесь мы подходим к одному из наиболее спорных вопросов современной экономики развития: о роли культуры в прогрессе и отсталости стран и народов. Не вдаваясь в ведущуюся по этому вопросу полемику<sup>45</sup>, сосредоточимся на его видении Нортом. Начнем с определений. «Совокупные знания общества, воплощенные в языке, человеческой памяти и системах хранения символов, состоят из верований, мифов, обычаев, которые составляют культуру общества» (там же: 9). Есть и более

экономики, в своих работах борется с мифом о рациональном избирателе. О своей основной идее он писал следующее: «Избиратели не просто невежественны, они, можно сказать, *иррациональны* — и голосуют соответствующим образом» (Каплан 2012: 15). «Здравый смысл говорит нам, что на суждения людей оказывают сильное влияние эмоции и идеология» (там же).

<sup>44</sup> Для большей точности и адекватности передачи идей автора следует заметить, что «ментальные модели» и «убеждения» — очень близкие, но не тождественные понятия. «Ментальные модели лучше всего могут быть поняты как конечные предсказания, которые делает разум, или его ожидания относительно окружающей среды до получения ответной реакции от нее» (Mantzavinos, North, Shariq 2003: 4). «Когда окружающая среда подтверждает одну и ту же ментальную модель многократно, то она некоторым образом обретает стабильность. Мы называем эту относительно кристаллизованную ментальную модель “убеждением”; и мы называем взаимосвязь убеждений (которые могут быть как согласующимися, так и нет) некой “системой убеждений”» (Ibid.).

<sup>45</sup> Дискуссия на тему, в какой степени культура значима для развития, была проведена с привлечением ряда известных специалистов в 2006 г. в Институте Катона (How Much Does Culture Matter? 2006). С основными текстами этих авторов можно познакомиться и в русском переводе на сайте *inliberty.ru* (Беттке 2009; Кларк 2009; Робинсон 2009; Харрисон 2009).



короткое определение: «...культура общества — это кумулятивная совокупность всех существующих представлений и институтов» (там же: 124). Иначе говоря, культура — это убеждения плюс институты<sup>46</sup>. Именно такое ее понимание легло в основу схемы, изображенной на *рис. 1*. Итак, культура, являющая собой синтез убеждений и институтов, «фильтрует» извлекаемые из процесса обучения знания. И в этом своем качестве она может играть как прогрессивную, так и реакционную роль.

В целях иллюстрации Норт обращает внимание на то обстоятельство, что структура представлений, воплощенная в христианской догматике, несмотря на некоторые вопиющие примеры противоположного свойства, была способна развиваться в благоприятном для экономического роста направлении. Христианские убеждения о том, что природа должна служить человеку и что мир можно и нужно контролировать в экономических целях, послужили необходимой предпосылкой для технического прогресса (там же: 196–197).

В итоге, согласно Норту, «культура общества есть кумулятивная структура правил и норм (а также убеждений), которую мы наследуем из прошлого, которая определяет наше настоящее и влияет на наше будущее» (там же: 20). Обществу бывает необходимо время от времени давать ответы на новые вызовы, и именно «культурное наследие во многих случаях будет определять их успех или неудачу» (там же: 35). Окончательный вывод в отношении культуры и развития звучит у Норты так: «... колоссальные различия в характеристиках эффективности различных обществ ясно говорят о том, что культурный компонент воздвигнутого людьми здания также является ключевым фактором, определяющим эффективность известных из истории экономик и государств» (Норт 2010: 10)<sup>47</sup>.

Культура передается от поколения к поколению. Она «представляет собой межпоколенческий перенос норм, ценностей и идей» (там же: 81).

<sup>46</sup> Такое видение позволяет сузить и хотя бы как-то конкретизировать определение культуры. Заметим, что для отечественной традиции нередко характерно предельно широкое ее понимание: «Культура — это вся сфера надприродной активности человека» (Куда ведет кризис культуры? 2011: 77). Она также описывается как «универсальный всеобщий принцип надприродной активности» (там же).

<sup>47</sup> В другом месте Норт еще более явно демонстрирует свою приверженность «культурному детерминизму»: «Культурное наследие формирует искусственную структуру (убеждения, институты, инструменты, технологии), которая <...> дает нам ключи к динамическому успеху или поражению обществ во времени» (Норт 2010: 61).

В то же время Норт не согласен с концепцией известного биолога Ричарда Докинза о так называемых мемах — в чем-то подобных генам единицах межпоколенческой передачи культурной информации (там же: 69)<sup>48</sup>. Как видно из приведенного выше определения Норты, культура вбирает в себя институты, а они, как мы вскоре убедимся, рассматриваются им как порождение человеческой интенциональности. В этой связи можно заметить, что теория Докинза, возможно, была бы более совместимой с видением эволюции институтов Фридрихом Хайеком, поскольку последний исходил из стихийного характера развития важнейших из них (Хайек 2006: 484).

Норт же, признавая безусловный приоритет Хайека в обращении к роли обучения и убеждений, несовершенства познаний индивидов (Норт 2010: 56–57, 232)<sup>49</sup>, в то же время возражает ему, заявляя, что в отношении институтов «у нас нет иного выбора, кроме попыток социальной инженерии» (там же: 232). При этом известная противоречивость его позиции заключается в том, что он не является приверженцем таковой. Для него ее успех — весьма проблематичен хотя бы в силу недостаточности знаний. «Вопрос о том, в какой степени <...> культурное наследие “поддается” целенаправленной модификации, до сих пор остается малоизученным. Так или иначе, оно при любых условиях резко ограничивает наши возможности по осуществлению изменений» (там же: 224).

Как взаимодействуют системы убеждений и институты? Прежде всего Норт подчеркивает их тесную связь. Первые «включают в себя внутреннюю репрезентацию социального ландшафта» (там же: 80). А институты «являются теми структурами, которые люди накладывают на этот ландшафт для получения желаемого результата» (там же). Поэтому их он относит к внешним проявлениям этих репрезентаций. Опирируя термином «ментальные модели» (вместо «убеждения»), Дензау и Норт так писали об этих внутренних и внешних репрезентациях: «Ментальные модели являются внутренними репрезентациями, которые индивидуальные когнитивные системы создают для интерпретации внешней среды; институты — это внешние (по отношению к сознанию) механизмы, которые создают индивиды для структурирования и управления этой средой» (Denzau, North 1994: 4). Таким образом, можно сказать, что убеждения, или ментальные модели, — это идеальные образы (замыслы) институтов,

<sup>48</sup> В частности, Докинз развивает меметическую теорию религии (Докинз 2012: 272–286).

<sup>49</sup> Имеется в виду книга Хайека «Ощутимый порядок» (Hayek 1952).

а институты — их реальное воплощение, пусть далеко не всегда проявляющееся в виде неких осязаемых вещей.

Убеждения во многом определяют институты. Причем речь в этом случае идет прежде всего о таких убеждениях, которые Норт называет доминантными. «Доминантные убеждения — те, которые принадлежат способным проводить политику антрепренерам, — со временем создают институциональные структуры — как формальные, так и неформальные, — определяющие экономическое и политическое развитие» (Норт 2010: 15). А как быть, если убеждения конфликтуют? В таком случае «институты будут отражать убеждения агента (прошлые и настоящие), который обладает полномочиями настоять на своем выборе» (там же: 80).

Эти соображения, с нашей точки зрения, принципиально важны. Во-первых, довольно однозначно прописывается направленность вектора влияния: не от институтов к убеждениям, а наоборот<sup>50</sup>. Во-вторых, определенно говорится, что не всякие убеждения имеют значение для формирования институтов, но преимущественно людей, способных проводить политику. Последних, безусловно, не следует отождествлять только с властью имущими. Эта способность может принадлежать лидерам массовых общественных движений и умонастроений даже до овладения рычагами государственной власти. Примеров XX в. дает более чем достаточно. Наиболее яркие из них: Владимир Ленин — в России, Бенито Муссолини — в Италии, Адольф Гитлер — в Германии, Махатма Ганди — в Индии, аятолла Хомейни — в Иране.

При постановке проблемы об убеждениях и институтах стоит вспомнить, что, согласно Норту, «институты — это правила игры — как формальные, так и неформальные, а также характеристики их применения» (North 2008: 22)<sup>51</sup>. При этом «все вместе они определяют, как проходит

<sup>50</sup> Это подтверждает, например, и такое суждение: «Сознание людей и интенциональность, которую они проявляют в усилиях по формированию более сложных, взаимозависимых культур, создали различные институциональные структуры, которые, в свою очередь, объясняют различия в продуктивности обществ» (Норт 2010: 77). Или же, приступая к исследованию порядка и беспорядка (в соавторстве с Уильямом Саммерхиллом и Вайнгастом), Норт пишет: «Начать следует с убеждений, которые разделяют члены общества, поскольку именно эти убеждения преобразовываются в институты, которые определяют развитие» (North, Summerhill, Weingast 2000: 22).

<sup>51</sup> Правила игры — это всегда ограничения на поведение игроков. Поэтому у Норты присутствует и такое определение: «Институты представляют собой ограничения, накладываемые людьми на социальные отношения» (Норт 2010: 94).

эта игра» (Ibid.). Формальные институты, как следует из приведенного определения, — это формальные правила. Они рассматриваются как «конституционный каркас» в самом широком понимании: структура, определяющая, как должна вестись политическая и экономическая игра (Норт 2010: 84).

Что же касается институтов неформальных, то в связи с ними обращает на себя внимание следующее положение Норты: «Внутренняя взаимосвязь между убеждениями и институтами, проявляющаяся в формальных правилах общества, еще более явно прописана в случае неформальных институтов — норм, конвенций и кодексов поведения» (там же: 80–81). Оно содержит две принципиально значимые вещи. Во-первых, само определение неформальных институтов как «норм, конвенций и кодексов поведения»<sup>52</sup>. Разумеется, неписаных. Во-вторых, то, что убеждения в большой мере воздействуют именно на неформальные институты<sup>53</sup>. Например, при рассмотрении проблем развития это обстоятельство не позволяет решать их только за счет внедрения формальных институтов.

Нельзя пройти мимо и того факта, что способ и темп изменений этих двух типов институтов разные. «Формальные институты могут быть изменены официальным решением, а вот то, как изменяются неформальные институты, мы все еще не вполне понимаем и, как правило, не можем манипулировать ими сознательно» (там же: 81)<sup>54</sup>. В то же время, несмотря на многие загадки неформальных институтов, утверждается, что они изменяются намного медленнее формальных правил и, кроме того, «играют ключевую роль в эволюции организации общества» (там же: 82).

Деление институтов на формальные и неформальные с описанными выше свойствами, с нашей точки зрения, позволяет вернуться к упомя-

<sup>52</sup> Ниже Норт говорит о «личных кодексах поведения» (Норт 2010: 82). Неформальные институты содержат не только общие для всех культур «моральные кодексы систем убеждений», но и нормы, которые очень отличаются в разных культурах (там же: 81). Таким образом, несовместимость базовых норм обществ, или, следуя формулировке Самюэля Хантингтона, «столкновение цивилизаций» (Хантингтон 2003), кроется в различиях неформальных институтов.

<sup>53</sup> Норт на вопрос, откуда берутся правила, неформальные нормы, прямо отвечает: «Они появляются из убеждений, разделяемых людьми» (Норт 2010: 78).

<sup>54</sup> «Фундаментальной неизвестной является способ эволюции неформальных серджек» (Норт 2010: 115).

нумому выше расхождению взглядов Норта и Хайека в вопросе об интенциональности и спонтанности применительно к институциональной структуре. Норт исходит из того, что «сущность понимания той роли, которую играют институты в обществе, заключается в признании того, что они воплощают в себе интенциональность нашего сознания» (там же: 233). Однако вряд ли неформальные институты складываются как некий сознательно организованный проект. Такое представление противоречило бы их пониманию самим Нортом. Тот факт, что «действие экономической эволюции определяется именно институтами, в создании которых выражается интенциональность игроков» (там же: 103), еще ничего не говорит о том, что реально существующие неформальные институты — продукты человеческих планов. «Если формальные институты поддаются целенаправленным изменениям, то неформальные институты неспособны в короткий срок измениться по чьей-либо воле» (там же: 225).

Институты, как мы видели, вырастают из представлений, «но мы слишком мало знаем о том, как развиваются системы представлений, как они распространяются и какое влияние оказывают на итоги человеческой деятельности» (там же: 239). На основе такого заключения можно сделать вывод о том, что никакая интенциональность действий акторов, изменяющих и создающих неформальные институты, не может иметь на выходе то, что замышлялось ими на входе. Эти институты всегда являются непредвиденными последствиями их социальной активности, и это говорит о том, что аргументация Норта против спонтанной институциональной эволюции Хайека не находит подтверждения в его же собственном учении о двойственном характере институтов.

С нортским взглядом на институты неразрывно связана концепция адаптивной эффективности. Отвергая применение постулатов неоклассического мейнстрима к истории (экономическим изменениям), Норт должен был расстаться и с ее теорией эффективности (Парето-эффективности)<sup>55</sup>. Ее заменила адаптивная эффективность. «То, что я называю адаптивной эффективностью, — писал Норт, — представляет

<sup>55</sup> Под эффективностью экономисты понимают Парето-эффективность, названную так в честь сформулировавшего ее критерий итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето. Прямым ее следствием является то, что в экономике именуется первой теоремой экономики благосостояния: согласно ей, идеальные конкурентные рынки обеспечивают максимум общественного благосостояния при данных располагаемых ресурсах.

собой непрерывное состояние, при котором общество продолжает изменять старые или создавать новые институты с появлением очередных проблем» (там же: 242). Иначе говоря, это способность институтов адекватно и своевременно меняться в ответ на новые вызовы. Такое определение эффективности рассматривает ее с позиции динамики (в отличие от математического упражнения по нахождению оптимального размещения имеющихся в распоряжении ограниченных ресурсов в неоклассике) и открывает путь к пониманию роли институтов в историческом процессе.

Вместе с тем эффективность институтов — это не только их динамическая или адаптивная эффективность. Это их способность снижать как производственные, так и трансакционные издержки (здесь, на наш взгляд, можно в целом, не проводя особых различий, говорить о производственной эффективности институтов). Процесс исторических изменений далеко не всегда сопровождался повышением таковой. «Трансакционные издержки нередко возрастали настолько, что полностью блокировали производство и обмен» (Норт 1993: 78). Институты могут как снижать эти издержки, так и, напротив, повышать, причем делать последнее целенаправленно, к чьей-либо выгоде<sup>56</sup>.

Таким образом, согласно Норту, институты можно разделить не только на формальные и неформальные, но и на «хорошие» и «плохие». При этом они порождают и соответствующие стимулы. «Институциональная матрица определяет набор возможностей, будь то те, что приносят наибольшую выгоду в экономике перераспределения доходов, или те, что делают наиболее выгодной производственную деятельность» (Норт 2010: 96). Возникающие на базе институтов организации в своей деятельности будут действовать соответствующим образом<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> В этой связи обращает на себя внимание очень выразительное название статьи Брюса Буэно де Месквита и Хилтона Рута «Когда плохая экономика является хорошей политикой» (Mesquita de, Root 2000: 1–16). В ней авторы пишут, что «преднамеренные неудачи политики повсеместны на протяжении истории» и причиной этого является то, что «политические лидеры хотят остаться у власти. Они готовы покупать политическую лояльность ценой любых издержек для экономики» (Ibid.: 2).

<sup>57</sup> «Если наиболее высокий уровень доходности в экономике связан с пиратством, можно предположить, что организации будут инвестировать в навыки и знания, которые сделают их лучшими пиратами. Точно так же, если уровень доходности производственной деятельности высок, мы будем ожидать, что организации станут вкладывать ресурсы в инвестиции в навыки и знания, которые будут повышать уровень производительности» (Норт 2010: 96–97).



Норт четко разграничивает институты и организации: «Институты управляют игрой, организации в нее играют» (там же: 99)<sup>58</sup>. «Организации — это игроки. Они состоят из групп индивидов, объединенных вместе какими-то общими целями» (North 2008: 22). Примерами экономических организаций могут служить фирмы, профсоюзы, кооперативы и т. п.; политических организаций — политические партии, legislatures, регулирующие органы; образовательных организаций — университеты, школы, центры профессиональной подготовки. Норт видит конечную цель любой организации как выживание, поскольку все они существуют в мире редкости и, следовательно, конкуренции (Ibid.).

Организации, как мы видели, производны от институтов. Можно сказать, что первые образуют тело последних, обеспечивающее их двигательные функции (активность) в человеческом сообществе. Примером может быть конституционный порядок со стороны формального института и вся совокупность государственных учреждений (со стороны организаций), его обеспечивающих.

И здесь мы вплотную подходим к такому явлению, как «эффект колеи». Норт определяет «эффект колеи» как «способ, при помощи которого институты и убеждения, сформированные в прошлом, влияют на нынешние решения» (Норт 2010: 39). Или как «ограничение возможностей выбора, существующих в настоящем, основанное на историческом опыте прошлого» (там же: 83). «В любой момент игроков сдерживает зависимость от пройденного пути — их выбор ограничен сочетанием представлений, институтов и артефактной структуры, унаследованной от прошлого» (там же: 123).

Однако институты и убеждения сами по себе не являются акторами исторического процесса. В качестве способа (инструмента) их влияния

<sup>58</sup> Эта позиция явно близка к тому, что писали Джеффри Бреннан и Бьюкенен в работе «Причина правил», посвященной анализу конституционного порядка, в которой они разграничивали правила, игроков и их действия в рамках существующих правил: «Действия осуществляются в рамках правил, но сами они не являются составной частью правил. Правила устанавливают рамки для действий в игре, и в этих рамках действия могут принимать весьма разнообразный характер» (Бреннан, Бьюкенен 2005: 28). «Качество игры в большей степени зависит от качества ее правил, чем от мастерства игроков» (там же: 262). Правила в данном случае отождествляются с конституционными ограничениями как формальным институтом, а в роли игроков рассматриваются политики и их организации.

выступают организации<sup>59</sup>. И они могут быть кровно заинтересованы в консервации определенных убеждений и институтов, если их выживание неотделимо от нее. В частности, активность организаций могут охранять и изжившие себя неэффективные институты<sup>60</sup>.

В то же время «эффект колеи» неравнозначен стагнации, упадку. Если в «колею» попадают и от поколения к поколению передаются «хорошие» (эффективные) институты, то связанные с ними организации поддерживают их существование и развитие. Это легко заметить на примере цепочки: права собственности — верховенство закона — независимое правосудие. В конечном счете от характера «эффекта колеи» зависят и долговременные результаты. Схематически последовательность влияния институтов через опосредующие звенья на эти результаты изображена на *рис. 2*.

В том, что «эффект колеи» предопределяет (в конечном счете, разумеется) политические решения, неоднократно убеждались «прогрессоры» из Всемирного банка и других международных организаций, стремившиеся убедить правительства многих отсталых стран сделать «как надо». «Как надо», как правило, не получалось. Говоря словами бывшего премьера российского правительства Виктора Черномырдина, чаще получалось «как всегда»: официально принимавшие «добрые советы» правители находили возможности облекать в оболочки формальных институтов традиционные для их обществ институты, придавая им тем самым лишь иной внешний вид. И это — в лучшем случае. Бывало, что импорт институтов оборачивался полным крахом государственного порядка.

Природу этого явления Норт с соавторами подробно исследовали в ряде недавних работ (North, Wallis, Weingast 2005; 2006; North, Wallis, Webb, Weingast 2007; North 2009: 19–28; Weingast 2009: 29–39; 2010: 28–52; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011; Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст 2012).

<sup>59</sup> «Способность институциональной матрицы к самоподдерживанию, создающая “эффект блокировки”, порождается зависимостью организаций от институциональных рамок, в которых они возникли, и последующим возникновением структур, сопутствующих данным организациям» (Норт 1997: 23). «Эффект блокировки» есть лишь иной, по сравнению с «эффектом колеи», вариант перевода английского термина *path dependence*.

<sup>60</sup> «Накопленные институты привели к созданию организаций, выживание которых зависит от сохранности этих институтов и которые, соответственно, будут вкладывать ресурсы в то, чтобы предотвратить какие-либо изменения, угрожающие их выживанию» (Норт 2010: 83).



Рис. 2. Связь между институтами и результатами

Для этого потребовалось создание новой парадигмы человеческой истории и отвечающего ей видения природы государства на разных исторических этапах, и в первую очередь роли так называемого естественного государства. Рассмотрение новой парадигмы, созданной Норт, Уоллисом и Вайнгастом, и вытекающих из нее следствий — предмет особого исследования. Дело в том, что она представляет довольно радикальные новшества и во многом меняет взгляд на государство.

К вопросу о государстве нам еще предстоит вернуться. Пока же обратим внимание на то, как Норт и его соавторы характеризуют особенность механизма обратной связи от результатов к реальности. В статье «Обучение, институты и функционирование экономики» они пишут: «Механизм обратной связи от результатов к реальности проходит через человеческое мышление; и поскольку мышление активно интерпретирует реальность, мы располагаем ограниченными знаниями о том, как результаты будут

восприняты и интерпретированы агентами. Это — главная причина, по которой механистические, детерминистские модели экономических изменений не могут работать: идеи являются автономными факторами социально-экономической эволюции, и если мы хотим больше узнать о процессе, мы должны больше знать о том, как мышление конструирует реальность» (Mantzavinos, North, Shariq 2003: 44). Здесь нам еще раз напоминают, что мир непредсказуем, и непредсказуем он именно потому, что строится на нашем его восприятии, предвидеть характер которого невозможно.

В логической цепочке исторических изменений, представленных на рис. 1, роль замыкающего звена отведена государству. Все последние новации в норттовском учении о нем не меняют того, что в идеале оно рассматривается как принудительная сила, способная «эффективно осуществлять надзор за правами собственности и обеспечивать соблюдение контрактов» (Норт 1997: 82). Однако, как замечал Норт, «на нынешнем уровне знаний нам неизвестно, как создать такое государство» (там же). В результате есть смысл посмотреть, как «такое государство» возникло в самом историческом процессе.

«Развитие государства от средневекового, мафиозного по своему характеру, до современного, воплощающего в себе правовые институты и инструменты, — это важнейшая часть истории свободы» (Норт 1993: 76). В то же время, как мы увидим далее на примере исторического пути двух Америк, сравнительный институциональный анализ которого проведен Норт с соавторами, история свободы — это лишь эпизод истории человечества, причем если ориентироваться на фундаментальную книгу Норта, Уоллиса и Вайнгаста, то вдобавок еще и довольно скромной его части<sup>61</sup>.

#### 1.4. ИСТОРИИ УСПЕХОВ И ПРОВАЛОВ

Если следовать Нарту, то исторически надо выделить две Европы (разумеется, это деление касается только Западной Европы). Один из ее полюсов составляет связка Нидерланды–Англия, можно сказать, заложившая

<sup>61</sup> В книге «Насилие и социальные порядки» отмечается, что лишь 25 стран и 15% населения всего земного шара живут сегодня в обществах открытого доступа, остальные 175 стран и 85% населения живут в естественных (то есть в той или иной мере ограничивающих свободу) государствах (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 33). Источник этих данных авторами не раскрывается.

основы современного развития. Другой — Испания. Англия экспортировала свои институты в американские колонии, и в итоге в мире возник гигант рыночной цивилизации в лице США. Испания же проделала то же в отношении Латинской Америки, которая в результате в большей своей части до сих пор находится в неудовлетворительной институциональной среде, не позволяющей достичь североамериканского благополучия<sup>62</sup>.

Впрочем, историю того, что Норт называет «триумфом западного мира» (Норт 2010: 182), он начинает со времен, далеких от Испанской и Британской империй. Признавая большую роль церкви как передатчика культурного наследия античного мира, он не останавливается на этой тривиальной точке зрения. По его мнению, важнее всего было то, что «она создавала единую систему верований» (там же: 184). Причем «эти рамки служили основой для непрерывной эволюции представлений, от которых зависел выбор, определивший будущее европейских государств и их экономик» (там же).

При этом само собой разумеется, что важна не только и не столько единая система верований, сколько то, что собой представляло ее идейное наполнение. Выше уже приводилось мнение Нортона о благотворном в целом влиянии христианской догматики на экономический рост. При этом протестантская этика специально не выделяется им как нечто исключительное (там же: 197).

Отдавая традиционную дань роли средневековых городов, автор связывает с их развитием и эволюцию некоторых государств, которые «постепенно переходили от вымогательства к предоставлению “защиты и правосудия” за деньги» (там же: 191). В качестве примера фигурируют Нидерланды до проведения удушающей налоговой политики Филиппом II. Торговля, которая составляла основу их экономики, выигрывала от снятия ограничений и монопольных привилегий. Поэтому «именно в Нидерландах и Амстердаме лежат корни современного экономического роста» (там же: 192).

Однако главным, что обеспечило успех Европы, Норт считает отсутствие политической централизации и конкуренцию государств. Дело в том, что в децентрализованной среде была возможна апробация различных вариантов: одни, как мы увидим на примере Испании, закончились провалом, другие, как уже упомянутые Нидерланды, а потом и Англия,

<sup>62</sup> В 1820 г. ВВП всей Латинской Америки превосходил ВВП США на 12,5%. В настоящее время, при населении в 560 млн (на 250 млн больше, чем в США), совокупный ВВП региона составляет лишь 29% от ВВП северного соседа (Arias 2011).

завершились успехом. Централизованный же политический контроль ограничивает возможности и альтернативы. В этом видятся причины неудач исламского мира и Китая. Разнообразие выбиравшихся вариантов означало «повышение (по сравнению с единообразной политикой) вероятности того, что один из них приведет к экономическому росту» (там же: 198).

Одновременно «динамичные последствия конкуренции между фрагментированными политическими образованиями привели к возникновению особенно созидательной среды» (там же). При оценке успехов Нидерландов и Англии следует учитывать стимулы, которые создавали страны-конкуренты, а также то, что они умело перенимали достижения конкурирующих с ними государств (банковское дело от итальянских городов-государств, новые приемы навигации от Португалии, печатный станок от германских государств).

В то же время межстрановая конкуренция вела и к постепенным институциональным изменениям. Она порой вынуждала постоянно нуждавшихся в деньгах правителей идти на уступки прав тем, кто мог эти средства предоставить. Права собственности и представительного правления становились предметами торга, успех которого, согласно Норту (там же: 204), зависел от трех условий:

- размера ожидаемой выгоды для избирателей от гарантий прав собственности;
- наличия замены данному правителю, иначе говоря, конкурента, который при случае мог бы сместить действующего главу государства, предложив свои, более выгодные условия;
- структуры экономики, от которой зависят выгоды и издержки при различных типах налогообложения.

Продуктивная городская экономика Нидерландов, выстроенная вокруг экспортной торговли, очень нуждалась в гарантиях прав собственности и разумных налогах. Пока испанская корона это обеспечивала, подвластная ей территория считала ее владычество приемлемым. Однако повышение налогов Филиппом II превысило все разумные пределы и вызвало революцию, приведшую в конечном итоге к отделению семи северных провинций.

Норт указывает ряд причин, которые могут порождать революции (там же: 153–154). В данном случае подходит его тезис о событии, ликвидировавшем прежние механизмы, которые обеспечивали взятие на себя достоверных обязательств, но не создавшем адекватной замены

(там же: 153). В таком случае революция представляется менее рискованным мероприятием, чем сохранение статус-кво.

Другая история успеха — это, несомненно, Англия. О ней подробно рассказано Норт и Вайнгастом (North, Weingast 1996: 134–165) и кратко — в статье Норта (Норт 1993: 84–86). Норт и Вайнгаст сфокусировали внимание на политических факторах, лежащих в основе экономического роста и развития рынков, — институтах, определяющих, как управляющие обменом правила могут быть реализованы (*enforced*) и как они могут быть изменены. «Для экономического роста, — пишут они, — суверен или правительство должны не просто установить подходящий набор правил, но и создать достоверную приверженность им» (North, Weingast 1996: 134).

Эта «достоверная приверженность» не возникает сама собой: ее обеспечивает борьба за интересы. В Англии ее утверждению предшествовало столетие гражданских войн и революций (по насыщенности социальных потрясений XVII в. в Англии не уступает XX в. в России). При этом Норт и Вайнгаст отмечают, что успех Англии в деле утверждения эффективных институтов не был предопределен заранее и все могла изменить чистая случайность. Королевская власть почти выиграла войну. И если бы в Англии в ее распоряжении была «стандартная армия», то политическое и экономическое будущее страны, весьма вероятно, было бы совсем другим: потенциально более близким к Франции и Испании (Ibid.: 161).

Не вдаваясь в подробности истории Англии, выделим лишь тот факт, что Норт и Вайнгаст говорят о пяти значимых институциональных изменениях в качестве результата Славной революции. Во-первых, революция устранила архаическую фискальную систему и постоянно сопутствующий ей финансовый кризис. Во-вторых, ограничив законодательную и судебную королевскую власть, революция тем самым ограничила возможности последней изменять правила постфактум без согласия на то парламента. В-третьих, парламент окончательно утвердил свое доминирование в вопросах налогообложения, исключив право короны менять налоги в одностороннем порядке. В-четвертых, парламент гарантировал себе роль в распределении средств и мониторинге расходов. Королевская власть должна была теперь иметь дело с парламентом на равных основаниях; более того, последний имел преимущество в виде достоверной угрозы смещения с трона суверена, когда тот станет выходить слишком далеко за пределы полномочий. И наконец, в-пятых, создав баланс между парламентом и монархией (а не устранив последнюю, как это имело место после гражданской войны), Славная революция наложила ограничения и на интересы парламента — его тенденции к произвольным

действиям<sup>63</sup>. В совокупности все это увеличило предсказуемость правительственных решений (Ibid.: 162).

Англия показала и пример взаимосвязанности политических и гражданских прав с экономической свободой. Ранее, располагая правом арестовывать без предъявления обвинения или содержать длительный срок в тюрьме до суда, королевская власть требовала исключительно большой залог за освобождение с целью повышения издержек оппозиции. Таким образом, защита политических прав сформировалась как компонент политической защиты экономических прав (Ibid.).

Первоначально единая структура представлений и убеждений, унаследованная Западной Европой от римского христианства, в разных ее частях развивалась по-разному в зависимости от различного опыта. Например, в период с 1500 до 1628 г. («Петиции о правах») в Англии произошел настоящий прорыв в представлениях о правах. Их эволюция шла в направлении от понимания прав как статусных привилегий избранных до признания гарантированных законом универсальных прав всех англичан. В результате «положительное сочетание структуры представлений и убеждений с конкретными условиями, существовавшими в Нидерландах и Англии, вело к институциональной эволюции экономики и государства» (Норт 2010: 209).

На основании изучения английской истории XVII в. и опыта современного третьего мира Норт и Вайнгаст делают следующее заключение.

Необходимым условием для создания современных экономик, основанных на специализации и разделении труда (а следовательно, на обезличенном обмене), является способность обеспечивать надежность контрактов во времени и пространстве. Это влечет снижение трансакционных издержек на акт обмена. Создание обезличенных рынков капитала есть единственное и наиболее важное свидетельство того, что данное необходимое условие было выполнено (North, Weingast 1996: 164).

В результате выполнения данного условия вскоре после Славной революции в экономике Англии наступил период, который был назван финансовой революцией. В 1694 г. появляется Банк Англии, быстро множится число частных банков, мобилизуются частные сбережения, падают процентные ставки по кредитам. Резко возросшее финансовое

<sup>63</sup> Здесь невольно вспоминается Хайек с его знаменитой фразой: «Выбор таков: или свободный парламента, или свободный народ» (Хайек 2006: 243).



могущество Англии позволило ей в XVIII в. выиграть ряд решающих войн с Францией и стать крупнейшей державой мира — Британской империей. Норт и Вайнгаст специально подчеркивают тот факт, что в XVIII в. Британия одолела Францию за счет более крепких финансов, путь к оздоровлению которых открыли институты, порожденные Славной революцией (Ibid.: 163–164). Они позволяли британскому правительству не только располагать большими и более регулярно поступающими в казну средствами, но и делать займы по более низким ставкам. Дело в том, что новые институты создали очень ценный социальный продукт — достоверность обязательств (*credible commitment*). Он до наших дней проводит черту между странами, которые им обладают, и теми, которые испытывают его дефицит.

Однако войны — в любом случае очень затратные мероприятия. И если крах французских финансов в результате Семилетней войны (1756–1763) приблизил коллапс государства вследствие Великой французской революции, то Британская империя тоже сильно пострадала: в итоге она утратила Североамериканские штаты. Впрочем, значительно раньше начался экспорт британских институтов в Северную Америку.

Британская империя была действительно либеральной империей. Вплоть до окончания Семилетней войны британские колонии в Северной Америке располагали очень значительной политической автономией и экономической свободой. «Великобритания научилась уважать местные политические свободы в обмен на признание колонистами британского контроля за империей, включая накладываемые на колонистов торговые ограничения» (Норт 2010: 157). Впрочем, эти ограничения были очень незначительными (особенно, как мы убедимся далее, в сравнении с теми ограничениями, которые вводила Испанская империя для своих колоний). В целом же Британская империя поддерживала в Северной Америке принципы федерализма. При этом очень важно, что «британские институты создали общий рынок внутри империи, препятствуя отдельным колониям возводить торговые барьеры» (North, Summerhill, Weingast 2000: 30). Не забыта этими исследователями и роль убеждений: «Порядок основывался на системе общих убеждений, поддерживавшей имперскую федеральную структуру и ряд местных полномочий, предоставленных колониальным ассамблеям» (Ibid.: 31).

Что же пошло не так после Семилетней войны? Авторы обращают внимание на три обстоятельства (Ibid.). Во-первых, Британская империя вышла из войны с крупнейшим за всю ее прежнюю историю долгом, который британцы решили частично возложить на колонии. Во-вторых,

произошло значительное расширение Британской империи, и теперь ущерб от налогов ее американским колониям значил относительно меньше, чем раньше, когда эти колонии составляли основную часть имперской территории. И наконец, в-третьих, поражение Франции снизило потребность американских колоний в «британском зонтике» и, как следствие, резоны следовать в русле британской политики.

Усилившийся нажим метрополии на автономию американских колоний сделал популярными идеи радикалов-сепаратистов, к которым ранее мало кто прислушивался. Парадокс заключался в том, что идеи свободы были импортированы из Британии и поддерживались ею, превратившись примерно за сотню лет в твердые убеждения колонистов. И они же были обращены против нее, так как сепаратисты взяли на вооружение следующее утверждение: британское господство угрожает свободе. Британия не смогла противопоставить заслуживающую доверия альтернативу. Американская нация родилась на идее свободы.

Возникновение системы разделяемых убеждений в ходе революционных дебатов помогло установлению политического порядка после поражения Британии. Важнейшие составляющие этих разделяемых убеждений включали главенствующее значение свободы, надлежащие ограничения на национальное правительство и правительства штатов, соответствующие формы конституционной защиты против тирании. В частности, сторонники революции адаптировали свои теории достоверной приверженности империи, основанной на федерализме, к новым условиям независимости (Ibid.: 34).

Сложившаяся в США система получила название «сохраняющий рынок федерализм» (*market-preserving federalism*). В ней многое изменилось со времен их основания. Однако до сих пор, несмотря на существенные сдвиги в сторону централизации, федерализм играет заметную роль (особенно по сравнению с другими странами с формально провозглашенным федеральным устройством). «Эффект колеи» еще не исчерпал себя. Вряд ли в какой еще федерации (кроме Швейцарской) вопрос о легализации наркотиков (марихуаны) может решаться на субфедеральном уровне<sup>64</sup>.

<sup>64</sup> К настоящему времени в 18 штатах США (а также в округе Колумбия) легализовано использование марихуаны в медицинских целях. В двух же штатах (Вашингтон и Колорадо) — даже в рекреационных целях. Статистика и законодательство по вопросам легализации марихуаны в США представлены на интернет-сайте организации *Drug Policy Alliance* (<http://www.drugpolicy.org>).

«Эффект колеи» (его можно назвать и британским следом) во многом определил высокую адаптивную эффективность сложившихся в США институтов<sup>65</sup>. «Фундаментом для этих гибких институтов служат массовые представления, воплощенные в неформальных ограничениях, присущих данному обществу» (Норт 2010: 120). Норт, так же как и британский экономист индийского происхождения Дипак Лал<sup>66</sup>, весьма положительно относится к импорту институтов Британии ее колониями. «Наследие британских институтов, — резюмирует Норт, — создало благоприятные условия для развития институтов обезличенного обмена, которые стали основой для длительного роста американской экономики» (там же: 162).

Обезличенному характеру обмена Норт отводит решающую роль в деле обеспечения успешного развития<sup>67</sup>. Однако не всем обществам он оказался доступен. Переход от персонализированного к обезличенному обмену не завершился для многих стран и поныне. Ключ к успеху для них оказался, образно говоря, за семью печатями. В Западной Европе в роли неудачника и одновременно переносчика неэффективных институтов выступила Испания. Корни неудачи хронологически относятся ко второй половине XV в., когда происходило ее объединение. Положивший этому начало брак между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской сливал воедино две довольно разные по своему общественному устройству территории: Валенсию, Арагон и Каталонию, с одной стороны, и Кастилию — с другой. Если у первых было нечто общее с торговыми республиками (во всяком случае, кортесы имели там неформальное значение), то Кастилия существенно отличалась от них. В ней «возникла централизованная монархия, и именно Кастилия предопределила последующую институциональную эволюцию Испании и Латинской Америки» (Норт 1993: 87).

Всякая аналогия, конечно, неполноценна, но в чем-то роль Кастилии в Испании напоминает роль Московского царства в собирании русских

<sup>65</sup> «Адаптивная эффективность институциональной структуры, характерная для американской экономики, стала результатом зависимости от пути развития (благодаря политическим и экономическим институтам, унаследованным от британского правления)» (Норт 2010: 161).

<sup>66</sup> О взглядах Лала см. главу 3.

<sup>67</sup> «Ключ к успеху состоит в создании институтов обезличенного обмена, ограничивающих действия игроков и сужающих диапазон политических решений» (Норт 2010: 154).

земель с навязыванием собственной жесткой авторитарной модели там, где она встречала некоторые вольности (Великий Новгород). Различие же заключается в том, что экспансия Московского государства шла преимущественно в Сибирь и на Дальний Восток, а Испанской империи — в Латинскую Америку. Последняя в те времена имела существенно большее хозяйственное и геополитическое значение.

Снижение поступлений драгметаллов из Нового Света и превышение издержек контроля за колониями над доходами от них заставляли Испанию повышать внутренний налог (так называемую алькабалу). Например, в связи с войной с восставшими Нидерландами он был повышен в 8 с лишним раз — с 1,2 до 10%, но это не уберегло испанскую корону от острых финансовых проблем. Они решались зачастую с помощью конфискации имущества и денег, что вело испанскую экономику к упадку (там же: 87–88).

В Испании «экономические монополии и централизованный контроль шли рука об руку» (Норт 2010: 207). Основой общественной системы Испании служил политический обмен: права и привилегии элиты поддерживались лояльностью короне. «Каждая корпоративная группа обеспечивала важные услуги короне по всей империи. В обмен корона предоставляла ряд прав и привилегий» (North, Summerhill, Weingast 2000: 41). Политический обмен прав на политическую поддержку обеспечивал короне долговременное выживание. Однако это не создавало стимулов для долговременного экономического роста. Испания очень долго (более 400 лет) не могла выпрыгнуть из этой ловушки, «погрузившись в экономическую стагнацию и политическую нестабильность» (Норт 2010: 207). Причем окончилась она только со смертью диктатора Франко во второй половине XX в.

Неудивительно, что в Латинскую Америку Испания экспортировала «плохие» институты. «Испанское наследие, перенесенное через океан в Латинскую Америку, привело к созданию там институтов и организаций, которые не смогли обеспечить ни стабильного экономического роста, ни прочных гражданских и политических свобод» (там же). Что же происходило в латиноамериканских колониях Испанской империи?

Это можно выразить одним словом — жесткие ограничения. В первую очередь ограничивалась торговля, а следовательно, экономическое развитие. Регулирование было направлено против межколониальной торговли, развития плотной сети портов и общего рынка в колониях. «Таким образом регулирование ограничивало для колонистов стимулы

извлекать выгоды от специализации и экономического обмена по всей Южной Америке» (North, Summerhill, Weingast 2000: 42)<sup>68</sup>.

Практикуемая Испанией система была приспособлена к максимальному извлечению краткосрочной ренты короной, а не к долгосрочному экономическому развитию. Система монополий была создана отчасти с этой целью. «В итоге испанский меркантилизм был создан с тем, чтобы максимизировать изъятия из нового мира за счет значительных издержек для экономического развития» (Ibid.: 43). В этом ситуация резко контрастировала с североамериканскими британскими колониями.

После освобождения от испанского господства актуальной стала задача государственного строительства. В отличие от Северной Америки, она не могла решаться с опорой на уже существующие структуры: сверхцентрализованная власть испанской монархии рухнула, а опыт автономного правления отсутствовал. Произошла политическая дезинтеграция континента с появлением сильных лидеров отдельных государственных образований (каудильо), которые предоставляли защиту от хищнического поведения неконтролируемых вооруженных групп.

Разрыв с метрополией разрушил многие институты, которые обеспечивали достоверную приверженность правам и собственности в Испанской империи. Тем не менее многие представители элит хотели сохранить свои привилегии, права и активы, которые базировались на старом колониальном порядке. Однако данные устремления находились в противоречии с республиканскими принципами, выразившимися в заимствованиях конституции США. Этот конфликт предполагал в итоге что-то одно: либо привилегии, либо республиканизм.

Борьба за власть в хаотических формах продолжалась до середины XIX в. Издержки ее все возрастали. «Установление порядка стало целью само по себе, широкие круги элиты поддерживали создание институтов, которые способствовали бы порядку. И это происходило за счет экономического роста и индивидуальных свобод. Возникший порядок никак не ограничивал государство» (Ibid.: 45).

Положение осложнялось весьма неоднородным характером обществ. Существовало противоречие между креолами (испанцами, родившимися в колонии) и испанцами с полуострова (родившимися в Испании). На

<sup>68</sup> В работе этих трех авторов приводится такой парадоксальный пример: продукты из районов реки Рио-де-ла-Плата не могли экспортироваться через естественный ближайший порт (современный Буэнос-Айрес), а должны были доставляться вокруг всего континента, за тысячи миль, в Перу (North, Summerhill, Weingast 2000: 42).

королевскую службу брали только последних, и они получали больше привилегий по сравнению с креолами. После революции вставал вопрос: что делать с этой группой? Оставлять им их собственность и привилегии или нет? Предоставлять ли им гражданство? Последний вопрос в ряде стран был актуален и по отношению к аборигенам, многие из которых поддерживали борьбу с испанцами.

В итоге Норт, Саммерхилл и Вайнгаст сопоставляют сложившееся положение дел в Южной Америке с разработанными ими критериями устойчивого порядка и отмечают, что он не отвечает ни одному из них (Ibid.: 47–48, 50–51). Во-первых, там, в отличие от Северной Америки, отсутствовала система разделяемых убеждений. Имели место глубокие расхождения по вопросам предоставления гражданства, роли государства и корпоративных привилегий. В результате, согласно вышеназванным авторам, нарушается первый принцип политического порядка, предполагающий наличие общих убеждений, необходимых для наложения ограничений на деятельность государства и отслеживания их соблюдения.

Во-вторых, политический порядок предполагает, что конституция ограничивает «ставки» политической власти (выгоды, которые она приносит) и противоречия. Отсутствие согласия относительно базовых элементов политической структуры и принятия политических решений вкупе с отсутствием общности убеждений предполагает отсутствие достоверных обязательств новых государств. Из этого вытекает неспособность создать подходящие политические институты, определяющие права граждан, лимитирующие выгоды от государственной власти и создающие стимулы для экономического роста. В таких условиях граждане оказываются неспособны контролировать границы политической власти. Напротив, эти условия пестуют развитие авторитарных систем. И поскольку фундаментальные вопросы не урегулированы, выгоды от захвата власти и издержки от потери ее высоки.

В-третьих, отсутствие первых двух условий политического порядка свидетельствует о том, что в игру включается поиск ренты. Отсутствие пользующихся доверием ограничений государства подразумевает наличие рационального беспокойства корпоративных групп и представляющих их элит. Их права, привилегии и богатство, нередко составляющие большую долю производственных активов страны, оказываются ставкой в игре. Те, кто стремится удержать то, что считает принадлежащим себе по праву, готовы сражаться, чтобы защитить эти права. Те, кто располагает достаточной властью, обладают стимулами сдерживать эти группы либо



по причине того, что привержены республиканским убеждениям, либо в силу того, что претендуют на те же богатства. Результатом становятся политические потрясения и отсутствие порядка. «Государство превращается в поле сражения с теми, кто полагает, что изменение правил негативно скажется на них» (Норт 2010: 178). В крайней ситуации не исключена гражданская война.

«В истории Латинской Америки мы не наблюдаем ни экономического коллапса, ни стагнации, а лишь хроническую нестабильность, массовое мздоимство, политический авторитаризм, порочное распределение дохода, неэффективное обеспечение коллективных благ и замедленный экономический рост» (там же: 164). Норт пишет о контрасте, который являются собой США и страны Латинской Америки:

Через двести лет после получения независимости исторический контраст между Северной Америкой и Латинской Америкой по-прежнему дает яркий пример поразительных различий в экономической эффективности. В Соединенных Штатах мы видим здоровую систему с федерализмом, демократией, ограниченными полномочиями правительства и процветающими рынками. Для большей части Латинской Америки по-прежнему характерно развитие рывками, хрупкие демократические институты, сомнительные основы гражданских прав и монополизированные рынки (там же: 165).

Норт говорит и об общей для всех стран причине упадка. «Упадок наступает при отсутствии стимулов к участию в производственной деятельности вследствие централизованного политического контроля за экономикой и монопольных привилегий» (там же: 193). В частности, это прямо относится и к СССР, краткому рассмотрению экономической истории которого посвящена целая глава книги «Понимание процесса экономических изменений» (там же: 209–222). Распад СССР связывается с крайне низкой адаптивной эффективностью, так как структуры страны представляли по отношению к требованиям этой эффективности «полную противоположность» (там же: 222).

Известно, что Норт никогда не страдал излишним оптимизмом. Для него неудачи в экономическом развитии — правило, а удачи — исключение из правил. «Число неудач намного превосходит число успехов. Экономический рост был исключением, а правилом — стагнация и упадок, отражающие хроническую тенденцию к организационным провалам» (там же: 193).

Экономическая история по Норту — это далеко не голливудский фильм с *happy end*. «Экономическая история — это грустная сказка о просчетах, приводивших к голоду, недоеданию, поражениям в войнах, смерти, застою и упадку экономики, а в конечном счете и к исчезновению целых цивилизаций. И даже самое поверхностное изучение сегодняшних новостей показывает, что эта сказка не является достоянием прошлого» (там же: 23).

## 1.5. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ

Книга Норта и его соавторов «Насилие и социальные порядки» стала завладевать умами исследователей сразу же после ее выхода<sup>69</sup>. Об этом упоминалось во Введении. Однако нельзя не сказать о той особой популярности, которую она обрела в России после выхода переводного издания в 2011 г. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» развернул целый проект, главной целью которого было использование представленных в книге концептуальных схем применительно к России (Исследовательский проект «Институты, развитие и группы интересов...» 2012–2013). В нем участвовал один из соавторов Норта — Стивен Уэбб (North et al. 2007; Норт и др. 2012). В России в той или иной мере подход Норта–Уоллиса–Вайнгаста (далее — НУВ) используется в самых разных исследованиях, в которых он берется в качестве исходной или значимой для последующего анализа теоретической установки (Балацкий 2014; Заостровцев 2012; Зудин 2013; Ореховский 2012; Плискевич 2013; Шаститко 2012; Яковлев 2012; 2013). И этот список, скорее всего, не исчерпывающий.

Так что же привлекло к концепции столь широкое внимание? Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего представить саму концепцию. Она, как и говорится в заглавии книги, охватывает всю письменную историю человечества. И делит ее на два социальных порядка: порядок ограниченного доступа (ПОД) и порядок открытого доступа (ПСД)<sup>70</sup>. Есть еще примитивный порядок, порядок малых социальных

<sup>69</sup> Концепция социальных порядков до этого была изложена в целом ряде работ соавторов этой книги (North, Wallis, Weingast 2005; North, Wallis, Weingast 2006; North et al. 2007).

<sup>70</sup> Чтобы русские аббревиатуры различались, переименуем последний в порядок свободного доступа (ПСД).

групп охотников и собирателей, но он лежит за пределами «письменной истории»: однажды упоминается НУВ (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 40), а потом речь о нем почти не идет.

Итак, два порядка. Первый сопровождает земные сообщества с момента появления государств (об этом говорит то, что иное название у ПОД — естественное государство) и до сих пор доминирует на планете. Авторы относят к нему и Месопотамию III тысячелетия до н. э., и Британию при Тюдорах, и Россию при Путине (там же: 84). К ПСД удалось перейти сравнительно немногим странам. Они не перечисляются, но зато говорится, что, вероятно, лишь 25 стран сегодня и 15% населения земного шара живут в открытом доступе. Остальные, естественно, проживают в условиях ПОД (там же: 33).

В книге даны важнейшие характеристики двух разновидностей общественных порядков (там же: 54, 209), а также три пороговых условия перехода от первого ко второму (там же: 76). Если в очень сжатом виде выделить главное, что отличает один порядок от другого, то следовало бы назвать три принципиальных различия (остальные тоже важны, но, на наш взгляд, не столь принципиальны). Они представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Главные характеристики социальных порядков  
ограниченного и открытого доступа**

	ПОД	ПСВ
Насилие	Распыленное, неконтролируемое	Консолидированное, контролируемое
Организации	Не бессрочные	Бессрочные
Отношения людей	Личные	Безличные

Естественно, в первую очередь следует остановиться на проблеме насилия, заметив при этом, что ее постановка НУВ в центр анализа организации человеческих сообществ и их изменений во времени принципиально меняет парадигму экономической науки: на место образа человека экономического (*homo economicus*) приходит противоположный ему образ — человек принуждающий. Итак, насилие выходит на первый план<sup>71</sup>.

<sup>71</sup> «То, как общества решают существующую везде и всегда угрозу насилия, задает и структурирует формы, которые может принимать человеческое взаимодействие, включая типы политических и экономических систем» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 32).

В рамках ПОД проблема насилия решается через распределение создаваемых в результате ограниченного доступа рент<sup>72</sup>. «ПОД используют ренты, ограниченный доступ и привилегии отдельным лицам и группам для сдерживания насилия, предоставляя эти ренты и привилегии отдельным лицам и группам, способным на насилие, и создавая для них стимулы кооперироваться, а не бороться друг с другом» (Норт и др. 2012: 19)<sup>73</sup>.

В чем тут дело? Все объясняется очень просто. В естественном государстве (оно же — ПОД) группировки в элите имеют реальный или потенциальный доступ к насилию (то самое распыленное и неконтролируемое насилие). Они могут враждовать друг с другом (причем конфликты зачастую принимают острые формы, вплоть до гражданских войн), а могут и сотрудничать. Однако кооперация их усилий должна как-то вознаграждаться. Для этого государство создает искусственные препятствия для конкуренции и барьеры для входа в ту или иную деятельность, что, в свою очередь, вознаграждает рентой тех, кто имеет привилегию доступа в закрытые для прочих сферы. Если элитарные группы поглощены заботой о создании и распределении рент, они, скорее всего, заключат мир друг с другом. «Так политическая система естественного государства манипулирует экономической системой для создания ренты, которая затем обеспечивает политический порядок» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 64).

Таким образом, искусственно созданные эксклюзивные условия, неравенство конкурирующих субъектов, приносят ренту, которая производит такое общественное благо, как мирная жизнь. Недаром «в истории человечества большая часть экономического и политического развития происходила в рамках естественных государств...». Цена такого блага, разумеется, очень высока. Это становится особо заметно на фоне ПСД.

Если в ПОД «доступ к насилию открыт любому, кто достаточно силен и достаточно хорошо организован, чтобы его использовать» (там же: 220), то в ПСД «государство обладает монополией на легитимное насилие, которое используется в соответствии с четкими и ясными правилами» (там же: 203). «Веберовское» государство присутствует только в ПСД. И в результате «порядки открытого доступа предотвращают беспорядок

<sup>72</sup> Ренту НУВ определяют традиционным для экономистов образом. «Рента — это отдача от экономического актива, превышающая отдачу, которая может быть получена от лучшего альтернативного использования этого актива» (там же: 65, примеч.).

<sup>73</sup> НУВ также сформулировали далее это же кратко, но очень выразительно: «Управление привилегиями создает интересы, которые сдерживают насилие» (там же: 118).

при помощи конкуренции» (там же: 211). Дело в том, что монополия государства на насилие становится условием экономической конкуренции, открытого доступа к разного рода бизнесам, включая создание новых предприятий и организаций. Этот доступ и обеспечивает шumpетерианское «созидательное разрушение», на что естественное государство в принципе неспособно, ибо это противоречит сути его устройства<sup>74</sup>. В ПСД же нет необходимости делить ренту, а следовательно, сознательно выстраивать барьеры, порождающие монополии и душащие конкуренцию<sup>75</sup>. Очевидно, что все это дает ему явное преимущество перед ПОД и делает «общества открытого доступа более устойчивыми к динамическим изменениям» (там же: 221)<sup>76</sup>.

К вопросу о более высокой адаптивной эффективности ПСД мы еще вернемся. Пока же обратимся ко второй характеристике, касающейся природы организаций. Бессрочные ли они? Здесь надо понимать, что бессрочные организации — это совсем не то же, что вечные, бессмертные. Да и не то же, что долговечные. Бессрочные — это не зависящие от жизни их индивидуальных членов. Речь идет не только о частных организациях (типа акционерных обществ), но и общественных организаций, включая само государство как «организацию организаций»<sup>77</sup>.

Создание бессрочных организаций не вытекало из простого стремления улучшить их функциональные характеристики. Во-первых, этот процесс связан с изменением убеждений. Люди должны были поверить в то, что, возможно, еще не родившиеся люди будут соблюдать обязательства

<sup>74</sup> «Естественное государство неспособно поддерживать созидательное разрушение, потому что создание новых организаций напрямую угрожает существующим экономическим организациям и их формам извлечения ренты» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 213).

<sup>75</sup> НУВ не исключают поиск ренты в ПСД, но отмечают его ограниченный характер по сравнению с ПОД. «Хотя открытый доступ не устраняет создание ренты, он значительно ограничивает тот ее вид, который приводит к негативным последствиям для общества» (там же: 73).

<sup>76</sup> В качестве примера экономической «неповоротливости» ПОД можно привести пример ГДР, на который известный американский экономист Мансур Олсон ссылается в своей книге «Власть и процветание». Только 8% восточногерманских рабочих были заняты в производстве товаров, ценность которых на международных рынках покрывала хотя бы переменные издержки на их изготовление. Противоположную картину демонстрировала Южная Корея, где в 1970-е гг. от 80 до 90% факторов производства использовалось для других целей, нежели в 1960-е (Олсон 2012: 175–176).

<sup>77</sup> «Бессрочно существующие организации не могут существовать без бессрочно существующего государства» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 268).

организации. Во-вторых, бессрочным нужно стать самому государству (можно убить императора, но нельзя убить империю). Иногда говорят о «разделении двух тел короля». Причем «бессрочно существующий безличный суверен должен был быть изобретен до того, как могла быть реализована идея о государстве как бессрочно существующей организации» (там же: 287).

Механизмы функционирования организаций должны существовать отдельно от особенностей конкретных личностей, их представляющих. Должность (как набор функций) и личность (в смысле не относящихся к профессии качеств), ее занимающая, должны быть разведены как можно дальше. Это очень важно для выполнения требований достоверности обязательств. Нужна игра по правилам, которые не меняются в процессе игры в зависимости от смены игроков. НУВ выделили бессрочность организаций как необходимое пороговое условие перехода от ПОД к ПСД<sup>78</sup>. Естественно, что оно сохраняется и укрепляется в устоявшемся ПСД.

И наконец, личные и безличные отношения. Если «сущность естественного государства состоит в личных отношениях» (там же: 131), что делает невозможным соблюдение индивидуальных прав, то «безличность означает одинаковое отношение ко всем» (там же: 71). Без нее не может существовать равенство. Безличные отношения опираются на бессрочность организаций, последние составляют основу первых. И следует указать особо, что безличность — основа эффективного функционирования рыночных связей. «Безличность фундаментально изменяет природу теоретический идеал экономической науки: они являются особенностью обществ открытого доступа» (там же: 72).

В книге НУВ наилучшее впечатление оставляет исследование ПОД. Выделены три его ступени: хрупкое, базисное и зрелое естественные государства. Хрупкие естественные государства примерно соответствуют тому, что называется провалившимся государством (*failed state*). Такое государство «едва ли может устоять перед лицом внутреннего и внешнего насилия» (там же: 100). В нем «не только война, но и экономика служит продолжением политики другими средствами» (там же), а «гарантии внутри господствующей коалиции изменчивы и нестабильны» (там же). Любой сильный толчок может вывести ее из равновесия, что чревато

<sup>78</sup> Двумя другими условиями являются верховенство права для элит и консолидированный политический контроль над вооруженными силами (там же: 76).

насилием<sup>79</sup>. Ведь такие общества складываются как сети с отношениями «патрон — клиент», и эти сети готовы применять насилие. Примером таких государств являются Афганистан, Гаити, Ирак, Сомали.

Что же касается более устойчивой формы естественного государства — базисной, то здесь мы встречаемся, в отличие от хрупкого государства, со способностью поддерживать в государстве стабильные организационные структуры. Кроме того, оно отличается «возрастающей способностью структурировать долговременные соглашения во внутренней организации государства» (там же: 102). В качестве исторического примера авторы обращаются к истории — рассматривают Римскую республику. В статье Вайнгаста (в русском переводе он — Уэйнгаст) говорится, в частности, о бывшем СССР и Ираке времен правления Саддама Хусейна (Уэйнгаст 2009: 141).

В то же время устойчивые внутриэлитные соглашения коренным образом отличаются от бессрочных. «Базисное естественное государство может обладать прочными институтами, но базисное естественное государство не существует бессрочно» (там же: 107). Для этих государств более всего типична та или иная форма авторитарного правления. И если мы здесь снова вспомним Олсона, то, согласно ему, краткосрочный временной горизонт «рано или поздно становится характерной чертой любого диктатора» (Олсон 2012: 197). Такой временной горизонт часто приводит к разорению и краху государственного устройства.

И наконец, зрелое естественное государство. Оно «характеризуется устойчивыми внутренними институциональными структурами и способностью поддерживать организации элит вне непосредственных рамок государства» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 107)<sup>80</sup>. Тем не менее в этом государстве нельзя создать верховенство закона, так как оно «не может появиться по указу, легко прекращается, а многие попытки создать его в базисном естественном государстве проваливаются» (там же: 109). Дело в том, что есть необходимость время от времени пересматривать схему разделения рент между влиятельными группами в господствующей коалиции по причине изменений их политического веса. В этом случае

<sup>79</sup> «Когда возникает необходимость в резких корректировках, в результате естественные государства скорее часто переживают частичное или полное разрушение господствующей коалиции, гражданскую войну, а не правовые изменения» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 113).

<sup>80</sup> К таковым Уэйнгаст относит Аргентину, Индию, Бразилию, Мексику. В качестве исторического примера говорится об Англии XVII в. (Уэйнгаст 2009: 141).

на место стабильных правил приходит принцип целесообразности. При этом НУВ отмечают «невозможность провести четкое и твердое различие между зрелым и базисным государством» (там же).

Подход НУВ отличает отказ от телеологии. «Не существует никакой телеологии, которая толкала бы государства к последовательному переходу от хрупких естественных государств к базисным и зрелым» (там же: 146). Концепцию НУВ часто сравнивают с марксизмом. Однако внешнее сходство имеется только из-за обращения к стадиям развития человеческого общества, но не в его видении. В отличие от Маркса, с его «железными законами истории», ведущих человечество от низших ступеней к высшим, НУВ специально подчеркивают, что никакой заданной траектории к прогрессу не существует.

Более того, возможно и попятное движение между стадиями естественного государства: от высших к низшим. «Общества могут регрессировать, а могут и прогрессировать» (там же: 110). В книге НУВ отмечается, что за последнее десятилетие (напомним, в оригинале она вышла в 2009 г.) Боливия, Венесуэла и Россия регрессируют. Признаками регресса являются национализация, установление контроля или объявление вне закона когда-то независимых организаций. Другим более давним историческим примером регресса является нацистская Германия в 1930-х гг.: по мнению авторов, она перешла от зрелого к базисному естественному государству, так как вынуждала ранее независимые организации вращаться в орбите государства (там же: 110–111, примеч.). Объясняется это тем, что «правители в государствах естественного права, представляющие доминирующую коалицию, сталкиваются с относительно меньшим количеством доверительных обязательств по сравнению с правителями при порядке открытого доступа, они могут отменять или уничтожать законы и институты, которые оказываются для них неудобными» (Уэйнгаст 2009: 152)<sup>81</sup>. Причем в своем попятном движении зрелые естественные государства могут и не остановиться на базисной стадии, а превратиться в хрупкие<sup>82</sup>.

<sup>81</sup> «Бывший (на тот момент бывший. — А. З.) президент Владимир Путин постоянно проделывал такое в России, превращая зрелое государство естественного права со многими независимыми от государства организациями в обычное государство естественного права, в котором для выживания организаций требуется их тесная связь с государством» (Уэйнгаст, 2009: 152).

<sup>82</sup> «Зрелые естественные государства могут быстро вернуться к социальным соглашениям, типичным для базисных или даже хрупких естественных государств» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 113).



В то же время более важным вопросом является все-таки не регресс, а прогресс: перемещение с низших стадий к высшим. В логике НУВ со всей очевидностью выделяются: а) перемещение от хрупкого к базисному, а затем и к зрелому естественному государству; б) переход от ПОД к ПСД. Обратим внимание на тот факт, что анализ этих продвижений опирается на отказ от традиционного рассмотрения государства как единого актора. Выше говорилось, что Норт сам рассматривал государство как такой актер в прежних своих работах. Однако теперь он вместе с соавторами видит серьезные упущения в данном подходе, поскольку тот «упускает влияние внутренней динамики отношений между элитами в господствующей коалиции на взаимодействие государства с остальным обществом» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 62)<sup>83</sup>.

Прорыв от хрупкого к базисному и далее к зрелому естественному государству есть следствие изменения соотношений сил внутри элит. Это хорошо прослеживается на истории Англии, где земля долгое время использовалась как важный актив для закрепления и стабилизации господствующей коалиции по мере продвижения от хрупкого к базисному и зрелому естественному государству (там же: 195–197). Отсчет начинается с Вильгельма Завоевателя и его хрупкого естественного государства. По мере роста или упадка могущества тех или иных фракций он и его наследники использовали перераспределение земли ради поддержания стабильности коалиции. За пару последующих двух столетий возникло базисное естественное государство. Его отличало появление поместий — стабильных, порождающих ренту социальных структур. Это не исключало, конечно, такие резкие взлеты и падения внутри господствующей коалиции, которые приводили к битвам за власть (например, война Алой и Белой розы). Очевидно, что граница между базисным и хрупким естественным государством тоже весьма подвижна.

Тем не менее процесс шел в направлении укрепления права собственности на землю, и к концу XVI в. эти типы государств становятся относительно надежными и стабильными, приобретая во многом безличный характер. С конца XVI в. и на протяжении бурного XVII в.

<sup>83</sup> Теория государства нашла дальнейшее развитие в работе Норты и Уоллиса «Определяя государство», где, они, в частности, пишут: «Государство складывается из многих акторов, которые удерживаются (организуются) вместе переплетающимися множествами интересов, и эти интересы создаются способностью их коллективных действий лучше организовать взаимодействия людей» (North, Wallis 2010: 4).

совершается переход от базисного к зрелому естественному государству. Начинает развиваться сфера независимых от государства организаций (трасты, купеческие фирмы, бизнес-корпорации, политические ассоциации, религиозные группы). Все большая защищенность прав на землю свидетельствовала о том, что традиционный метод регулирования стабильности господствующей коалиции — перераспределение земли, утрачивал свою актуальность. Благодаря развитию коммерции и торговли возникают новые источники экономической и политической власти. Новые члены элиты стали активно искать пути обеспечения надежности своих прав, сужая возможности королевской власти по регулированию коалиции. XVII в. можно рассматривать как активную борьбу внутри господствующей коалиции естественного государства за признание прав новых могущественных групп. Эта борьба завершилась становлением зрелого естественного государства, рубежным событием для появления которого традиционно считается Славная революция 1688 г.

Переход к ПСД осуществляется в два этапа (там же: 262). На первом этапе отношения внутри господствующей коалиции преобразуются из личных в безличные. Когда в естественном государстве появляются институты, организации и убеждения, позволяющие безличное отношение элит друг к другу, то тогда можно говорить, что общество находится на пороге перехода к ПСД. На втором этапе защищающие безличность и доступ элиты к организациям институты распространяют свое действие на все более широкие слои населения. Это и есть собственно процесс перехода.

Первый шаг делается тогда, когда в элите появляется осознание того, что движение к более безличным отношениям (а) выгодно и (б) не угрожает стабильности господствующей коалиции. В итоге «предоставление всем элитам одинаковых привилегий превращает эти привилегии в права» (там же: 264). Так складывается первое пороговое условие: верховенство права для элиты.

О втором условии — бессрочности организаций в общественной и частной сферах — было много сказано выше. Здесь отметим только то, что при всем разнообразии конкретных исторических изменений «государства начинают превращаться из иерархии организаций, взаимосвязанных индивидуальными и личными связями в иерархию бессрочно существующих, безличных и часто независимых организаций» (там же: 290).

Третьим пороговым условием становится консолидированный контроль над вооруженными силами. По мнению НУВ, оно «является

самым трудным для естественного государства предварительным условием» (там же: 292). В то же время, как замечают они сами, такой контроль может существовать и в естественных государствах (пример с СССР). Однако они считают это исключением, поскольку «в большинстве естественных государств доступ к средствам насилия рассеян среди элиты» (там же: 269). При таком положении дел сильно ограничивается сфера безличных отношений между элитами. И чисто номинального разграничения гражданских и военных руководителей для выполнения данного порогового условия недостаточно. НУВ приводят целый ряд возможностей последних серьезно влиять на политику, не обладая формальными атрибутами политической власти (там же: 294–295). Консолидация контроля предполагает разрыв связей между экономикой и политикой, с одной стороны, и вооруженными силами — с другой.

В то же время пороговые условия — необходимые, но еще недостаточные условия для перехода к ПСД. Стоя на пороге к нему, можно развернуться и пойти назад, к естественному государству. Действительный переход к ПСД, как пишут НУВ, «дело институционализации открытого доступа» (там же: 413). Для этого прежде всего элиты должны осознать, что «их привилегии будут лучше защищены от внутриэлитной борьбы, если привилегии определяются именно как всеобщие права, а не личные прерогативы» (там же: 324). Причем доступ не становится открытым, если ограничивается возможность формировать организации. Свобода их создания — ключевое условие ПСД, которому присущ открытый доступ как в политике, так и в экономике. «Обеспечение конкуренции в условиях открытого доступа — это фундаментальное требование для государства, в политике оно реализуется посредством создания организованных политических партий, а в экономике — посредством создания организованных бизнес-единиц» (там же: 415).

НУВ отличают создание пороговых условий ПСД и действительный переход к нему. Исторически для США, Великобритании, Франции он происходил в XIX в. И тут встает традиционный вопрос о том, почему этот переход свершился именно там. По времени достижение пороговых условий потребовало нескольких столетий, действительный же переход занял несколько десятилетий (там же: 401). НУВ считают, что ошибкой их предшественников при ответе на данный вопрос была концентрация внимания на пороговых условиях и игнорирование самого перехода (там же: 402). При объяснении самого перехода НУВ отвергают мнение Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона, согласно которому он стал результатом

давления неэлит<sup>84</sup>. НУВ настаивают на том, что превращение привилегий элит в права «было следствием именно внутриэлитарной политики» (там же: 409). Институционализация открытого доступа, включая расширение избирательного права, осуществлялась в интересах элиты<sup>85</sup>.

Впрочем, тех, кто думает, что НУВ дадут ответ на вопрос о том, почему ПСД сложился прежде всего на Западе, ждет разочарование. Да, выгоден был элитам. Но почему именно полем становления ПСД стали вполне определенные страны, а не иные, об этом они не пишут. Только констатируют, что «представители экономической истории так и не объяснили событий середины и конца XIX в.» (там же: 411).

Рассмотрим теперь некоторые важные качества самого ПСД. Вкратце они перечислены НУВ. Кроме описанного выше безличного обмена, для него характерны:

- а) широко распространенный набор убеждений о включении равенства всех граждан;
- б) отсутствие ограничений на занятие экономической, политической, религиозной и образовательной деятельностью;
- в) открытая для всех поддержка организационных форм в любом виде деятельности (например, обеспечение соблюдения контрактов);
- г) действие принципа верховенства права для всех (там же: 209).

В описании ПСД НУВ исходят из того, что они называют «двойным балансом»: открытый доступ в политике поддерживает открытый доступ в экономике, и наоборот. Однако поскольку экономическим организациям в такой системе не нужно участвовать в политике, чтобы быть эффективными, то создается иллюзия независимости политики и экономики. Поэтому-то, как замечают НУВ, экономическая теория, принимающая ПСД как данность, ограничивается собственно экономикой и не в состоянии объяснить стабильность данного порядка (там же: 204).

<sup>84</sup> Концепции Асемоглу и Робинсона рассматриваются во второй главе. В данном случае НУВ имеют в виду их точку зрения на процесс демократизации (расширения избирательного права), который, согласно ей, шел под давлением снизу, а элита уступала из соображений, что лучше потерять часть, чем все в результате революционного напора масс. Эта точка зрения представлена в книге «Экономические истоки диктатуры и демократии» (Acemoglu, Robinson 2006).

<sup>85</sup> Применительно к Великобритании НУВ пишут, что «политические элиты и их новые политические партии имели все основания стремиться к распространению избирательного права на широкие массы — это давало им возможность получить электоральные преимущества» (Норт, Уоллис, Вайнгафт 2011: 409–410).

В целом описание ПСД Нортм и его соавторами отличается высокой степенью идеализации. Она проявляется в первую очередь в том, что они не только не видят никаких проблем с современным государством благосостояния, но, напротив, обосновывают благотворность его расширения как органически вытекающего из особенностей ПСД. В чем, например, выигрыш от щедрых программ социального страхования? НУВ отвечают на это следующим образом: «Благодаря снижению индивидуальных рисков эти программы понижают издержки индивидов от участия в рыночной деятельности, а это снижает вероятность антирыночной политической реакции во время кризисов» (там же: 222). Более того, это сокращение рисков поощряет рабочую силу осуществлять инвестиции в свой специфический капитал, что повышает производительность труда. Поэтому «рост государства во всех порядках открытого доступа отражает политику, необходимую для поддержания социального порядка путем распределения выигрышей долгосрочного экономического роста» (там же: 224).

Данные тезисы НУВ вызвали негативную реакцию у некоторых рецензентов. Например, Роберт Ваплес иронически пишет на этот счет: «Другими словами, национальное медицинское страхование, в котором кто-то другой платит за мое лечение от рака, спасает меня от “рыночных искажений” и заставляет меня желать больше инвестировать в человеческий капитал, несмотря на рост предельных налоговых ставок, а социальное обеспечение заставляет меня работать лучше и не выходить на пенсию слишком скоро?» (Wharles 2010). С критикой государства благосостояния мы еще встретимся в последующих главах.

Теперь же стоит перейти к заявленной выше проблеме адаптивной эффективности ПСД. Авторы связывают ее с тем, что «экономическим организациям в порядках открытого доступа не нужно иметь тесные связи с политическими акторами для осуществления своих прав или защиты от экспроприации» (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 260). И делают вывод: «намного большая степень, в которой экономические механизмы могут корректироваться независимо от политических механизмов, придает обществам открытого доступа гораздо большую гибкость перед лицом динамических изменений» (там же: 261).

Отсюда проистекает и устойчивость ПСД. Если, как можно было убедиться ранее, даже зрелые естественные государства, в том числе оказывающиеся на пороге ПСД, могут откатиться назад, то системы с открытым доступом куда более устойчивы. «До сих пор в истории не зафиксировано ни одного возвратного движения от ПСД к ПОД» (Норт и др. 2012: 19).

И наконец, стоит завершить рассказ о Норте (и отчасти о его соавторах) не на самой оптимистичной ноте. Речь идет о проблеме «приживаемости» институтов ПСД в ПОД, решению которой или хотя бы ослаблению ее остроты, в частности, и посвящена сформулированная Нортм с соавторами программа дальнейших исследований (там же). По всей видимости, раскрытую авторами природу конфликта институтов естественного государства с институтами открытого порядка следует признать их наиболее значительным вкладом в теорию развития. О нем они пишут с 2005 г. (North, Wallis, Weingast 2005) и не оставляют с тех пор эту тему (North et al. 2007; Уэйнгаст 2009; Weingast 2009; 2010).

В чем же суть данного конфликта? Когда «прогрессоры» из МВФ, Всемирного банка и других международных организаций признали значимость «хороших институтов» для успешного развития, то стали настаивать на внедрении их правительствами развивающихся стран, которым они оказывали содействие. В итоге же, как правило, успешного внедрения этих институтов (а под «хорошими институтами» имелись в виду, конечно, институты стран с ПСД) не происходило. Объяснения данному факту находили разные: от наивного тезиса о непонимании собственной выгоды до более реалистичного утверждения о невыгодности этих институтов влиятельным группам интересов, которые получают ренту благодаря поддержанию «плохих институтов» (институтов ПОД).

Норт и его соавторы принимают последнее утверждение, но считают его по меньшей мере недостаточным. Все дело в том, что эти институты являются плохими только применительно к ПСД, где они встречаются как рудименты прошлых эпох и действительно играют исключительно негативную роль (например, коррупция). В мире же ПОД они очень важны и выполняют полезные функции. Реформы же, причисываемые ПОД под ПСД, их уничтожают. Процитируем высказывание Вайнгаста (Уэйнгаста) о реформах:

Существующие рыночные привилегии — это часть большей системы привилегий и ограничений доступа, которая обеспечивает элитам мотив воздержания от применения насилия. Рыночная реформа, которая убирает эти ограничения, уничтожает и эти ренты; реформы, которые продвигают открытый вход на рынки, разбедают эти ренты. Оба типа рыночных реформ уничтожают стимулы, которые поддерживают кооперацию среди элит. Вероятность применения насилия особенно возрастает во время кризиса. Похожий результат получается при реформе выборов, которая повышает степень политической конкуренции, и при



реформе правовой системы, которая грозит отменой многих привилегий, на которых и держится общество.

Поскольку эти реформы грозят обществу насилием, члены этих обществ сопротивляются им. Парадокс заключается в том, что реформам будут противостоять не только те, кто получает прямую выгоду от рент, но и те, кого эксплуатируют в государстве естественного права благодаря наличию привилегий. На то есть причина — быть эксплуатируемым в мирном обществе гораздо лучше, чем жить в хаосе. По этой причине ни один из основных институтов открытого доступа — рынки, демократия или правовые системы — не может быть напрямую перенесен в развивающиеся страны, то есть в государства естественного права (Уэйнгаст 2009: 157–158).

Таким образом, мы возвращаемся к вопросам ограничения доступа, обусловленных им рент и их распределения среди обладающих потенциалом насилия фракций элиты как условия общественного мира. Выходит, что ПОД, при всех его нелицеприятных сторонах (так, распределение рент с точки зрения права обществ с открытым доступом есть не что иное, как коррупция), продуцирует общественное благо, не имеющее заменителей. А именно — мир, неприменение рассосредоточенного, неконтролируемого насилия. ПОД противостоит войне всех против всех. Поэтому он часто поддерживается не только бенефициариями, но и теми, кто несет на себе издержки такого порядка. Это напоминает о традиционном русском причитании: «Лишь бы не было войны». По всей видимости, в народной памяти отложилась не только война с внешним врагом, но и перипетии гражданской войны.

В качестве позитивной программы предлагаются реформы в рамках ПОД. Требуется понять, как можно добиться повышения уровня жизни при его сохранении. В частности, очень важно разделить ренты на те, без которых нельзя обойтись во имя сохранения мира, и на те, чьи источники можно безболезненно устранить. Попытка же «сосредоточиться на переходе от ограниченного к открытому доступу, скорее всего, будет неуспешной» (Норт и др. 2012: 40–41).

## Глава 2

### АСЕМОГЛУ И РОБИНСОН: ТОЛЬКО ИНСТИТУТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ!

#### 2.1. ВВЕДЕНИЕ

Дарон Асемоглу (р. 1967) — один из самых известных в мире американских экономистов, который входит в десятку наиболее цитируемых в мире. В 2005 г. награжден медалью имени Джона Бейтса Кларка, которая ежегодно официально вручается лучшему молодому экономисту США (до 40 лет), а неофициально рассматривается как молодежная Нобелевская премия по экономике.

Родился и вырос Асемоглу в Турции, в Стамбуле, в семье армянского происхождения. Высшее экономическое образование получил в Великобритании, потом преподавал в Лондонской школе экономики. В настоящее время — профессор Массачусетского технологического института. Признан крупнейшим специалистом в области современной политической экономии и экономики развития.

После многочисленных публикаций в ведущих академических журналах по вопросам, связанным с ролью институтов в экономическом развитии, Асемоглу вместе со своим постоянным соавтором Джеймсом Робинсоном<sup>1</sup> выпустил в 2012 г. книгу «Почему страны терпят неудачи: источники власти, процветания и бедности» (Acemoglu, Robinson 2012), которая по своему замыслу ничуть не уступает книге Норта, Уоллиса и Вайнгаста «Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества» (North et al. 2009; рус. пер.: Норт и др. 2011). В работе Асемоглу и Робинсона (далее — АиР) тоже, по сути, предпринимается попытка понять историю человечества. Отвечая на вынесенный в заглавие книги вопрос, они уходят в историю древних цивилизаций и даже неолита. Однако, конечно, их прежде всего волнует современное глобальное неравенство стран и регионов Земли.

<sup>1</sup> Джеймс Робинсон — выпускник Лондонской школы экономики. В настоящее время — профессор государственного управления в Гарвардском университете, до перехода в Гарвард был профессором факультета экономики и политических наук в Университете Беркли (Калифорния).

У АиР поражает масштаб охвата событий во времени и пространстве. Читатель постоянно перемещается из одной исторической эпохи в другую, с одного континента — на другой. Пожалуй, нет такого региона мира, о котором не написали бы авторы. С еще большим разнообразием приходится сталкиваться, когда они рассуждают об отдельных странах. Попадая на Африканский континент, узнаешь их точку зрения на то, почему Ботсвана является страной с институтами практически европейского качества, а Сьерра-Леоне или, например, Зимбабве страшно далеки от них. В ходе чтения книги получаешь ответ на вопрос, почему Англия породила промышленную революцию и почему СССР не смог долго поддерживать высокие темпы экономического роста. Видишь связь институтов древних империй и испанских колоний с современным положением дел в Латинской Америке, ее отставанием от северной части американского континента в лице США и Канады. Находишь объяснения прорывов всем известных своими успехами стран ЮВА, наряду с не очень оптимистической оценкой будущего Китая. Колониальное и даже доколониальное прошлое многих государств тесно переплетается с днем сегодняшним, а корни экономических успехов стран-лидеров нашего мира уходят в глубину веков.

Есть основание предположить, что АиР — выдающиеся авторы множества статей в области экономики развития — не просто решили свести вместе все свои предыдущие разработки и идеи, но одновременно пытались завоевать не меньшее внимание широкой общественности, чем Норт с его соавторами. В пользу этого говорит тот факт, что традиционная для их публикаций насыщенность математическим аппаратом полностью отсутствует в книге, которая в результате может быть прочитана и понята и не получившими высшего математического образования исследователями в области социальных наук. Этим она, например, отличается от похожего по замыслу труда Тимоти Бесли и Торстена Перссона «Опоры процветания» (Besley, Persson 2011)<sup>2</sup>.

В нашем исследовании более подробно раскрывается важнейшая (что видно из названия книги) сторона работы АиР, а именно: в чем природа отсталости стран? Иначе говоря, они в своем фундаментальном политико-экономическом и историческом труде отвечают, в частности, на вопрос: «Почему Россия не Америка?» Однако, в отличие от отставного полковника погранслужбы Андрея Паршева, издавшего в 1999 г.

<sup>2</sup> Данное различие не раз подчеркивает Уильям Маклеод в рецензии на обе эти книги (MacLeod 2013).

популярную в России книгу с таким названием (Паршев 1999), они дают ответ не дилетантский, а на уровне современных научных знаний (и даже расширяя их).

Концепция исторического развития АиР выдвигает на первый план в качестве объясняющего фактора состояние институтов. В этом их подход близок подходу представителей новой институциональной экономической истории (Норт и др.). Если, как известно, для Норта «институты имеют значение», то для АиР институты, в сущности, определяют всё. Как мы увидим, они не принимают иных объяснений развития и отсталости (с позиций географии, культуры и др.).

Решающую роль, согласно их видению мира, играют политические институты. Здесь прослеживается характерная тенденция последних лет, когда экономисты делают упор не на чисто экономические факторы, а на распределение власти в обществе, организацию насилия (см. главу 1). По всей видимости, это — движение в верном направлении, поскольку реальная история показывает, что сами по себе экономические отношения (торговля, кредитование, разные способы получения доходов) должны вписываться в определенную политическую среду и, более того, во многом их состояние зависит от нее. И если в современных развитых странах с их верховенством закона данный факт не очень заметен и даже, можно сказать, скрыт (отсюда обывательское суждение о том, что, мол, «деньги решают все»), то в странах, где собственность и власть слиты, а право существует прежде всего как инструмент реализации интересов власти имущих, он выходит наружу. Такие социальные порядки заставляют вспомнить переводное стихотворение Александра Пушкина про «золото и булат»<sup>3</sup>.

Впрочем, от слов о взглядах АиР на институты и их роль в историческом процессе есть смысл перейти непосредственно к их представлению. И начать это представление можно с ответа АиР на поставленный ниже вопрос.

## 2.2. КАКИЕ ТЕОРИИ НЕ РАБОТАЮТ?

АиР изначально, до развернутого изложения собственных взглядов, подвергают критическому анализу три теории, объясняющие природу развития и отсталости (глобального неравенства) стран и народов.

<sup>3</sup> ««Все мое», — сказало злато; / «Все мое», — сказал булат; / «Все куплю», — сказало злато; / «Все возьму», — сказал булат» (Пушкин 1959: 164).

Первой по порядку оказывается концепция, которую в России привычно называют географическим детерминизмом. Она явно не нова: возникла еще в XVIII в., и ее основоположником был знаменитый французский мыслитель Шарль-Луи Монтескье. Вместе с тем она демонстрирует удивительную живучесть и в начале XXI в.: американский экономист Джефффри Сакс, обретший мировую славу как автор жесткой макроэкономической политики (так называемой шоковой терапии), разработал ее модифицированный вариант (Sachs 2005; рус. пер.: Сакс 2011)<sup>4</sup>. Его-то и опровергают АиР, практически полностью отвергая географический фактор (Acemoglu, Robinson 2012: 48–56)<sup>5</sup>.

Сакс относит отсталость и неспособность к успешному развитию на счет двух факторов: во-первых, это тропические болезни и в особенности малярия; во-вторых, низкая продуктивность почв в тропических широтах. Отсюда страны, расположенные в тропических и близких к ним районах, обречены на отсталость по сравнению со странами с умеренным климатом. АиР приводят целый ряд фактов, указывающих на слабость и необоснованность аргументов Сакса.

Прежде всего, если обратиться к истории, то очень многое в прошлом выглядит ровно наоборот: земледелие зародилось на Ближнем Востоке (Месопотамия, междуречье Тигра и Евфрата), в Древнем Египте

<sup>4</sup> Ранее она была представлена наиболее полно в работе Сакса с соавторами (Galup, Sachs, Mellinger 1999). Среди других экономистов, придерживающихся похожих взглядов, выделим статьи Дугласа Хиббса и Ола Олссона (Hibbs, Olsson 2004), а также Рафаэля Ауэра (Auer 2013).

<sup>5</sup> Надо заметить, что ранее АиР не были столь категоричны в отношении роли географии; более того, они отводили ей порой важное (если не решающее) место в судьбах ряда регионов планеты (Acemoglu, Johnson, Robinson 2001; Acemoglu, Johnson, Robinson 2002). Они рассматривали выбор модели колонизации в зависимости от уровня смертности европейцев на новых территориях, которая, в свою очередь, зависела от их природных особенностей. В странах с более-менее благоприятным для европейцев климатом возникали поселенческие колонии с эффективными институтами (Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия), и, напротив, там, где свирепствовали тропические болезни, европейцы в массе своей не приживались и, соответственно, эксплуатировали новые земли через поощрение хищнического поведения местной знати по отношению к своим сородичам (см. далее пример Сьерра-Леоне). Тут, конечно, было не до эффективных институтов. Здесь мы видим, что география (природные особенности) определяет институты. В 2012 г. упомянутые авторы вступили в дискуссии с Дэвидом Албою (Albouy 2012), который поставил под сомнение корректность их данных, но почему-то ни словом не упомянул об изменении собственной точки зрения на сам предмет дискуссии (Acemoglu, Johnson, Robinson 2012).

(долина Нила). Эти районы далеки от территорий с умеренным климатом, где в те времена господствовали охота и собирательство. Однако наиболее убедительным опровержением «догм Сакса», на взгляд АиР, является история Америки. В эпоху ее открытия самыми развитыми ее регионами были земли, занимаемые цивилизациями ацтеков и майя, тогда как в зонах с умеренным климатом как в Северной, так и в Южной Америке обитали племена с очень примитивными хозяйственными и культурными навыками. В настоящее время Северная Америка значительно опережает Южную, но такая трансформация произошла без климатических изменений.

Развивая историческую линию рассуждений, авторы вспоминают о том, что цивилизации Древней Индии и Китая значительно опережали современную им Европу эпохи раннего Средневековья. И уж тем более — племена, заселявшие, скажем, Новую Зеландию. Картину, аналогичную американской, может представить и история Африки. В доколониальный период ее тропическая зона дает пример возникновения первых государств на континенте, тогда как сравнительно умеренный климат юга Африки не привел ее слабо развитые племена к созданию государственности. И опять же в наши дни юг Африки (ЮАР) куда более развит, чем ее тропическая часть.

Современный мир представляет собой картину глобального неравенства, очень непохожую на ту, которая может отвечать теории Сакса. Сингапур и Малайзия не относятся к странам с умеренным климатом. Ссылками на климат невозможно объяснить разрывы между Западной и Восточной Германией во второй половине XX в., Северной и Южной Кореей в конце XX — начале XXI в. И конечно, тот самый, поделенный на две части между США и Мексикой, город Ногалес, с которого АиР начинают свое повествование, представляет собой «город контрастов» отнюдь не из-за различий в климате.

В противовес ссылкам Сакса на бедность почв в тропиках, АиР выдвигают тезис, согласно которому расхождение в уровне развития (то, что обычно именуется Великим расхождением) началось с XIX в. и в основе его лежало вовсе не сельское хозяйство, а неравное распространение промышленных технологий и производств. Иначе говоря, почвы и их плодородие здесь вообще ни при чем. Если же говорить о сельском хозяйстве, то АиР показывают, что в одной и той же климатической зоне различия в его продуктивности есть результат стимулов (или их отсутствия), вытекающих из структуры собственности и институтов. И именно их различия порождают, например, контраст между двумя

территориями в Конго — Леле и Бушонг, расположенными напротив друг друга на берегах одноименной реки<sup>6</sup>.

В рамках все того же географического детерминизма находится и отличная от саксовской концепция биолога-эволюциониста Джареда Даймонда (Diamond 1997; рус. пер.: Даймонд 2012). Согласно его воззрению, расхождение в развитии континентов было заложено в самом начале современности, примерно 500 лет назад, и природа его заключается в неодинаковой исторической наделенности растениями и особями животных, что впоследствии повлияло на сельскохозяйственную продуктивность. По Даймонду, разная наделенность животными и растениями породила дифференциацию в интенсивности сельхозпроизводства, которая, в свою очередь, привела к разным путям технологических изменений и расхождению благосостояния континентов.

АиР опять же подчеркивают, что идеи Даймонда не могут быть распространены на современный мир (Acemoglu, Robinson 2012: 52–53). Так, например, он полагает, что испанцы были в состоянии доминировать над цивилизациями Южной Америки по причине их более длительного знакомства с земледелием и, как следствие, превосходящих технологий. В качестве возражения ему указывается на то обстоятельство, что в период покорения нового континента доход испанца в среднем был примерно вдвое больше аналогичного показателя жителя империи инков или ацтеков. Однако в дальнейшем, несмотря на распространение испанских технологий, разрыв не сокращался, а только увеличивался. В настоящее время среднедушевой ВВП испанца превосходит таковой в Перу в шесть раз. Короче говоря, концепция Даймонда совсем не объясняет, почему доступные всем технологии распространялись в одних частях света гораздо быстрее, чем в других; причем это верно как для эпохи пара, так и для эпохи электричества и информационных продуктов.

Для Даймонда большое значение имеет географическая ориентация континентов. Он полагает, что ориентация Евразии с востока на запад способствовала распространению растений, животных и инноваций с так называемого плодородного полумесяца (современного Ближнего Востока) в Западную Европу, тогда как ориентация американского континента с севера на юг препятствовала, например, распространению письменности из Мексики в Анды или в Северную Америку. АиР снова настаивают, что все это не объясняет нынешних разрывов в развитии. Причем они значительно больше, чем были в прошлом. Кроме того, даже

<sup>6</sup> Подробнее об истории Леле и Бушонга см.: Acemoglu, Robinson 2012: 133–136.

если обратиться к прошлому, то как географическая ориентация Евразии может объяснить факт начала промышленной революции в Англии? И наконец, каким образом география может обусловить то, что стагнировавшие в течение столетий экономики Японии и Китая вдруг начали очень быстро расти?

АиР приходят к заключению, что нужна лучшая теория. Может ли таковой быть та, что объясняет разрывы между странами различиями в культуре? Если географический детерминизм опирается на Монтеские, то в данном случае отцом «культурного детерминизма» оказывается Макс Вебер с его упором на позитивную роль протестантской этики. АиР обращают внимание, что нынешние «культуроцентристы» выделяют далеко не только религию, но и нормы, ценности, рабочую этику и т. п. Например, нельзя не заметить, что Дуглас Норт явно склонен к утверждениям о решающей роли культуры в детерминации развития и отсталости (см. главу 1). Этой точки зрения в той или иной мере придерживаются и другие исследователи<sup>7</sup>.

В книге «Почему страны терпят неудачи?» культурная гипотеза не отбрасывается с порога. Однако она недвусмысленно выносится на периферию. Согласно АиР, все дело в том, что относящиеся к культуре социальные нормы действительно имеют значение, но в качестве производных от институтов. Скажем, низкий уровень доверия в обществе не есть независимый фактор, а следствие того, что люди не верят правительствам, не придерживающимся собственных законов и не способным обеспечить непредвзятую судебную систему.

<sup>7</sup> Наибольшей известностью в России пользуются работы социологов Лоуренса Харрисона и Рональда Инглхарта (Харрисон 2008а, 2008б; Инглхарт, Вельцель 2011). На культуру делает ставку и австралийский экономист Дэвид Тросби (Тросби 2013). В первой главе уже приводилась ссылка на дискуссию о культуре, в которой, в частности, принимал участие и Робинсон — естественно, на стороне противников «культурного детерминизма». Заметим также, что пишущие о развитии и отсталости экономисты, как правило, не склонны игнорировать культуру и обычно либо выделяют ее в ряду нескольких факторов, влияющих на успехи и неудачи различных стран, либо рассматривают культуру как органическую составляющую понятия «институты» (см., например: Aoki 2011; Jellema, Roland 2011, а также обзор различных взглядов на проблему институциональных изменений — Brousseau, Garrouste, Raynaud 2011). Позиция АиР, которая, как мы увидим, отделяет институты от культуры, с нашей точки зрения, нуждается в уточнении, ибо они не дают общих определений ни институтов, ни культуры как таковых.



И снова авторы обращаются к примеру Северной и Южной Кореи. Контрасты между ними не могут определять не только географические, но также и культурные особенности. Их культурные отличия — не причина разрыва в благосостоянии, а скорее следствие (как и между двумя частями Ногалеса). Что касается Африки, то и тут природа отсталости кроется не в некоей особой «африканской культуре», а в отсутствии стимулов внедрять новые технологии. Высок был риск того, что всемогущий правитель экспроприирует весь выпуск или подвергнет его конфискационному налогообложению. Вряд ли в таких условиях могли появляться побудительные мотивы для долгосрочных инвестиций.

Возвращаясь к Веберу, АиР не видят связи между религией и уровнем развития. Совершенно очевидно, что успехи ряда стран Юго-Восточной Азии никак не связаны ни с одной из ветвей христианства. Далее авторы обращаются к излюбленному региону сторонников культурного детерминизма — Ближнему Востоку. На первый взгляд тот факт, что многие страны региона бедны, а богатые обязаны своим богатством исключительно мировым ценам на нефть и газ, без которых они находились бы в столь же плачевном состоянии, говорит в их пользу. На самом же деле, как считают АиР, ислам тут ни при чем. Решающее значение имеет тот факт, что все они — части бывшей Османской империи, унаследовавшие ее плохие институты. Европейское влияние тоже делало ставку на эти институты, основы которых во многом сохранились и после обретения независимости (Acemoglu, Robinson 2012: 61).

АиР касаются и вопроса о «национальной культуре» (Ibid.: 62–63). Возможно, именно она, а не религии, имеет первостепенное значение? Однако что изменилось в китайской культуре, в китайских ценностях, когда стагнация на протяжении нескольких веков сменилась быстрыми темпами экономического роста КНР, продолжающегося уже третье десятилетие? А несколько ранее этот же путь прошел Тайвань.

Кроме того, различия в культуре не могут объяснить и разделение на более развитые и менее развитые страны в рамках одного континента. Испанское наследие у всех стран Латинской Америки примерно одно и то же («иберийская культура»), но сегодня мы видим довольно значительные контрасты в продвижении к благосостоянию между Чили и Перу, Аргентиной и Боливией. Население Колумбии, Эквадора и Перу имеют примерно одинаковый уровень дохода, но процент коренного населения как носителей культуры аборигенов в последних двух заметно выше.

В общем и целом АиР приходят к выводу, что культура — следствие институтов<sup>8</sup>. При этом, прежде чем непосредственно приступить к их анализу, исследователи выделяют еще одну гипотезу, с помощью которой другие ученые пытаются понять природу отсталости. Это — гипотеза о незнании (Ibid.: 63–68).

Заключается она в допущении, что глобальное неравенство существует потому, что эксперты и/или правители не знают, как сделать бедные страны богатыми. Данный тезис разделяется преимущественно экономистами. Авторы связывают этот факт со знаменитым определением экономической науки английским экономистом Лайонеллом Роббинсом в 1935 г., когда он провозгласил ее как науку, изучающую человеческие отношения в виде отношений между целями и редкими ресурсами, имеющими альтернативное использование (Robbins 1935: 15). Это определение многократно воспроизводилось во множестве учебников и действительно стало для экономистов чем-то вроде того, чем первый закон Ньютона является для физиков. Из него, как отмечают АиР, очень легко заключить, что экономическая наука должна сосредоточиться на проблеме лучшего использования ресурсов ради решения общественных задач (Acemoglu, Robinson 2012: 64).

Для понимания основ рассматриваемой гипотезы АиР приводят краткое описание видения проблемы экономистами. Она связывается с хорошо известной концепцией «провалов рынка». Под ними понимаются все состояния, когда рынки не могли обеспечить эффективность (Парето-эффективность). Эти провалы «ответственны» за отсталость: бедные страны остаются таковыми, поскольку им присущи множественные провалы рынка, а экономисты и политики не знают, как от них

<sup>8</sup> Подводя некоторый итог разговорам о роли биологических и культурных факторов в деле влияния на долгосрочное развитие, нельзя не сказать о новейшей концепции Энрико Сполаоре и Ромаэйна Вацзиага, которая пытается соединить биологию и культуру. Согласно их воззрению, решающая роль принадлежит межпоколенческой трансмиссии как биологических, так и культурных характеристик наций. В соответствии с развернутой ими картиной выделяются биологическая трансмиссия (генетическая и/или эпигенетическая), культурная (поведенческая и/или символическая) и двойственная (биолого-культурная). Каждая из этих трансмиссий может играть роль как ускорителя, так и барьера для инноваций и роста. В этой же работе представлен очень подробный обзор различных взглядов на роль биологии и культуры в развитии человечества (Spolaore, Wacziarg 2013).



избавиться. Богатые же страны потому богаты, что выбирают оптимальные политики и благодаря им успешно устраняют эти провалы.

АиР утверждают, что, вопреки гипотезе о незнании, последнее в лучшем случае способно объяснить незначительную часть проблемы неравенства. Многие показывают их пример с Ганой (Ibid.: 66–67). Правительство Кваме Нкрумы после обретения независимости (в конце 1950-х и в 1960-е гг.) сосредоточилось на развитии государственной промышленности, сопровождавшейся крайне неэффективным размещением предприятий. При этом оно получало советы от британского экономиста Тони Киллика и даже от нобелевского лауреата по экономике Артура Льюиса, которые видели, что решения Нкрумы не приведут ни к чему хорошему. Политика Нкрумы была такой, какой она была, поскольку он использовал ее для политической поддержки и сохранения своего недемократического режима.

Политический противник Нкрумы — премьер-министр Кофи Бусиа (1969–1972)<sup>9</sup> также следовал экспансионистской экономической политике, поддерживал контроль за ценами на продовольствие и переоцененную национальную валюту. Эти действия были хорошей политикой в целях сохранения власти, поскольку они передавали ресурсы влиятельным группам элиты, сосредоточенным в городах. Когда же Бусиа последовал совету МВФ и девальвировал валюту, хотя и сознавал связанные с этим политические риски, то вскоре был свергнут военными, свернувшими девальвацию.

Выводы, к которым приходят АиР, можно кратко сформулировать следующим образом. Во-первых, все то, что необходимо для «правильной» экономики и роста благосостояния широких слоев, не является загадкой. Благонамеренные правительства (будь они действительно таковыми) давно выучили бы правила «хорошего поведения» и воплощали их в жизнь. В крайнем случае воспользовались бы добрыми советами международных консультантов.

Во-вторых, следование рекомендациям, обеспечивающим набор условий для экономического развития, во многих странах не является политикой, отвечающей интересам правящей элиты. Ее устраивают совсем иные условия, которые, будучи тормозом для экономики (например, регулярные нарушения прав собственности), приносят ей немалые

<sup>9</sup> Нкрума потерял власть в результате переворота в 1966 г.

выгоды за счет других. Отказ от следования этим «иным условиям» чреват политическими рисками (пример Бусиа)<sup>10</sup>.

В итоге не знание является проблемой. Проблемой часто является именно знание того, как надо делать, и, главное, стремление политика следовать данному знанию на практике. Этот тезис АиР получил дальнейшее развитие как в рассматриваемой книге, так и в специальной статье, посвященной конфликту между экономически оправданными шагами и их удручающими политическими последствиями (Acemoglu, Robinson 2013).

### 2.3. БЛИЗКИЕ, НО ДАЛЕКИЕ

На протяжении всей книги АиР ссылаются на пример Ногалеса. Имя этого города стало у авторов буквально нарицательным. Благополучный американский север и далеко не благополучный мексиканский юг города символизируют два различных мира<sup>11</sup>. Что же сделало жизнь людей в разрезанном границей Ногалесе столь непохожей?

Для АиР пример этот ценен тем, что здесь не может быть речи о климатических, географических различиях и даже различиях в типах микробов, которые, как известно, могут свободно пересекать любые границы<sup>12</sup>. Может быть, все дело в том, что север представляет культуру

<sup>10</sup> Тут уместно вспомнить слова одного из основоположников классического либерализма, французского экономиста первой половины XIX в. Фредерика Бастиа: «Государство — это громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счет всех» (Сэй, Бастиа 2000: 125). Из современных авторов стоит также обратить внимание на книгу Буэно де Мескита с соавторами (о нем уже упоминалось в первой главе), где разработанная ими теория коалиций и селектората ограничивает вывод Бастиа ситуациями с узкими выигрывающими коалициями и подкрепляет точку зрения АиР: «Хорошая политика — это плохая политика, а плохая политика — это хорошая политика для лидеров малых коалиций» (Bueno de Mesquita et al. 2003: 325). Дело в том, что лидеры, опирающиеся на узкую коалицию, более всего укрепляют свои позиции во власти за счет раздачи ее членам частных благ (коррупции). Для них было бы стратегической ошибкой заботиться о благосостоянии всех граждан, если они хотят оставаться у власти как можно дольше (Ibid.).

<sup>11</sup> Жителям Европы, наверно, сразу приходит в голову исторический пример Западного и Восточного Берлина.

<sup>12</sup> Очевидно, что упоминание о свободно перемещающихся через границу микробах — прямой иронический намек на упомянутую выше работу биолога Даймонда.

выходцев из Европы, а юг — культуру, являющуюся наследием ацтеков? Но, к удовлетворению АиР, культурный аргумент здесь явно не работает, ибо город вошел в состав США только в 1853 г. Этнически и культурно его население гораздо ближе к населению всей остальной Мексики.

Согласно АиР, объяснение всех различий в уровне жизни, образования и проч. заключается только в одном: Ногалес (тот, что в Аризоне) находится на территории США. В результате его жители имеют доступ к американским экономическим и политическим институтам: «Они живут в другом мире, формируемом другими институтами» (Acemoglu, Robinson 2012: 9)<sup>13</sup>.

Откуда же пошло столь принципиальное различие институтов? Тут АиР вынуждены обратиться к истории колонизации американского континента. Подобно Нортю с соавторами (North, Summerhill, Weingast 2000), они обращаются к испанскому завоеванию американского континента, однако смотрят на него под иным углом зрения. Они, как правило, не связывают особенности колониальных институтов с институциональной средой метрополии, а смотрят только на особенности институтов, утвердившихся «на месте», в процессе самой колонизации. Если же говорить об их корнях, то скорее можно утверждать о заимствовании и приспособлении к своим нуждам ряда местных институтов, чем об импорте институтов из Испании. Хотя и нет правила без исключения.

Одним из таких исключений являлась энкомьенда (исп. *encomienda*, букв. — попечение, защита, покровительство). Она появилась в Испании в XV столетии в процессе реконквисты. В Новом мире ее формы были более грубыми: местное население закреплялось за хозяином из числа высостатусных испанских колонистов (энкомьендеро, исп. *encomendero*), на которого оно было обязано работать, а также платить дань. В обмен

<sup>13</sup> Сакс в ответе на критику АиР, не отрицая значения институтов, отстаивает собственный взгляд на развитие и отсталость, который можно кратко сформулировать как «география имеет значение». В частности, он выдвигает аргументы в пользу того, что в случае с Ногалесом как раз его расположение на границе с США играет решающую роль. Иначе этот город в пустыне вообще не существовал бы. И, кроме всего прочего, ситуация вокруг Ногалеса «не может ничего сказать о том, почему Мексика в целом беднее, чем США» (Sachs 2012: 148). И далее он настаивает: «География имеет значение, поскольку она влияет на прибыльность различных видов экономической деятельности, включая сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых и промышленность; здоровье населения; желательность проживания и инвестирования в данном конкретном месте» (Ibid.).

энкомьендеро имел только одну обязанность: обратить туземцев в христианство.

В то же время в XVI в. испанцы заимствовали у инков такую форму эксплуатации, как мита (исп. *mita*, на языке кечуа — обязательная очередность; форма принудительного труда в сельских общинах Империи Инков, а позже в испанских колониях в Америке, при которой выделение людей на общественные работы производилось с помощью жеребьевки; в переводе с языка инков это означало что-то вроде «в свою очередь»). Инки использовали принудительный труд на плантациях, за счет которого поставлялось продовольствие храмам, аристократии, армии. За это элита давала работникам гарантию кормить их и обеспечивать защиту. Испанцы применяли данную систему преимущественно на территории современных Перу, Боливии и Эквадора. Причем особо известно ее использование на серебряных рудниках, куда сгоняли многие тысячи работников. Интересно, что мита просуществовала весь колониальный период и была отменена только в 1825 г.

Энкомьенда существовала наряду с митой, но трансформировалась в подушную подать. В качестве методов эксплуатации испанцы применяли еще репартимьенто (исп. *repartimiento*, букв. — распределение; принудительная продажа зависимому населению товаров по завышенным ценам) и трэжин (исп. *trajin*, букв. — груз), когда местное население использовали в качестве переносчиков грузов вместо вьючных животных. Все эти насильственные методы создавали богатство испанской короны, но, как подчеркивают АиР, в то же время «превращали Латинскую Америку в континент с наибольшим в мире неравенством и в значительной мере подрывали ее экономический потенциал» (Acemoglu, Robinson 2012: 19)<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Примечательно, что АиР находят связанный с мита известный экономистам эффект колеи даже в таком факте, как различие в благополучии двух находящихся в одинаковых природно-климатических условиях современных перуанских городов. Дело в том, что лишь на территории одного из них была укоренена мита (Acemoglu, Robinson 2012: 17–18). В плане дальнейшего углубления в лагиноамериканский опыт стоит обратить внимание на их работу по Колумбии (в соавторстве с Камило Гарсия-Химено), где рабский труд применялся в основном в золотодобыче и был отменен еще в 1851 г. (Acemoglu, Garcia-Jimeno, Robinson 2012). Тем не менее на основе статистического анализа авторы приходят к выводу о том, что и ныне в районах наибольшего распространения рабского труда наблюдается большая бедность, более низкий уровень обеспеченности общественными благами и большее неравенство в распределении земли. При этом они открыто заявляют, что понимание ими каналов такого воздействия

Совсем по-другому выглядела колонизация Северной Америки. Поначалу английские колонисты двинулись туда в XVII в. с теми же намерениями, что и веком ранее испанцы. И собирались действовать по отработанной ими методике: захват местных вождей в заложники, вымогательство драгоценных металлов, принуждение аборигенов к труду на пришельцев. Однако условия оказались совсем иными: драгоценные металлы отсутствовали, местное население, представленное племенами охотников, было очень немногочисленно и, ко всему прочему, не организовано в виде централизованных империй, наподобие ацтеков или инков. Последнее не позволяло «перехватить» аппарат насилия и обратить его на собственное обогащение.

АиР описывают нелегкое бытие колонии Джеймстаун (на территории современного штата Виргиния), где нацеленные на повторение испанских успехов поселенцы чуть не умерли от голода. После многочисленных перипетий был сделан правильный вывод о том, что «единственным выбором для экономически жизнеспособной колонии было создание институтов, которые дают колонистам стимулы инвестировать и тяжело трудиться» (Ibid.: 26). Именно это и явилось исходным расхождением, развившимся с течением времени в принципиальный и непреодолимый донныне институциональный разрыв.

Вторжение Наполеона в Испанию в 1808 г. и временное свержение королевской власти явилось сильным толчком, приведшим вскоре к независимости испанских колоний от метрополии. Однако региональные элиты в Латинской Америке не ставили задачу покончить со специальными привилегиями и обеспечить равенство всех перед лицом закона. Они правили и извлекали выгоды в несовместимой с ее реализацией институциональной среде. «Мотивацией, стоящей за мексиканской декларацией о независимости, была защита комплекса экономических институтов, развившихся в колониальный период <...> Эти институты, базировавшиеся на эксплуатации местного населения и создании монополий, блокировали экономические стимулы и инициативы огромных масс населения» (Ibid.: 32). Если независимость североамериканских

---

прошлого на настоящее остается неполным (Ibid.). Для российского читателя может представлять интерес предпринятое АиР (совместно с Тарек Хассаном) исследование долговременного влияния Холокоста на состояние российских регионов в настоящее время (Acemoglu, Hassan, Robinson 2011). В дальнейшем мы увидим, что для АиР распространение действия эффекта колеи на многие годы и даже целые столетия — довольно заурядное дело.

штатов явилась защитой свободы и равенства для многих (несмотря на непоследовательность в вопросе о сохранении рабства), то борьба за независимость их южных соседей обернулась защитой права элиты на колониальные привилегии без метрополии в условиях прежней не-свободы большинства.

В США началась индустриальная революция. Права собственности, в частности патентное право, стимулировали инновации. АиР приводят в пример Томаса Эдисона, которому до сих пор принадлежит мировой рекорд по количеству полученных патентов. В эпоху расцвета творчества Эдисона в Мексике много лет правил знаменитый диктатор-президент Порфирио Диас, который «нарушал права собственности, раздавал монополии и привилегии своим сторонникам во всех видах бизнеса, включая банковский» (Ibid.: 35). АиР отмечают, что в его поведении не было ничего нового: в принципе, так же вели себя испанские конкистадоры и их первый президент независимой Мексики Санта Ана.

Разумеется, и в Мексике институты не оставались чем-то застывшим, неизменным. Так, тот же Диас демонтировал колониальное институциональное наследие, препятствующее международной торговле. Мир развивался, и индустриальные страны нуждались в ресурсах, торговля которыми обогащала как самого диктатора, так и его сторонников. Однако в целом он не искоренял колониальные институты и не заменял их на те, что сложились в США. Изменения происходили в рамках пресловутой колеи и вели только к новой ступени развития институтов, подобных тем, которые сделали Латинскую Америку бедной и крайне социально поляризованной.

От прошлых эпох АиР перекидывают мост к современности и сравнивают уже карьеры не Эдисона и Диаса, а Билла Гейтса и Карла Слима (Acemoglu, Robinson 2012: 38–40). Последнему благодаря своим связям в политических кругах в ходе приватизации удалось заполучить под свой эксклюзивный контроль телекоммуникационный бизнес в Мексике. Проникновение его в США и попытка действовать обычными для Мексики способами сохранения монополии закончилась колоссальным штрафом. В иной институциональной среде его обычные методы делать деньги не работали, и он потерпел полное фиаско.

Из сопоставления историй двух Америк («близких, но далеких») АиР делают важные теоретические выводы (Ibid.: 42–44), положенные ими в основу всего дальнейшего исследования. Они касаются роли и взаимодействия экономических и политических институтов.

Во-первых, подчеркивается, что все дело в институтах<sup>15</sup>: США богаче Мексики или Перу исключительно из-за того, что их экономические и политические институты формируют условия для развития бизнеса и стимулы для индивидов, ограничивая произвол политиков.

Во-вторых, приоритет принадлежит политическим институтам: именно политические процессы определяют, при каких экономических институтах живут люди. Так, они говорят о способности граждан контролировать политиков и влиять на их поведение. А это, в свою очередь, определяет, будут ли политики агентами граждан (пусть и несовершеннолетними) или же станут злоупотреблять возложенной на них властью и накапливать личное состояние, следуя, во вред гражданам, своей собственной линии<sup>16</sup>.

В-третьих, только политические институты гарантируют стабильность и последовательность. Билл Гейтс, Стив Джобс и другие выдающиеся фигуры в информационном бизнесе с самого начала могли быть уверены, что проекты их мечты будут воплощены: они доверяли институтам и вытекающему из них верховенству закона, не беспокоились о безопасности прав собственности. Они исключали риск захвата власти диктатором, который изменит правила игры, экспроприирует богатство, заключит их в тюрьму или станет угрожать их жизням<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> В свою очередь, Сакс по поводу сведения АиР всего и вся лишь к институтам пишет, что «они действуют как доктора, пытающиеся лечить все болезни с помощью только одного диагноза» (Sachs 2012: 145).

<sup>16</sup> АиР нигде не допускают, что выбор плохих институтов может быть не только инициативой неподконтрольных политиков, но и заказом, переданным им избирателями. Они, можно сказать, исходят из презумпции невинности народного суверенитета («народ не может ошибаться»). Поэтому прогресс ассоциируется у них с расширением инклюзивности: включенности масс в общественную активность. Это представление об эффективности демократии в силу присутствия ей плюрализма, выстроенное по аналогии с теорией эффективности конкурентного рынка, характерно для чикагской экономической школы (об этом см.: Tollison 2004). Ей в данном вопросе противостоит виргинская школа общественного выбора, рассматривающая «провалы демократии» как результат электорального выбора (Каплан 2012; Rowley, Vachris 2004; Caplan 2004). Об этом же убедительно пишет и американский политолог Фарид Закария (Закария 2004).

<sup>17</sup> В связи с разительным контрастом между американскими и российскими институтами вспоминается ироническое стихотворение известного русского поэта, где он описывает возможные повороты судьбы Стивена Джобса, если бы тому довелось начать бизнес в современной России: «За айподы твои и айфоны / Наскребли б на тебя матерьял, / Ты топтал бы российские зоны, / Шил перчатки и тапки терял» (Быков 2011).

В итоге АиР делают следующее заключение о роли экономических и политических институтов: «В то время как экономические институты имеют решающее значение в определении того, будет ли страна богатой или бедной, политика и политические институты определяют, какие экономические институты страна будет иметь» (Ibid.: 43).

#### 2.4. ИНКЛЮЗИВНЫЕ И ЭКСТРАКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

В центре учения АиР о развитии и отсталости находится то, что авторы называют инклюзивными (*inclusive*) и экстрактными (*extractive*) институтами<sup>18</sup>. Соответственно, экономики стран, где преобладают первые, называются инклюзивными, а те, в которых доминируют вторые, — экстрактными. И хотя исторически экстрактные институты появились значительно раньше инклюзивных и до сих пор определяют жизнь большинства стран, все-таки логически целесообразно начать рассмотрение с инклюзивных институтов, а уже потом, по контрасту с ними, описать природу экстрактных институтов.

Согласно определению авторов, «инклюзивные экономические институты <...> это те, которые позволяют и поощряют участие больших масс людей в различных видах экономической деятельности, приносящих наилучшее использование их талантов и мастерства и дающих индивидам делать тот выбор, который они желают» (Acemoglu, Robinson 2012: 74). И далее они пишут: «Для того чтобы быть инклюзивными, экономические институты должны гарантировать безопасность частной собственности, непредвзятую систему права и предоставление общественных услуг, которые создают равное игровое поле, где люди могут обмениваться и заключать контракты; они также должны разрешать вход новых бизнесов и позволять людям выбирать их карьеры» (Ibid.: 74–75).

В центре того, что АиР называют инклюзивными институтами, находятся гарантии прав собственности, ибо только при наличии таковых есть

<sup>18</sup> В переводе на русский экстрактные институты можно назвать «извлекающими» или «вытягивающими», а инклюзивные — «включающими» или «втягивающими», но использование русских терминов, на наш взгляд, не слишком помогает углубиться в суть этих понятий. Термин «экстрактные институты» и их характеристика впервые появляются в статье Асемоглу и Робинсона, написанной в соавторстве с Саймоном Джонсоном (Acemoglu, Johnson, Robinson 2001). Что же касается термина «инклюзивные институты», то, как отмечают сами АиР, он был предложен им Бесли (Acemoglu, Robinson 2012: 468).



желание инвестировать и повышать производительность. Бизнесмен, который ожидает, что его продукция будет украдена, экспроприирована или полностью изъята через налоги, имеет мало стимулов работать, не говоря уже о каких-либо стимулах производить инвестиции и инновации. В то же время все приносимые инклюзивными институтами права должны распространяться на большинство людей в обществе.

Инклюзивные экономические институты названы «двигателями процветания»: они создают инклюзивные рынки, которые не только предоставляют людям право свободно выбирать деятельность, более всего отвечающую их талантам, но дают им возможность реализовать это право. Обладающие хорошими идеями в состоянии начать свой бизнес, а наемные работники включаются в те виды деятельности, где их производительность самая высокая. Причем на конкурентных рынках менее эффективные фирмы могут быть заменены более эффективными.

Инклюзивные институты также прокладывают путь таким двигателям эффективности, как технологии и образование. Устойчивый экономический рост почти всегда сопровождается технологическими улучшениями, которые делают факторы производства более производительными. Эти улучшения являются результатом развития науки и деятельности предпринимателей, способных приложить ее достижения к созданию прибыльного бизнеса. И опять-таки процесс инноваций становится возможным благодаря экономическим институтам, поощряющим частную собственность, соблюдение контрактов и создающим то самое «ровное поле для игры», которое держит открытым вход для новых видов деловой активности вместе с их новыми технологиями.

С технологиями всегда неразрывно связаны образование, квалификация, компетенции и ноу-хау работников, приобретаемые в учебных заведениях, дома, на работе. Образование и квалификация генерируют научные знания, на которых строится прогресс и благодаря которым технологии внедряются в различные виды бизнеса. И в этом случае тоже важны создающие «ровное поле для игры» экономические институты: они способствуют «производству талантов» и, кроме того, притягивают их со всего мира. Во многом это происходит благодаря тому, что образование в таких обществах доступно в том объеме, который каждый желает и способен получить.

В итоге АиР констатируют, что «способность экономических институтов использовать инклюзивные рынки, поощрять технологические инновации, инвестировать в людей и мобилизовывать таланты и мастерство большого числа индивидов оказывается решающей для экономического

роста» (Ibid.: 79). В то же время главная тема их книги, как отмечают они сами, — это объяснение того, почему многие экономические институты не способны достичь названных простых целей (Ibid.). И здесь самое время обратиться к противоположности инклюзивным институтам — институтам экстрактивным. Именно в случае их доминирования «эти простые цели» недостижимы.

Экстрактивные экономические институты, согласно авторам, являются таковыми, «потому что они созданы для изъятий доходов и богатства у одной части общества ради выгоды другой его части» (Ibid.: 76). В заключительной части книги о них говорится как об институтах, «созданных для извлечения ресурсов у многих немногими и неспособных защищать права собственности или создавать стимулы для экономической деятельности» (Ibid.: 430). Поскольку этими институтами авторы наделяют самые различные общества в прошлом и настоящем — от доколониальной Африки до современного Китая и от сталинского СССР до современной Мексики, — то более точное их определение было бы затруднительно. В принципе, можно сказать, что они есть отрицание инклюзивных институтов во всех их базовых качествах.

Экономические институты АиР рассматривают в синергетическом единстве с политическими. Причем последние, как уже отмечалось ранее, являются определяющими в этом единстве. Так, хорошие экономические институты США явились результатом политических институтов, которые формировались постепенно начиная с 1619 г. (Ibid.: 43)<sup>19</sup>.

Традиционно экономическая теория игнорировала политику, но понимание политики является определяющим в объяснении неравенства<sup>20</sup>. Авторы ссылаются на высказывание известного экономиста Абба Лернера о том, что экономика обрела титул королевы социальных наук в силу допущения, что все политические проблемы решены (Ibid.: 68). При этом допущении экономика как наука неспособна решить вопрос о причинах глобального неравенства.

Как же видится взаимодействие экономических и политических институтов? АиР неоднократно обращаются к этой проблеме ввиду ее принципиальной важности (Ibid.: 79–83, 400–402, 429–431). АиР исходят из того, что все экономические институты создаются людьми, а политика

<sup>19</sup> Начиная с упомянутой выше истории с колонией в Джеймстауне.

<sup>20</sup> Естественно, что в первую очередь здесь имеется в виду глобальное межстрановое неравенство, а не внутривидовое социально-экономическое, хотя в основе экстремальных форм последнего также лежат экстрактивные политические институты.



является инструментом в этом процессе. Данный инструмент используется вполне сознательно, а результатом является распределение власти в обществе. В то же время «политические институты определяют, кто обладает властью в обществе и для каких целей эта власть может быть использована» (Ibid.: 80).

Если власть сосредоточена у узкого круга лиц и неограниченна, то такую власть авторы именуют нередко абсолютистской<sup>21</sup>. Она строится на экстрактивных политических институтах. Эти институты «концентрируют власть в руках узкой элиты и накладывают мало ограничений на ее использование» (Ibid.: 81). И тогда экономические институты также выстраиваются этой элитой в своих интересах ради извлечения ресурсов у остальной части общества. Экстрактивные экономические институты естественным образом сочетаются с экстрактивными политическими институтами: ведь именно от присутствия последних зависит их выживание.

В то же время политические институты, которые обеспечивают широкое распределение власти в обществе и подчинены ограничениям, в противоположность абсолютистским именуются плюралистическими политическими институтами. Однако этого еще недостаточно, чтобы быть отнесенными к категории инклюзивных экономических институтов. Требуется вдобавок эффективная централизация власти, обеспечивающая закон и порядок<sup>22</sup>. Без веберовской «монополии на насилие» можно получить что-то вроде современной Сомали, на пример которой АиР очень любят ссылаться на протяжении всей книги.

В итоге авторы заключают: «Мы рассматриваем политические институты, которые достаточно централизованы и плюралистичны как инклюзивные политические институты. Если любое из этих условий отсутствует, то мы относим такие институты к экстрактивным политическим институтам» (Ibid.: 81). Инклюзивные политические институты, построенные на широком рассредоточении власти, искореняют экстрактивные

<sup>21</sup> Под это определение попадают не только абсолютные монархии, правившие миром большую часть истории человечества, но также и более поздние тоталитарные и авторитарные режимы.

<sup>22</sup> В рецензии на книгу АиР известный политолог Фрэнсис Фукуяма отмечает, что используемые АиР понятия (инклюзивный/экстрактивный, абсолютистский/плюралистический) охватывают столько много значений, что очень трудно определить их ясно. И кроме того, как полагает Фукуяма, поскольку реальные общества в мире представляют собой комбинации инклюзивных и экстрактивных институтов, то «любой рост (или отсутствие такового) может быть задним числом приписан либо инклюзивным, либо экстрактивным характеристикам» (Fukuyama 2012).

экономические институты, которые экспроприируют ресурсы многих, возводят входные барьеры и подавляют работу рынков таким образом, что выигрывают лишь немногие.

Инклюзивные же экономические институты основываются на инклюзивных политических институтах: такие политические институты затрудняют узурпацию власти, и контролирующие политическую власть не могут легко учредить экстрактивные экономические институты ради собственной выгоды. В свою очередь инклюзивные экономические институты, обеспечивающие в большей степени равное распределение ресурсов, способствуют сохранению инклюзивных политических институтов<sup>23</sup>.

Синергетический эффект как взаимное усиление в процессе взаимодействия наблюдается и в отношении экстрактивных политических и экономических институтов: политические институты здесь наделяют контролирующие власть политические элиты способностью выбирать такие экономические институты, которые ведут к их обогащению, а это экономическое богатство, в свою очередь, помогает консолидации их политической власти (например, за счет возможности содержать достаточные вооруженные силы и силы безопасности). Таким образом, экстрактивные институты также поддерживают друг друга и в результате обретают устойчивость.

Экстрактивные и инклюзивные институты могут сосуществовать, но это сосуществование непрочно. Экстрактивные экономические институты при инклюзивных политических институтах вряд ли в состоянии поддерживать себя длительный период. Аналогично инклюзивные экономические институты не поддерживают экстрактивные политические институты и не могут быть поддерживаемыми ими: либо они трансформируются в экстрактивные к выгоде власть имущих, либо создаваемый ими экономический динамизм дестабилизирует экстрактивные политические институты, открывая путь к появлению инклюзивных политических институтов (Ibid.: 82)<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Как мы помним, НУВ называли это явление «двойным балансом».

<sup>24</sup> Из всего вышесказанного легко заметить, что АиР просто иными терминами (инклюзивные и экстрактивные институты) обозначают то, что у НУВ определяется, соответственно, как социальные порядки открытого и ограниченного доступа (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011). При всем уважении к концепции АиР нельзя не признать, что у Норта с соавторами эта тема разработана более обстоятельно и глубоко, хотя, в принципе, в обоих случаях речь идет об одних и тех же социальных явлениях.

У экстрактивных политических институтов есть одна очень важная особенность, которую АиР вслед за немецким социологом Робертом Михельсом (Michels 1962)<sup>25</sup> назвали железным законом олигархии и неоднократно обращаются к ней в своей книге (Ibid.: 110–111, 358–362, 366, 387–388, 402–403, 457–458). Она заключается в том, что эти институты «могут воссоздавать себя под различными обликами» (Ibid.: 436)<sup>26</sup>. Впрочем, такая способность к воспроизводству, как видно из приведенной в сноске цитаты, касается не только политических институтов, что логично следует из выбранной авторами схемы взаимодействия этих институтов с экономическими.

В принципе, подчеркивая преемственность определенного типа институтов, авторы фактически описывают то, что в институциональной экономике называется эффектом колеи. АиР тоже пишут об определяемых им изменениях (Acemoglu, Robinson 2012: 36–38). Однако в случае с экстрактивными институтами идея эффекта колеи послужила им базой для создания концепции «порочного круга»<sup>27</sup>. Отмечая же «наследственные» (воспроизводимые во времени) качества инклюзивных институтов, АиР выдвинули и обосновали концепцию «благого круга» (*virtuous circle*). Из этих двух концепций и рассмотрения механизма перехода из одного круга в другой складывается их теория глобального неравенства и исторической общественной динамики.

## 2.5. ПОРОЧНЫЙ КРУГ И БЛАГОЙ КРУГ

Почему бы не «сделать всем хорошо», если инклюзивные институты не являются коммерческой или военной тайной, а, напротив, всячески рекламируются, пропагандируются и даже навязываются (обуслов-

<sup>25</sup> Впервые работа Михельса была опубликована в 1911 г., естественно, на немецком языке.

<sup>26</sup> «Когда существующие элиты сталкиваются с вызовом при экстрактивных политических институтах и новички прорываются на их место, то они также подвержены немногим ограничениям. Они, таким образом, имеют стимулы сохранять эти политические институты и создавать соответствующий им набор экономических институтов» (Acemoglu, Robinson 2012: 82).

<sup>27</sup> Ранее концепция «порочного круга» была представлена ими в соавторстве с Джонсоном в работе «Институты как фундаментальная причина экономического роста» (Acemoglu, Johnson, Robinson 2005) и нашла свое дальнейшее развитие в статье 2008 г. (Acemoglu, Robinson 2008).

ленная экономическая помощь: льготные займы и субсидии в обмен на реформы) такими мощными международными экономическими организациями, как Международный валютный фонд и Всемирный банк?

Начнем с того, что, как констатируют АиР, вызываемые инклюзивными институтами «экономический рост и технологические изменения сопровождаются тем, что великий экономист Йозеф Шумпетер назвал созидательным разрушением» (Ibid.: 84). Вот в этом-то знаменитом «созидательном разрушении» и кроется ответ на поставленный вопрос. Точнее, в том, что является разрушением в процессе замены старого новым. Передовые технологии делают устаревшими существующие знания и технику, новые фирмы приходят на смену старым, в результате структурных сдвигов появляются и исчезают целые сектора экономики. Экономическое развитие, таким образом, неизбежно сопровождается перераспределением доходов; экономический рост создает не только бенефициариев, но и неудачников. Это рождает страх инноваций и, соответственно, боязнь тех институтов, которые «ответственны» за их стимулирование и распространение.

АиР особо выделяют то обстоятельство, что экономический рост, если потенциальным неудачникам не удастся его заблокировать, приносит им не только экономические потери. Конфликт вокруг экономических институтов оборачивается конфликтом в отношении политических институтов, и в конечном счете решается вопрос о власти. Плюрализация политических институтов ослабляет власть в абсолютистском режиме и делает гораздо более трудным (если не невозможным) структурирование с их помощью экономических институтов, подчиненных интересам обогащения властной элиты. В результате «люди, которые страдают от экстрактивных экономических институтов, не могут надеяться на то, что абсолютистские правители добровольно изменят политические институты и редистрибутивную власть в обществе» (Ibid.: 86–87).

Итак, можно утверждать, что эти абсолютистские правители в подавляющем своем большинстве строят рассуждения примерно так: технологический прогресс, раз он требует радикального изменения столь комфортных для элиты экономических, а затем, вероятнее всего, и политических институтов, не стоит таких жертв. Более того, с ним нужно бороться, не только сохраняя и воздвигая на его пути институциональные барьеры, но и прямыми запретами и уничтожением его

материальных плодов (а в отдельных случаях — и их творцов)<sup>28</sup>. Примеров подобного рода история и даже современность знает немало.

АиР постарались подобрать яркие иллюстрации государственного ретроградства. В частности, они упоминают широко известный запрет на океанские путешествия, а также уничтожение передового по тогдашним мировым меркам судостроения в средневековом Китае (Ibid.: 231–234)<sup>29</sup>. Очень жестко контролируемое религиозными и светскими властями книгопечатание появилось в Османской империи только в XVIII в.: в результате лишь 2–3% жителей империи были грамотными в 1800 г., тогда как в Англии в том же году владели грамотой 60% мужчин и 40% женщин (Ibid.: 215). Как Австро-Венгрия, так и Россия первой половины XIX в. тормозили развитие фабричного производства и железнодорожного сообщения из-за страха монархий вызвать к жизни новые социальные движения и утратить политическое *status quo* (Ibid.: 225–227)<sup>30</sup>. Однако, пожалуй, нет более выдающегося по своей внешней абсурдности случая, чем демонтаж построенной еще в колониальный период в Сьерра-Леоне железной дороги<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> АиР ссылаются на историю, рассказанную Плинием-старшим, о том, как император Тибериус приказал убить изобретателя небьющегося стекла. В изложении Светония изобретателю нового трудосберегающего способа перемещения колонн повезло больше. Император Веспасиан просто от него отказался, сославшись на необходимость «кормить народ» (Acemoglu, Robinson 2012: 170–171). Последователи Веспасиана в XX в. рассуждали аналогичным образом: говорили о необходимости обеспечить занятость в стране.

<sup>29</sup> В 1661–1693 гг. было даже запрещено селиться ближе чем на 17 миль от морского побережья. История борьбы китайских императоров с выходом в море очень напоминает нынешнее противодействие китайской компартии свободному выходу в интернет и обмену информацией. Аналогичные действия по отношению к интернету намеревается предпринять и Россия.

<sup>30</sup> Оппонируя в этом вопросе АиР, Сакс утверждает, что они не отличают технологические инновации от распространения технологий. Ссылаясь на пример Китая, он замечает, что авторитарные политические институты могут иногда ускорять приток инноваций, чем препятствовать ему. И «подобно инклюзивным правительствам, авторитарные режимы часто осуществляют инновации в военной области, выгоды от которых переливаются в гражданский сектор» (Sachs 2012: 144).

<sup>31</sup> Речь идет о том, как ведущая во внутренние районы страны железная дорога была сознательно уничтожена из-за того, что она удешевляла доставку экспортных грузов (какао и проч.) на побережье. Дело в том, что эти районы в постколониальный период неоднократно выступали против диктатора Сиаку Стивенса. Последний же, чтобы наказать экономически нежелательные территории, затормозить их развитие и сделать изменения максимально необратимыми, продал не только подвижной состав, но и рельсы (Acemoglu, Robinson 2012: 335–337).

Эта африканская страна (бывший британский протекторат) служит для АиР и одним из самых наглядных примеров «порочного круга» (Ibid.: 335–344). Как же он складывался? Поиск ответа нужно начать еще с колониальных времен. Дело в том, что Британия традиционно предпочитала управление через местные элиты. В рассматриваемом случае основой его было закрепление и формирование института почти неограниченных властных полномочий верховных вождей (*paramount chiefs*), которые собирали налоги, осуществляли правосудие и поддерживали порядок.

АиР специально подчеркивают, что британцы не просто нашли опору в традиционном институте как таковом, но и активно трансформировали его под свои нужды. Именно они создали «вертикаль власти» из иерархии вождей с пожизненными полномочиями и систему «правлящих домов» (*ruling houses*) из активных местных коллаборационистов. До британцев страна не знала наследственной аристократии и вожди нуждались в большей общественной поддержке, их статус не был пожизненным (Ibid.: 342).

В этой связи заметим, что в протекторате они строили систему управления, отвечающую худшим традициям европейского абсолютизма. Причем она была не только не свойственна Великобритании того времени (конца XIX — начала XX в.), но и во многом ее историческому прошлому. Понятно, что речь здесь не идет о каком-то «злом умысле». Просто сказался рациональный подход: в конкретных обстоятельствах такая организация оказалась наиболее «экономичной» в качестве экстрактивного института, позволяющего с наибольшей выгодой освоить ресурсы территории.

Декolonизация не выдвинула принципиальной альтернативы введенному колонизаторами порядку. «Выборы» верховного вождя проходят в рамках процедур, очень далеких от демократических (из числа членов все тех же «правлящих домов»). Главное же препятствие экономическому развитию этот «вождизм» порождает благодаря сохранению за местными лидерами статуса «хранителей земель», предполагающего наличие права перераспределять землю между хозяйствами. Права собственности на нее не утвердились: она не может быть объектом купли-продажи, предметом залога. Очевидно, что в условиях постоянной угрозы передела прав на земельные угодья заинтересованность в инвестициях сходит на нет, и в результате сельское хозяйство пребывает в угнетенном состоянии<sup>32</sup>. Уже

<sup>32</sup> Эта система чем-то напоминает организацию землепользования в рамках крестьянской общины в России с той лишь разницей, что функции «верховного вождя» в ней принадлежали коллективному органу этого микросоциума.

одно это обстоятельство раскрывает причину бедности, недостаточного питания местного населения и прочих связанных с этим проблем (здоровья, продолжительности жизни и т. п.).

Другая характерная особенность британского правления заключалась в том, что оно само создавало и такие экстрактивные институты, которых просто не могло быть в родоплеменном обществе. Если вождизм, пусть и в иной форме, все-таки присутствовал до появления колонизаторов, то эти институты строились в буквальном смысле с нуля. Одним из них явилась специальная организация по регулированию рынка (*Sierra Leone Produce Marketing Board*), созданная изначально с благими намерениями. Она должна была страховать сельхозпроизводителей от обычных для отрасли резких колебаний цен, закупая продукцию по ценам выше рыночных в случае резкого падения последних и, наоборот, ниже рыночных в случае их скачков. Организация функционировала на основе самокупности и под этим предлогом превратилась в инструмент жесткого налогообложения.

Казалось бы, что с обретением независимости этот метод «колониальной эксплуатации» должен был уйти в прошлое. На самом же деле произошло то, что можно назвать «перехватом института» местной элитой, который к тому же есть все основания определить как «усугубляющий». Дело в том, что в середине 1960-х гг. производители кокосовых орехов в среднем получали 56% от мировой цены, какао — 48%, кофе — 49%. В 1985 г., когда президент-диктатор Стивенс покинул пост, передав дела преемнику — Джозефу Момо, эти цифры составляли 37, 19 и 27%, соответственно. Одно время при Стивенсе налог доходил и до 90% от мировой цены (Ibid.: 338). При этом клептократический режим использовал эти средства отнюдь не на дороги и больницы, а на обогащение главы государства и близких ему людей, а также на покупку политической поддержки.

Вторым «перехваченным» институтом явилась организация добычи алмазов через делегацию монополии на нее одному тресту (*Sierra Leone Selection Trust*), принадлежавшему южноафриканской компании «Де Бирс». Алмазные месторождения в стране относятся к аллювиальным: драгоценные камни залегают очень близко к поверхности, их добыча не требует дорогого оборудования, шахт и может осуществляться обычными старателями. Эта особенность потребовала создания в 1936 г. специальных вооруженных сил треста-монополиста, препятствовавших свободному промыслу. В 1955 г. британское правительство разрешило добычу лицензированным копателям, но при этом оставило

в полной власти треста два самых богатых месторождениями района страны<sup>33</sup>.

Естественно, что в 1970 г. трест национализировали. Правда, это можно назвать национализацией, если обращать внимание только на перемену названия (трест стал называться Национальной алмазодобывающей компанией) и считать максимум Людовика XIV «Государство — это я» безоговорочной истиной на все времена. На деле же это была приватизация компании небезызвестным нам Стивенсом, завладевшим долей в 51%. Прибыли монополиста, разумеется, неплохо служили новым «хозяевам жизни» в отныне суверенном государстве.

Интересна и дальнейшая его судьба. Когда в 1985 г. власть была передана Момо, то он столкнулся с полным коллапсом: неспособностью поставлять какие-либо общественные блага и платить государственным служащим<sup>34</sup>. Со времен правления Стивенса шли сокращения армии и замена ее силами личной безопасности диктатора, что обеспечивало лучший контроль за лояльностью вооруженных людей. Эта тенденция сохранилась и при преемнике. В итоге обессилевшая армия в 1991 г. не смогла отбить вторжение сравнительно немногочисленных повстанцев с территории соседней Либерии, объявивших себя Революционным объединенным фронтом (*Revolutionary United Front*). Страна погрузилась в бездну гражданской войны и анархии, и это продолжалось 10 лет. Государство «провалилось».

История Сьерра-Леоне является довольно типичной для стран черной Африки. В первую очередь поражает, конечно, преемственность институтов: в этом плане уместно говорить о «колониальном наследии» с негативной коннотацией. Британия создала систему опосредованного правления регионами через верховных вождей и их кланы, ставшая суверенной страна ее сохраняет и воспроизводит. Колониальные власти находят способ обременительного налогообложения фермеров через регулирование рынка, суверенная страна его повторяет и усугубляет. Они же создают

<sup>33</sup> По всей видимости, выражаясь языком экономистов, издержки охраны монопольных прав на всех алмазоносных территориях оказались слишком велики, и рациональным решением стала концентрация ограниченного ресурса в виде вооруженных сил на главных участках.

<sup>34</sup> Запретительное разложение госаппарата высвечивает такой анекдотичный факт: телетрансляции прекратились в 1987 г., поскольку министр информации продал передатчик. Два года спустя аналогичная судьба постигла радиотрансляции за пределы столицы. Правда, о том, было ли это прекращение тоже обусловлено прямым участием министра информации, ничего не говорится (Acemoglu, Robinson 2012: 373).



трест-монополист по добыче алмазов, подавляя мелкое индивидуальное предпринимательство в этой сфере, с опорой на вооруженное вмешательство; все та же фирма (хотя под другим названием и с другим владельцем) ведет себя точно таким же образом и после обретения независимости.

Единственный разрыв преемственности наблюдается в отношении к железной дороге, но тут уже сказались радикальные различия институтов метрополии и колонии. Британская администрация, безусловно, доверяла своим войскам и могла использовать железную дорогу для переброски их в мятежные районы; президент Стивенс, как видно из вышеизложенного, не располагал такой возможностью, и единственным способом наказания непокорных было лишение доступа к портам их предназначенной на экспорт продукции.

Продолжая разговор об экстрактивных колониальных институтах, нельзя пройти мимо вопроса об организации работорговли. Рабство как институт было известно в Африке и до европейцев, хотя и не получило широкого распространения. Однако АиР указывают на организованную европейцами экспортную работорговлю (ранее не существовавшую), во-первых, как на причину усиления абсолютизма местных государственных и полугосударственных образований, выстраивавшихся вокруг одной главной функции — захватывать и продавать рабов<sup>35</sup>. Во-вторых — как на источник разрушения зачатков правосудия: любое, даже незначительное преступление наказывалось обращением в рабство исключительно по причине экономической целесообразности. Глубокие следы института рабства находят даже в XX в.: в Сьерра-Леоне оно было окончательно отменено лишь в 1928 г., а в Либерии еще в 60-е гг. нашего столетия примерно четверть имеющейся рабочей силы в той или иной степени принуждалась к труду внеэкономическими методами (Ibid.: 258)<sup>36</sup>.

АиР анализируют влияние колониализма не только в Африке южнее Сахары. Они уделяют внимание результатам деятельности голландской

<sup>35</sup> «Многие африканские государства превратились в военные машины, нацеленные на захват и продажу рабов европейцам» (Acemoglu, Robinson 2012: 273).

<sup>36</sup> Парадокс состоит в том, что как Сьерра-Леоне, так и особенно Либерия были предназначены для свободных африканцев. В столице первой из стран с многоговорящим названием Фритаун англичане селили освобожденных рабов с перехваченных ими судов, отправлявших чернокожий контингент на плантации Южной и Северной Америки. Производное от слова «свобода» название второй страны связано с тем, что она была тем местом, где обретали свою «старую новую» родину афроамериканцы (освободившиеся рабы из Америки), пытавшиеся на земле предков воспроизвести политические институты США.

Ост-Индской компании на территории современной Индонезии и английской компании с таким же названием на территории Индии (Ibid.: 199–200, 245–250, 272–273). В целом эта деятельность оценивается отрицательно как источник того, что авторы называют «развитием вспять» (*reverse development*). Если затронуть историю с Индией, то здесь на первый план в качестве причины «развития вспять» выходит не только активность самой компании, сколько ее вынужденная переориентация с торговли индийским товаром в результате запрета метрополией экспорта традиционных индийских тканей. Естественно, что работавшая на всю Европу местная текстильная промышленность практически перестала существовать, города пришли в упадок. В результате компания была вынуждена перейти от организации торговых факторий к вооруженной экспансии и захвату «под себя» экстрактивных институтов налогообложения индийских правителей<sup>37</sup>.

Впрочем, АиР справедливо подчеркивают, что никто не знает траектории гипотетического самостоятельного и независимого развития (Ibid.: 271) — в том смысле, что пошло бы оно по пути образования инклюзивных институтов или нет. Ведь спрос на те же традиционные индийские ткани, давший толчок развитию, был не внутренний, а связь между кустарными производителями и их потребителями в Европе имела место лишь благодаря деловой активности все той же британской компании.

Очевидно, неверно было бы сводить все институциональные пороки бывших колоний к наследию пришельцев из Европы. Та же Либерия, которая формально всегда оставалась независимой, переживала коллизии не меньшие, чем ее северная соседка Сьерра-Леоне. В исследовании АиР много пишется об Эфиопии и Сомали (Ibid.: 234–243, 344, 358–361, 376). В первом случае речь идет о централизованном абсолютистском режиме с исключительно локальными корнями. АиР делают вывод о том, что «без сомнения, Эфиопия была идеальным образчиком абсолютизма» (Ibid.: 235). Власть императора ничем не ограничивалась, и он обладал таким же правом на произвольное перераспределение земель, как и верховные вожди из Сьерра-Леоне. Вплоть до революции 1974 г. в стране существовала система, называемая *gult*. Первые источники упоминают о ней еще в XIII в. В переводе на европейские понятия она очень близка феодальному лену. Держатель *gult* получал от императора землю и право налогообложения занятых на ней в обмен на оказание услуг (прежде

<sup>37</sup> «Фактически прибыльность европейских колониальных империй часто строилась на разрушении независимых политических образований и местных экономик» (Acemoglu, Robinson 2012: 271).

всего в виде военной службы). У крестьян изымалось от  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{3}{4}$  произведенной продукции. АиР считают эту систему более «экстрактной», чем европейский аналог (Ibid.: 178).

После революции 1974 г. Эфиопия переживала потрясения в результате диктатуры коммунистически настроенных военных, конфликтов с соседними странами и сепаратистами. Однако механизм преемственности институтов абсолютистской власти («железный закон олигархии») действовал и в этом случае. Только здесь Великобритания была уже абсолютно ни при чем. Так, режим военного диктатора Менгисту Хайле Мариама во многих отношениях повторял модель императорского правления, что проявлялось даже в чисто внешних признаках<sup>38</sup>.

Что касается Сомали, то страна исторически управлялась различными кланами. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать факт, что единство страны после обретения независимости в 1960 г. удалось как-то сохранять лишь в течение 30 лет. После этого начался ее распад, сопровождавшийся войной «всех против всех». Сомали является лучшим образчиком так называемого провалившегося государства<sup>39</sup>.

Отсутствие политической централизации усугубляло проблемы, стоявшие перед странами с экстрактными институтами. В этом случае не гарантируются не только базовые права собственности, но и сама жизнь. Естественно, что в таких условиях нет даже слабых стимулов к инвестициям. АиР замечают, что «политической централизации сопротивляются по той же причине, по какой абсолютистские режимы сопротивляются

<sup>38</sup> Примечательно описание празднования четырехлетней годовщины свержения императора Хайле Селассие. К тому времени Менгисту уже консолидировал власть в своих руках. Он занял императорский дворец, где во время официальных церемоний располагался на роскошном императорском троне; наблюдал военный парад, сидя на позолоченном кресле (Acemoglu, Robinson 2012: 359).

<sup>39</sup> Для англоязычного читателя, знакомого с политологическими и/или политико-экономическими научными текстами, словосочетание *failed state* («провалившееся государство») давно стало привычным. Достаточно указать на то, что неправительственная организация «Фонд за мир» (*Fund for Peace*) с 2005 г. составляет Индекс провалившихся государств. В него включаются не только собственно провалившиеся государства, но все государства, которые удается оценить по 12 крупным показателям, каждый из которых в среднем включает в себя 14 параметров. Он «показывает испытываемое государствами давление и их уязвимость к коллапсу» (*Fund for Peace* 2012). Индекс провалившихся государств–2013 возглавляют Сомали, Демократическая Республика Конго, Судан и Южный Судан. Сомали возглавляет индекс провалившихся государств пять лет подряд. На противоположный от такого типа государств полюс помещены Финляндия и Швеция (*Fund for Peace* 2013).

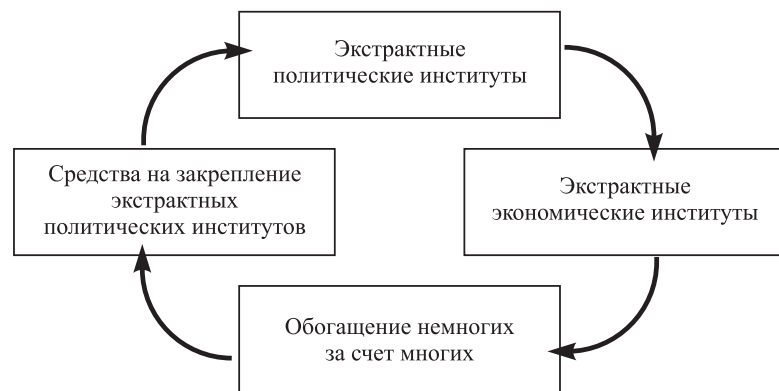
переменам: это часто обоснованный страх того, что изменение перераспределит политическую власть от тех, кто доминирует сегодня, к новым индивидам и группам» (Ibid.: 244).

В одной из недавних статей АиР обращают внимание на проблему, с которой сталкивается политика экономических реформ (Acemoglu, Robinson 2013). Если предпринимаются реальные шаги в направлении устранения внесенных в экономику искажений и, соответственно, повышения ее эффективности, то следует обращать внимание и на их возможные политические последствия. Эта общая идея относится не только к попавшим в «порочный круг» странам, но, в частности, и к ним тоже.

Авторы снова вспоминают о Сьерра-Леоне (Ibid.: 187–188). Ее недавняя история помогает понять связь между экономическими реформами и политическими неудачами, которые превращают просто отсталую абсолютистскую страну с экстрактными институтами в провалившееся государство. Если вернуться к президенту Момо, то надо сказать, что вскоре после получения власти из рук предшественника ему не осталось ничего иного, кроме как обратиться за поддержкой к МВФ. Понятно, что в результате он столкнулся с набором стандартных встречных требований, касающихся макроэкономической стабилизации. Однако повышение фискальной ответственности и сокращение бюджетных расходов лишило его значительной части средств для покупки политической лояльности бюрократии и региональных элит. Ему не оставалось другого варианта, кроме как заменить пряник кнутом, и он начал операцию «Чистое государство», нацеленную на захват вооруженными силами всех алмазоносных территорий. Таким образом он рассчитывал прибрать к рукам оставшиеся в стране источники ренты, но вместо этого в качестве непредвиденного последствия получил тотальную гражданскую войну<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> АиР присоединяются к представленной в первой главе позиции НУВ, согласно которой в естественных государствах извлекаемая и распределяемая рента создает стимулы к снижению уровня насилия и поддержания социального мира (Acemoglu, Robinson 2013: 188–189). То, что многим исследователям из развитых демократий видится в чуждом им мире как тотальная коррупция, на самом деле имеет не только отрицательные стороны: она выполняет роль «материальных скреп», не позволяющих общественной ткани распасться на враждующие куски. Однако в научной литературе адекватное описание стран с экстрактными институтами (говоря языком АиР) встречается крайне нечасто. В России таким редким исключением являются работы социолога Симона Кордонского. Для примера здесь весьма уместно будет процитировать следующее его высказывание: «Интерпретация сословной ренты как коррупции, к которой часто прибегают борцы за рынок и демократию, представляется совершенно

Изложенный выше материал позволяет теперь сформулировать логическую схему, описывающую «порочный круг». Она представлена на *рис. 3*.



*Рис. 3.* «Порочный круг» по Асемоглу–Робинсону

Ранее уже кратко говорилось о взаимосвязи и взаимообусловленности экстрактивных политических и экономических институтов. В характеризующихся явным доминированием экстрактивных институтов абсолютистских государствах власть имущие элиты почти не ограничены в своих действиях по созданию подконтрольных монополий и близких к ним хозяйственных организаций, приносящих средства, которыми они вольны распоряжаться по своему усмотрению. Эти средства распределяются ими между накоплением личного богатства и инвестированием в укрепление существующих экстрактивных политических институтов. Последнее принимает различные формы: щедрую оплату лояльных вооруженных формирований, подкуп судей, фальсификацию выборов и т. д. Ну а достижение политических целей в этой системе едва ли не автоматически расширяет и возможности извлечения ренты из экономической деятельности.

неадекватной, так как коррупция — феномен рыночный и характерный для классового общества, в котором общество отделено от государства, в то время как сословная рента интегрирует сословия в целостность сословного общественно-государственного устройства и функционально необходима» (Кордонский 2008: 89–90). Формально этот тезис относится к России, но, по всей видимости, его можно распространить на многие страны: как минимум те, что по классификации НУВ относятся к хрупким и базисным естественным государствам.

АиР видят и другую сторону «порочного круга»: экстрактивные политические институты резко повышают ставки в политической игре. Кто контролирует государство, тот контролирует все<sup>41</sup>. «Экстрактивные институты создают стимулы для внутренней борьбы ради контроля власти и ее выгод» (Ibid.: 344). Обусловленные этими институтами стимулы внутренней борьбы могут пребывать в латентном или не слишком активном состоянии годами, а то и десятилетиями. Однако именно они закладывают мощный потенциал политической нестабильности, который при сочетании ряда неблагоприятных обстоятельств буквально разрывает государство и страну, приводя к хаосу и гражданским войнам<sup>42</sup>.

Интересно, что даже такой исход не избавляет страну от экстрактивных институтов. К этому выводу приходят АиР, обращаясь, в частности, к примеру все той же Сьерра-Леоне, но уже после окончания гражданской войны. В 2007 г. на демократических выборах победила партия хорошо известного нам Стивенса. Ряд членов его кабинета заняли места в новом правительстве, а два его сына были назначены послами в США и Германию. АиР констатируют, что в силу исторически укоренившихся в стране в высшей мере экстрактивных институтов «общество не только страдает экономически, но также колеблется между полным беспорядком и неким подобием порядка» (Ibid.: 401–402).

Разумеется, такие крайне негативные последствия экстрактивных институтов — возможный, но далеко не единственный вариант. Не все страны с преобладанием экстрактивных институтов превращаются в провалившиеся государства. Таковых, например, нет в Латинской Америке. Однако в этом регионе даже наиболее благополучные из государств часто неспособны разорвать «порочный круг». Классическим образцом неудачных попыток выйти из него является Аргентина. Настолько, что АиР припоминают слова нобелевского лауреата по экономике Саймона

<sup>41</sup> Очевидно, что «железный закон олигархии» органично встроен в этот «порочный круг»: овладение противостоящими властям силами рычагами институционально не ограниченной государственной власти, под какими бы идеологическими лозунгами оно ни совершалось, всегда создает искушение оставить ее столь же, а то и в гораздо большей степени бесконтрольной ради собственных выгод.

<sup>42</sup> АиР, следуя своей концепции, которую можно назвать «институциональным детерминизмом», пишут: «Страны становятся провалившимися государствами не по причине их географии или их культуры, но по причине наследия экстрактивных институтов, которые сосредоточивают власть и богатство в руках тех, кто контролирует государство, открывая дорогу волнениям, распрям и гражданской войне» (Acemoglu, Robinson 2012: 376).

Кузнец (1901–1985) о том, что на свете есть четыре типа стран: развитые, недоразвитые, Япония<sup>43</sup> и Аргентина (Ibid.: 384).

Не вдаваясь подробно в историю страны (она, в отличие от истории Сьерра-Леоне, более или менее известна), заметим, что к Первой мировой войне ей удалось стать одной из богатейших в мире. До ее начала Аргентина прошла через почти 50-летний период непрерывного роста. Происходившие с ней на протяжении остальной части XX в. коллизии АиР, естественно, приписывают экстрактным институтам, которые приводят к тому, что выборы не рожают доминирование инклюзивных политических или экономических институтов. В случае Аргентины природа этого кроется в особенностях ее провинций, они не столь отличны от Перу или Боливии, как ее столица. В части из них имела место энкомьенда (см. выше).

АиР, подчеркивая общность Хуана Перона (1895–1974) и Уго Чавеса (1954–2013), полагают, что, во-первых, несправедливости, порождаемые на протяжении многих лет экстрактными институтами, вызывают стремление выбирать политиков с экстремальными программами в надежде на то, что таким образом можно будет выскочить из «порочного круга». Во-вторых, экстрактные политические институты, делающие политику столь привлекательной, выдвигают на первый план сильную личность, а не эффективную партийную систему с выбором между различными социально приемлемыми альтернативами. В итоге и Перон, и Чавес — это еще один облик «железного закона олигархии» (Ibid.: 387–388).

После рассмотрения самых различных стран (кроме Сьерра-Леоне, Мексики и Аргентины, в обзор включены Зимбабве, Колумбия, Северная Корея, Узбекистан и Египет) авторы отвечают на вопрос «Почему страны терпят неудачу?». При их несходстве в географии, культуре, истории и проч. у них есть одна общность: это все те же экстрактные институты. Естественно, что внутри данных институтов присутствуют очень значительные различия от страны к стране. В конце концов, Аргентина — не Северная Корея и даже не Узбекистан. Политические институты в Аргентине и Колумбии куда больше ограничивают поведение элит, чем в Сьерра-Леоне или Зимбабве. Это вытекает из исторического институционального наследия, которое во многом объясняет и разрыв в уровне жизни между ними. Однако это не отменяет того факта, что все перечисленные страны находятся в ловушке «порочного круга».

<sup>43</sup> В те времена, когда это было сказано, Япония рассматривалась как экономическое чудо, символизирующее грандиозный успех.

Есть ли выход из такого круга? Прочитируем АиР: «Сегодня решение проблемы политических и экономических неудач стран — это трансформация их экстрактных институтов в направлении инклюзивных. “Порочный круг” означает, что это нелегко. Но это — не невозможно, и “железный закон олигархии” — не неизбежность» (Ibid.: 402)<sup>44</sup>.

Столь жизнеутверждающее заявление вроде бы противоречит их же пессимистическому выводу о том, что «вы не можете сконструировать процветание» (Ibid.: 446). Однако, согласно отстаиваемому видению проблемы, таковое появляется как результат набора случайных исторических обстоятельств, складывающихся спонтанно в логическую цепочку шагов, ведущих к появлению и последующему закреплению и воспроизводству инклюзивных институтов («благому кругу»)<sup>45</sup>.

В схеме перехода к ним задействованы два фактора: критические стечения обстоятельств (*critical junctures*) и институциональные сдвиги, возникающие в результате реакции на них. Причем эти сдвиги в ответ на одно и то же критическое стечение обстоятельств (далее — КСО) могут быть расходящейся направленности для различных стран и регионов. АиР демонстрируют работу этой пары прежде всего на примере истории Англии, где она проявила себя наиболее ярко. Первым КСО явилась смертоносная эпидемия чумы в XIV в. («Черная смерть»), которая в результате резкого падения численности населения покончила с крепостным статусом<sup>46</sup>. Это же КСО, приведшее к исчезновению крепостного сословия (*serfs*) в Англии, вызвало противоположные последствия

<sup>44</sup> Заметим, что трудности выхода из «порочного круга» нередко связываются с высокими издержками переключения (*switching costs*). Элиас Халил пишет о том, что в качестве рациональной причины приверженности неэффективным традиционным институтам выступают высокие издержки переключения с них на эффективные институты, которые и порождают то, что получило название «институциональная ловушка» (*lock-in institutions*) (Khalil 2013). Применительно к России сохранение современного общественно-политического статус-кво как институциональной ловушки также связывается с высокими издержками переключения к иному состоянию. «Издержки перехода от одного порядка к другому представляются запредельно высокими» (Гельман 2013: 189).

<sup>45</sup> Заметим, что такая точка зрения близка видению Хайека, который писал, что «многие институты, составляющие фундамент человеческих свершений, возникли и функционируют без какого бы то ни было замыслившего их и управляющего ими разума» (Хайек 2000: 27).

<sup>46</sup> Возможно, что дополнительным толчком для Англии было последовавшее вскоре после эпидемии восстание под предводительством Уота Тайлера (1381 г.).



в Восточной Европе, выразившиеся в конечном итоге в так называемом втором закрепощении<sup>47</sup>.

Следующей «английской удачей» явилась неспособность английской короны монополизировать атлантическую торговлю в эпоху правления Елизаветы I. Она вынуждена была просить средства у парламента. В обмен парламент требовал уступок. Одной из таких и явился вынужденный отказ от указанной монополизации. Испанская же монархия прочно закрепила за собой эксклюзивное право на заморскую торговлю. И хотя кортесы формально могли контролировать налоги, королевский двор в них практически не нуждался. Золото и серебро из Нового Света позволяли им игнорировать требования слабых представительных органов. Это еще одно КСО (открытие и освоение Америки), которое имело противоположные последствия для разных стран.

Демонполизация атлантической торговли во многом создала тот независимый класс, который не мог смириться с растущим произволом королевской власти в первой половине XVII в. После серии известных потрясений Англия в результате Славной революции (1688 г.) пришла к конституционной монархии. Парламент добился серьезных полномочий и независимости от короны. Кроме того, что очень важно, создалась такая ситуация, когда ни одна группа интересов в самом парламенте не могла подавить другую. В силу их прямой связи с бизнесом это равновесие означало и поддержание конкурентной среды в экономике. Не случайно, что промышленная революция спустя несколько десятилетий развернулась именно в Англии.

В этом анализе следует подчеркнуть два момента. Во-первых, случайность событий. Во-вторых, отсутствие необратимости на пути к инклюзивным институтам. Скажем, поражение Англии от Непобедимой армады могло изменить ход мировой истории. А кроме того, то, что продвижение к инклюзивным институтам можно повернуть вспять (*reverse development*) и без всякой армады, АиР хорошо иллюстрируют в разделе «Почему Венеция стала музеем?» (Ibid.: 152–156)<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Несмотря на то что «второе закрепощение» проявило себя в полной мере в Восточной Европе значительно позже — в XVI–XVII вв. в ответ на выросший спрос на агропродукцию и сырье со стороны Западной Европы, — источник его АиР видят именно в реакции восточноевропейских феодалов на сокращение рабочей силы после эпидемии: они не начали платить больше, а расширили поместья и стали эксплуатировать труд жестче.

<sup>48</sup> Интересно снова отметить сходство позиций АиР и НУВ. Последние, как уже отмечалось, видят возможность попятного движения в рамках естественных государств (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 113).

В то же время с какой-то точки достигается устойчивость (необратимость) инклюзивных институтов<sup>49</sup>. Включается в работу то, что АиР обозначали как «благой круг». Они видят несколько механизмов его реализации (Ibid.: 332–334).

Во-первых, логика плюралистических политических институтов делает узурпацию власти диктатором, фракцией внутри правительства или даже добронамеренным президентом очень трудным делом. Она натолкнется на активное сопротивление этих институтов<sup>50</sup>. Плюрализм включает также верховенство закона, которое не допускает посягательства одной группы на права других и, главное, открывает дорогу к участию в политическом процессе, к большей инклюзивности. Инклюзивность в политике («один человек — один голос») есть следствие присущего верховенству закона равенству всех перед законом (*equal treatment*).

Во-вторых, надо помнить о поддержке инклюзивных политических институтов экономическими институтами такого же рода. Это создает еще один механизм «благого круга». В Англии эпохи промышленной революции отсутствие монополий делало узурпацию власти не столь выгодной, и одновременно по этой же причине неравенство хоть и было высоким, но не настолько, как в случае их наличия. Последнее обстоятельство способствовало поэтапному успеху демократизации в виде расширения избирательного права (достижению все большей инклюзивности) под давлением массовых движений на элиты<sup>51</sup>. В книге

<sup>49</sup> И опять же у Норта с соавторами мы встречаем похожее заявление. Касается оно устойчивости ПСД, под которой понимается его «безвозвратность» к ПОД (Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст 2012: 19).

<sup>50</sup> Характерен эпизод с американским президентом Франклином Рузвельтом, когда, при доминировании его демократической партии в обеих палатах Конгресса, он не мог протолкнуть решение, окончательно подавляющее права Верховного суда. Конгрессмены, ранее его поддерживавшие, рассуждали примерно так: «Сегодня он раздавит Суд, а завтра — нас?» Сработали сдержки и противовесы в системе разделения властей.

<sup>51</sup> В этом вопросе, в отличие от предыдущих, позиция АиР, с одной стороны, и Норта с соавторами — с другой, явно расходятся. Последние прямо заявляют об этом, отводя решающую роль в переходных процессах внутриэлитным противоречиям и перераспределению прав внутри элиты, а не давлению на нее масс (Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 409). Развернутая критика взглядов АиР на роль масс в истории дана Питером Беттке в рецензии на их книгу об экономическом происхождении диктатуры и демократии. Так, он указывает на то, что «историки экономики и политики

«Экономическое происхождение диктатуры и демократии» АиР пришли к следующему заключению: «Демократия возникает, когда неравенство достаточно высоко для того, чтобы лишенные права голоса его требовали, но не слишком высоко для того, чтобы элиты нашли выгодным применение репрессий» (Acemoglu, Robinson 2006: 402). Это состояние, таким образом, рассматривается как условие устойчивости пути становления демократии.

В-третьих, инклюзивные политические институты предполагают наличие свободных СМИ, а они снабжают информацией об угрозах инклюзивным институтам и мобилизуют на их защиту. АиР в качестве примера приводят медийную кампанию против так называемых баронов-разбойников в США, которые угрожали политическому плюрализму (Acemoglu, Robinson 2012: 334).

Таким образом, инклюзивный порядок и присущий ему «благый круг» можно представить схематически примерно так (рис. 4).

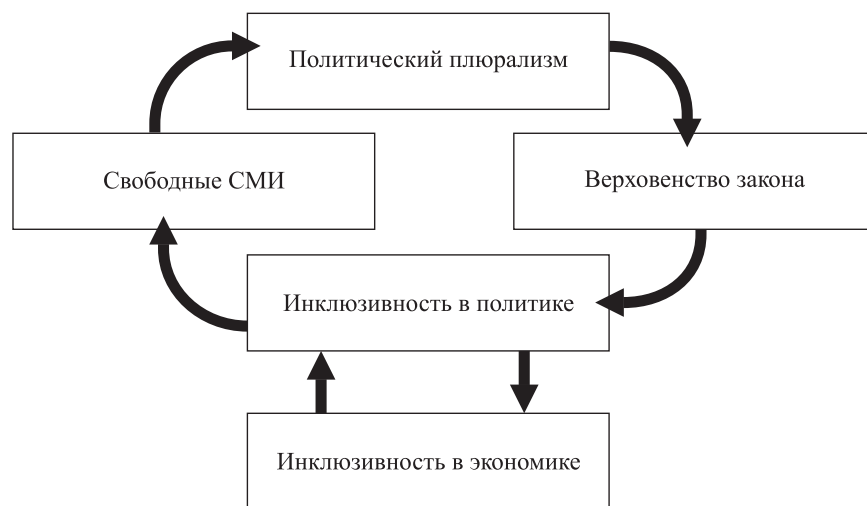


Рис. 4. «Благый круг» по Асемоглу–Робинсону

документально подтвердили, что революционные вызовы элитам не поступают от обездоленных. Они слишком бедны, слабы и заняты выживанием, что не дает им быть политически активными. Нет, революционные вызовы идут со стороны конкурирующей элиты» (Voettke 2007: 322).

Политический плюрализм (разделение властей, система сдержек и противовесов) поддерживает верховенство закона, которое в силу своей природы требует и инклюзивности в политике (равенства политических прав в форме всеобщего избирательного права). Последняя тесно взаимосвязана с инклюзивностью в экономике (отсутствием монополий, высоких входных барьеров). Обе они поддерживают свободные СМИ, которые, в свою очередь, оберегают плюрализм в политике, заранее сигнализируя об угрозах в его адрес. Очевидно, что эта схема не столь логична, как схема «порочного круга»<sup>52</sup>. Однако не будем на ней дольше задерживаться, а перейдем к поиску авторами ответа на очень актуальный сегодня вопрос: так ли обязательна полная замена экстрактивных институтов инклюзивными для устойчивого роста национальных экономик?

## 2.6. ТУПИКИ АВТОРИТАРНОЙ МОДЕЛИ РОСТА И ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ

АиР отвечают на этот вопрос неоднозначно. С одной стороны, «экстрактивные институты по самой своей логике должны создавать богатства с тем, чтобы было что извлекать. Монополизирующий политическую власть и контролирующий централизованное государство правительство может привести какую-то толику закона и порядка, системы правил и стимулировать экономическую активность» (Acemoglu, Robinson 2012: 124). С другой стороны, экономический рост в построенных на экстрактивных институтах социальных порядках со временем исчерпывает себя, не может быть устойчивым. И разного рода «экономические чудеса» в таких социумах (что советское, что нынешнее китайское) в конечном счете не переводят их в иное качество, если только радикально не изменяют политические институты. Однако последнее никак и ничем не гарантировано.

Начнем с СССР, которому АиР уделили достаточно много места в качестве одного из образчиков развития в системе экстрактивных институтов (Ibid.: 124–132). Они не проходят мимо того любопытного

<sup>52</sup> Не вызывает больших сомнений близость «порочного круга» к ПОД в трактовке НУВ, а «благого круга» — к ПСД. Все авторы этих концепций живут и работают в ПСД (в условиях «благого круга»). И тем не менее сделанные ими описания ПОД (= «порочного круга») выглядят гораздо более убедительно, чем их противоположностей.

обстоятельства, что СССР вплоть до 1980-х гг. представлялся ряду интеллектуалов на Западе работающей моделью<sup>53</sup>. Обольщение левого журналиста революцией и фантастическими планами большевиков понять нетрудно. Труднее понять лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Самуэльсона (1915–2009), который в своем знаменитом учебнике «Экономика» еще в издании 1980 г. пророчил, что СССР превзойдет США либо в 2002 г., либо (на худой конец) в 2012 г. (Ibid.: 125).

В основе заблуждений Самуэльсона и других следовавших моде на СССР интеллектуалов лежали сравнительно быстрые темпы роста его экономики в течение довольно длительного времени, которые он утратил только в 1970-е гг. Чем они обуславливались?

АиР рассуждают на этот счет следующим образом. Конечно, позволить людям принимать собственные решения посредством рынка — наилучший для общества способ эффективного использования ограниченных ресурсов. Однако в случае СССР, по их мнению, в секторе тяжелой промышленности производительность труда и капитала были настолько выше, чем в других секторах экономики, что даже перемещавшие в тяжелую промышленность труд и капитал централизованные директивы генерировали заметный экономический рост. АиР сравнивают ситуацию с той, что была на Карибских островах в XVIII в., когда выбор направлять ресурсы в производство сахара, на который в мире был большой спрос, позволял быстро расти и накапливать богатства, несмотря на использование такого экстрактивного института, как рабство. В СССР, считают они, роль сахара играла индустрия<sup>54</sup> (Ibid.: 126–127).

В 1920-е гг. бóльшая часть трудовых ресурсов находилась в сельской местности. В сельском хозяйстве той поры технологии были примитивные, и на их базе вряд ли имелись возможности значительного повышения производительности. Таким образом, страна располагала

<sup>53</sup> В качестве квинтэссенции этой позиции АиР приводят знаменитые слова журналиста Линкольна Стеффенса, который после возвращения из охваченной гражданской войной России и встречи с Лениным произнес: «Я видел будущее, и оно работает» (Acemoglu, Robinson 2012: 125).

<sup>54</sup> Это сравнение представляется некорректным. Хотя бы потому, что на сахар спрос был реальный, рыночный, тогда как продукция тяжелой промышленности СССР никуда не экспортировалась по рыночным ценам и потреблялась преимущественно внутри страны тем же государством в рамках утвержденных им программ, которые главным образом были нацелены на создание колоссального военно-промышленного комплекса. Скорее такое сравнение подходило бы для нынешней России, живущей за счет экспорта углеводородного сырья (аналог карибского сахара).

огромным незадействованным экономическим потенциалом, который мог быть использован за счет перемещения труда из сельского хозяйства в промышленность. «Сталинская индустриализация была грубым способом разблокирования такого потенциала» (Ibid.: 127). Быстрый экономический рост создавался за счет «ручного» перераспределения ресурсов.

В то же время такой экономический рост не был устойчивым, поскольку экстрактивные экономические институты не в состоянии генерировать постоянные технологические изменения по двум причинам: отсутствие экономических стимулов и сопротивление элиты. Поэтому, как только все неэффективно используемые ресурсы были перемещены, не осталось никакого резерва для обеспечения экономических выигршей за счет ручного управления. Отсутствие инноваций и слабые экономические стимулы препятствовали прогрессу. Единственной областью, где СССР удавалось поддерживать инновации за счет невероятных усилий, были военные и аэрокосмические технологии (Ibid.: 128).

Для решения проблемы создания стимулов нужно было отказаться от экстрактивных экономических институтов. Но это ставило под угрозу политическую власть, что и доказал Михаил Горбачев, начав демонтаж этих институтов (Ibid.: 128).

В итоге можно суммировать: СССР при полном доминировании экстрактивных институтов смог обеспечить быстрый экономический рост по причине создания сильного централизованного государства и использования его для перемещения ресурсов в самый эффективный сектор. Однако экстрактивные институты не создавали стимулы к инновациям, следовательно, рост не сопровождался «созидательным разрушением» и в конечном счете исчерпал себя.

Гораздо более актуальным и важным для экономического анализа истории представляется обращение АиР к Китаю (Ibid.: 420–427, 437–443). Начнем с того, что они сравнивают маоистский режим с его экстрактивными институтами с политическим режимом в Сьерра-Леоне, а компартию Китая с той самой организацией по управлению рынком, которая выкачивала деньги из сел. Компартия обладала монополией на продажу зерна, которая использовалась для налогообложения крестьян. Однако не будем задерживаться на маоистских экспериментах и перейдем сразу к анализу поворота в сторону рынка. Сплотившаяся вокруг Дэн Сяопина часть руководства осознала, что экономический рост станет возможным лишь при серьезных подвижках в направлении инклюзивных экономических институтов. «Возрождение Китая

последовало только вместе со значительным отходом от наиболее экстрактивных экономических институтов в пользу более инклюзивных» (Acemoglu, Robinson 2012: 426).

При рассмотрении шагов Китая навстречу рынку АиР прибегают к характерному для них видению истории. Во-первых, они делают упор на случайность событий, вызывающих социальные сдвиги. Ничто не гарантировало, что Дэн Сяопин и его сподвижники выйдут победителями в схватке с так называемой Бандой четырех. Во-вторых, они подчеркивают, что «история — это не судьба» (Ibid.). Что «порочный круг» может быть разорван и экстрактивные институты заменены инклюзивными. Тем не менее это не происходит автоматически.

И тут мы сталкиваемся с их видением КСО. «Во время критического стечения обстоятельств главное событие или сочетание факторов разрушает существующий баланс политических или экономических сил в стране» (Ibid.: 106). Для китайского поворота к рынку главным событием стали смерть Мао Дзэдуна и последующий приход к власти реформаторов. Такое событие очень важно, поскольку на пути постепенных улучшений часто стоят непреодолимые барьеры.

В то же время, несмотря на то что китайские экономические институты сегодня несравненно более инклюзивны, чем три десятилетия назад, китайский рост — это пример роста в рамках экстрактивных политических институтов. Один из соратников Дэн Сяопина назвал китайский капитализм «птицей в клетке». АиР приводят ряд свидетельств политического руководства компаниями и недопущения выхода бизнеса за негласно обозначенные пределы. Права собственности в Китае не полностью гарантированы, мобильность труда жестко регулируется, имеет место взаимовыгодная спайка между партийным руководством и бизнесом. «В силу партийного контроля над экономическими институтами размах созидательного разрушения сильно ограничен и останется таковым вплоть до радикальной реформы политических институтов» (Ibid.: 441)<sup>55</sup>.

Если говорить далее о Китае, то АиР придерживаются примерно следующих взглядов на его настоящее и будущее: частичная замена экстрактивных экономических институтов на инклюзивные обеспечила высокие темпы экономического роста, но сохранение экстрактивных

<sup>55</sup> «До тех пор, пока политические институты остаются экстрактивными, рост будет внутренне ограничен, так же как это было во многих других случаях» (Acemoglu, Robinson 2012: 441).

политических институтов и как результат отсутствие «созидательного разрушения» неизбежно приведут к его исчерпанию.

Для АиР характерно и непризнание достаточно распространенного среди их коллег убеждения, что Китай открыл альтернативный путь устойчивого экономического роста при авторитаризме, а не при инклюзивных экономических и политических институтах<sup>56</sup>. Их неправоту АиР видят в том, что достижения Китая обеспечены благодаря переходу от экстрактивных к значительно более инклюзивным экономическим институтам, а не благодаря экстрактивным политическим институтам, которые только затрудняли этот переход (Ibid.: 442–443).

Наряду с убеждением о несостоятельности поиска в китайской модели развития некоей новой панацеи, АиР подвергают критическому рассмотрению и теорию модернизации (Ibid.: 443–445). Во-первых, они выступают против присутствующего в ней утверждения, что все общества станут продвигаться в направлении более развитого и цивилизованного состояния и, главное, демократии. Во-вторых — против характерного для теории модернизации тезиса о том, что инклюзивные политические институты возникают как побочный продукт экономического роста. В-третьих — против имеющегося в некоторых концепциях модернизации представления о том, что рост доходов и/или более образованная рабочая сила естественным путем подводят общество к появлению инклюзивных институтов и демократии<sup>57</sup>.

В качестве аргументов против теории модернизации фигурирует ссылка на то, что за последние десятилетия во многих странах

<sup>56</sup> В России подобных воззрений придерживается Владимир Попов, который полагает, что в Восточной Азии «догоняющее развитие впервые оказалось и оказывается успешным, и потому, что оно основано на принципиально иной, отличной от западной экономической модели и способе выхода из мальтузианской ловушки» (Попов 2012: 59). (См. также: Попов 2011: 309–321.) Что же это за модель? «Это модель сохранения коллективных (азиатских) ценностей, относительно низкого неравенства и институциональной преемственности» (Попов 2012, 59). Не вдаваясь в дискуссию, заметим, что Северная Корея гораздо лучше укладывается в «поповский идеал», чем современный Китай.

<sup>57</sup> Развернутая критика теории модернизации с широким использованием уточненных фактических данных и эконометрического инструментария содержится в двух статьях четырех авторов. Их главный вывод состоит в том, что хотя доход и демократия имеют положительную корреляцию, но отсутствуют свидетельства в пользу того, что рост дохода является причиной демократии (Acemoglu, Johnson, Robinson, Yared 2008; 2009).



с преобладанием экстрактивных институтов наблюдались экономический рост, повышение уровня образования и доходов населения. Вот только все это почти не затронуло сам факт доминирования данных институтов, особенно политических. Так, увеличение экспорта природных ресурсов, вызванное повышением их стоимости, в Габоне, России, Саудовской Аравии и Венесуэле не привело к трансформации этих авторитарных режимов. Более того, экономический рост в Китае был продуцирован теми, кто контролирует экстрактивные политические институты, так как в силу сложившихся обстоятельств они стали рассматривать его не в качестве угрозы, а, напротив, средства поддержки режима (в отличие от воззрений до 1980 г.).

Самым сильным свидетельством в пользу теории модернизации считается то обстоятельство, что богатые страны — это страны с демократическим устройством, уважением гражданских прав и прав человека. Однако, согласно АиР, каузальность здесь противоположная. Не богатство создает инклюзивные институты, а, напротив, инклюзивные институты — богатство. Общества с инклюзивными институтами демонстрировали на протяжении многих десятилетий обусловленные этими институтами устойчивые темпы роста<sup>58</sup>. Именно в данном факте кроется объяснение их богатства.

История еще менее склонна служить подтверждением теории модернизации. Многие относительно процветающие страны превращались в репрессивные диктатуры: Германия и Япония были среди богатых и наиболее индустриально развитых стран в первой половине XX в. и располагали сравнительно хорошо образованными гражданами. Кроме того, можно снова вспомнить об Аргентине. В конце XIX — начале XX в. она по уровню богатства превосходила Великобританию.

<sup>58</sup> Стабильность развитых стран в длительном периоде неплохо описывает реальная доходность акций. С 1871 г. фондовый рынок США с учетом реинвестирования дивидендов приносит около 9% годовых в номинальном выражении и 6–7% в реальном, существенно обыгрывая инфляцию, и облигации. В XX в. (с 1900 по 1999 г.) доходность в реальном выражении американского рынка (6,9%) была превышена только на шведском и австралийском рынках. Приблизились к ней канадский, британский, голландский, ирландский, швейцарский и датский рынки. В то же время аргентинский рынок, один из старейших (первая биржа в Латинской Америке была создана в Буэнос-Айресе в 1895 г.), был закрыт в 1965 г. на 10 лет. 27-процентный годовой рост в долларовом выражении в 1975–1996 гг. не компенсировал полного обесценения акций с 1944 по 1965 г. (Гуляев 2013: 46–47).

АиР формулируют три вывода (Ibid.: 445–446). Несмотря на то что они придерживаются точки зрения о невозможности прогнозирования, некоторые из них звучат как прогноз<sup>59</sup>.

Во-первых, рост в условиях авторитарных экстрактивных политических институтов в Китае, вероятно, продержится еще некоторое время, но не перейдет в устойчивый рост, поддерживаемый подлинно инклюзивными экономическими институтами и созидательным разрушением.

Во-вторых, в противоположность заявкам теории модернизации нельзя рассчитывать на то, что авторитарный рост приведет к демократии и инклюзивным политическим институтам. Китай, Россия и другие авторитарные режимы достигнут его предела раньше, чем они трансформируют свои политические институты в более инклюзивные.

В-третьих, авторитарный рост не является ни желательным, ни жизнеспособным в длительном периоде, так что он не должен получать одобрения международного сообщества в качестве образчика для других стран, даже несмотря на то, что многие страны выбирают эту дорогу, поскольку она отвечает интересам доминирующих в них экономических и политических элит.

<sup>59</sup> Невозможность прогнозирования связана, в частности, со случайностью «критических стечений обстоятельств». Тем не менее разработанная АиР теория позволяет прибегнуть к наброскам будущего в самых общих чертах.

### Глава 3

## ДИПАК ЛАЛ: МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ

### 3.1. ВВЕДЕНИЕ

Индийский экономист Дипак Лал<sup>1</sup> является признанным в мире специалистом в области международных экономических отношений и экономики развития. Будучи одним из наиболее авторитетных исследователей социально-экономического развития Индии<sup>2</sup>, он приобрел широкую известность в мировом сообществе экономистов после издания в 1996 г. совместной с Хла Мюинтом книги «Политэкономические аспекты бедности, справедливости и роста: сравнительное исследование» (Lal, Muir 1996). Правда, к тому времени многие в научных кругах знали его как создателя концепции «хищнического государства» (*predatory state*), которая впервые была сформулирована им еще в 1984 г. (Lal 1984).

Лал, по своим взглядам, сторонник традиционного (классического) либерализма, негативно относящийся к современному экономическому мейнстриму, о чем можно с уверенностью судить не только по его сравнительно недавней, переведенной на русский язык работе «Возвращение невидимой руки: Актуальность классического либерализма в XXI веке» (Lal 2006; Лал 2009), но и по его ранее опубликованным трудам, в частности, статье «Рынок, мандарины и математики» (Lal 1987; переизд.: Lal 1994)<sup>3</sup>. Будучи непримиримым противником дирижизма во всех его

<sup>1</sup> Индийским экономистом Лал является по происхождению, но не по гражданству. Он — гражданин Великобритании и профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

<sup>2</sup> Центральное место в его исследованиях Индии занимает двухтомная работа «Индийское равновесие» (Lal 1988, 1989).

<sup>3</sup> В этой статье Лал решительно отвергает до сих пор преобладающий в экономическом мейнстриме взгляд на государство как некое благонамеренное существо, целью деятельности которого является общее благополучие. В частности, он пишет, что «весь роскошный остов элегантно, усложненной и утонченной теории, которая берет свое начало от Рамсея, Самуэльсона, Мида, Литтла и Даймонда с Мирлизом и восходит к Аткинсону и Стиглицу, строится как таковой на предположении о благожелательном государстве, управляемом платоновскими стражниками, и все больше становится наивным и нереалистичным» (Lal 1994: 35).

проявлениях, он с редкой в наше время последовательностью отстаивает либеральные принципы, включая крайне непопулярные как в общественном мнении, так и среди многих экономистов положения «Вашингтонского консенсуса» (Lal 2012). Его приверженность классическому либерализму и, как следствие, свободным рынкам выражается и в том, что он весьма критически относится к современному Западу с присущим ему раздутым «государством благосостояния» и рассматривает его как отступника от собственных изначальных либеральных принципов.

В этой связи особый интерес представляют его воззрения на причины триумфа Запада, давшего миру современный тип экономического роста и порождающие этот рост институты, а также последующего его упадка, постепенно ведущего к утрате свойственной ему ранее роли безоговорочного лидера в деле экономического развития. Первостепенное внимание он уделяет влиянию роли культуры, представлений и мотиваций людей. Этому и посвящена его главная, с нашей точки зрения, книга — «Непреднамеренные последствия» (Lal 1998; Лал 2007).

Лал проводит целый экскурс по отличным от Запада цивилизациям и, если говорить в самом общем плане, выделяет два их типа: те, которые, по его мнению, обречены на застой, и, напротив, сумевшие выйти на траекторию устойчивого экономического роста и в настоящее время бросившиеся в погоню за Западом. Разумеется, главным образом, речь идет о Китае и Индии с их огромным экономическим потенциалом. Смогут ли эти две великие азиатские страны сменить Запад в роли глобального лидера? Ответ Лала на поставленный вопрос мы узнаем по мере рассмотрения его взглядов. При этом он не увлекается столь модными ныне количественными прогнозами (типа: в каком году Китай обгонит США по объему ВВП?) — его интересует влияние культуры, представлений и мотиваций людей на экономическое развитие.

Наиболее спорной работой Лала является «Похвала империи: глобализация и порядок» (Lal 2004a; Лал 2010). И это неудивительно, так как в ней демонстрируется авторский взгляд на благотворность империй. Они в его изображении предстают как носители такого общественного блага, как порядок в анархической организации международного сообщества. «Империи обеспечивали мир. Создаваемый ими *Pax* в пределах общего экономического пространства приносил с собой процветание» (Лал 2010: 177).

Само собой разумеется, что при этом явное предпочтение отдается либеральным («хорошим») империям, образцом которой служит Британская империя на протяжении большей части XIX в. и вплоть до начала

Первой мировой войны. *Pax Britannica* создал то, что автор более всего ценит и называет либеральным экономическим мировым порядком (ЛЭМП)<sup>4</sup>. Он призывает США активнее поддерживать *Pax Americana* и, главное, разворачивать его в сторону ЛЭМП, основанного на принципе *laissez-faire*.

В книге «Возвращение невидимой руки» Лал развивает многие идеи предыдущей работы и бросает вызов тому, что называет «новым дирижизмом»: экспансией государства и влияющих на ее расширение как международных организаций (МВФ, Всемирный банк, ВТО), так и многочисленных неправительственных организаций (НПО). Он полагает совершенно неоправданными выдвигаемые предлоги для вмешательства типа экологических требований или претензий к условиям производства в третьих странах. Автор завершает книгу следующими словами:

В начале 1990-х я написал небольшую книгу о том, какую позитивную роль могут сыграть концепции классического либерализма в искоренении вековой нищеты третьего мира. По целому ряду причин развивающиеся страны начали прислушиваться к этому призыву. Я и представить себе не мог, что сегодня возникнет необходимость донести ту же идею до стран Севера. Однако этого требует нынешнее возвышение «нового дирижизма». Северу пора на деле взять на вооружение принципы классического либерализма, которых он придерживается на словах (Лал 2009: 342).

В итоге же Лал не испытывает оптимизма относительно действительности своих рекомендаций Северу. Он оставляет читателя со следующими словами: «Однако Кассандра охрипла, и ей пора менять ремесло» (там же). И все же в одной из последних работ он видит некоторые, пусть и до конца неясные, перспективы и для Запада. Связаны они с возможностью продолжения его отхода от христианских ценностей и обращением к новому язычеству (Lal 2010b).

<sup>4</sup> Лал не устает подчеркивать, что использует понятие «либеральный» не в том значении, какое оно приобрело в США. «Под “либеральным” я имею в виду классический либерализм, а не то значение, которое сегодня придается этому слову в политическом дискурсе США, где порой понятие “либеральный” тождественно прилагательному “социалистический”» (Лал 2010: 177). История захвата в США сторонниками государственного интервенционизма чуждого им по сути бренда «либералов» излагается в книге Дэвида Боуза (Боуз 2004: 26–28). Не случайно сегодня истинные либералы вынуждены добавлять перед определением либерал слово «классический», а еще чаще называть себя не очень благозвучным термином «либертарианцы».

### 3.2. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА<sup>5</sup>

В целях получения лучшего представления о проведенном Лалом анализе проблем развития необходимо разъяснить содержание ряда используемых им нестандартных понятий. Начнем с его определений типов экономического роста. Наряду с известными понятиями экстенсивного и интенсивного роста<sup>6</sup> он выделяет две разновидности последнего: рост смитовского и протеевского типов (Лал 2007: 37–39). Первый основан на углублении разделения труда и торговли (институтах, описанных Адамом Смитом), тогда как второй — на замене зависимых от земли органических продуктов минеральным сырьем. Смитовский рост опирается в конечном счете в производственные возможности земли, ее убывающую отдачу (с этим фактом и был связан пессимизм Томаса Мальтуса). Однако промышленная революция привела к замене органической экономики (основанной на земле) экономикой, основанной на энергии, получаемой из полезных ископаемых. И эта новая экономика практически не сталкивается с естественными ограничениями роста (по мере необходимости происходит замена одного ископаемого ресурса другим: так, эпоха угля сменилась эпохой нефти и газа).

Что же стало первопричиной поворотного пункта в истории человечества? Почему на смену экстенсивному росту пришел интенсивный

<sup>5</sup> Выступая в 2010 г. на конференции в Лиме (Перу), Лал заметил, что «институты превратились в бога из машины (*deus et machine*) в объяснении экономического развития» (Lal 2010a). И «хотя их роль в определении экономических результатов остается значительной, большинство из современных обсуждений, пытающихся облечь в теоретическую и эконометрическую плоть гипотезы Дугласа Норта, как я покажу, являются непоследовательными и глубоко неубедительными» (Ibid.). В данном разделе рассматривается базовая схема детерминирующих экономическое развитие факторов по Лалу, которую, как он утверждает, противопоставляет и Норту, и Асемоглу с его соавторами. Принципиальное расхождение касается, как легко догадаться, роли институтов.

<sup>6</sup> Напомним, что под экстенсивным ростом подразумевается ситуация, когда темпы роста производства, как правило, не превышают темпы роста населения и, таким образом, душевой доход почти не растет. Поэтому «история мировой численности населения <...> есть наш единственный источник для оценки масштабов экстенсивного роста на протяжении периода, предшествующего Новому времени» (Лал 2007: 39). В свою очередь, интенсивный рост означает, что объем производства растет устойчиво быстрее, чем численность населения. «Когда и чем был вызван интенсивный рост — центральная проблема теории экономического развития» (там же: 16).

рост прометеевского типа? Для решения этих загадок Лал указывает на огромное значение культуры, которая, согласно ему, «представляет собой неформальный аспект институтов, ограничивающих поведение людей» (Лал 2009: 224). Давая более развернутую характеристику культуры, Лал прибегает к помощи экологов. В соответствии с их взглядами, человек, в отличие от животных, приспосабливается к изменениям окружающей среды не путем мутаций, а за счет овладения новыми методами выживания в изменившейся обстановке, которые затем закрепляет в виде обычаев. «Эти обычаи и составляют культуру данной группы, которая передается ее новым членам (в основном детям), и им не нужно изобретать эти обычаи заново» (там же: 224).

Видное место в экономике развития, по Лалу, занимает понятие социального равновесия, которое он заимствует у экономиста Фрэнка Хана, определившего таковое как ситуацию, в которой движимые собственными интересами субъекты не учатся ничему новому и в результате их поведение приобретает рутинный характер. Подобное рутинное поведение напоминает созданную экологами концепцию обычая (Лал 2007: 23; Лал 2009: 225). В состоянии равновесия, согласно Хану, экономика «дает субъектам сигналы об отсутствии необходимости менять свои теоретические взгляды или экономическую политику» (цит. по: Лал 2009: 225). Если цивилизацию ничто не подталкивает к изменениям, то она может на целые столетия застрять в так называемой ловушке равновесия: душевой доход колеблется вокруг некоторой цифры и экономический рост определяется преимущественно увеличением лишь одного фактора производства — количества работников.

Ключевым для теории модернизации Лала, несомненно, является введенное им деление представлений людей на два типа: материальные (как заработать на жизнь) и космологические (как жить)<sup>7</sup>. «Первые относятся к способам обеспечить средства к существованию и являются представлениями о материальном мире — в частности, об экономике. Вторая же категория связана с нашим пониманием окружающего мира и места, которое в нем занимает человек, от чего, в свою очередь, зависят представления людей о цели и смысле собственной жизни и взаимоотношений с другими» (там же: 225–226).

Данное деление обуславливается двумя разновидностями транзакционных издержек. «Первые — это издержки, связанные с поисками

<sup>7</sup> Словом «космологические» Лал заменяет чаще употребляемый в таких случаях другими авторами термин «идеологические».

потенциальных экономических партнеров и оценкой их потенциала с точки зрения спроса и предложения, а вторые — это затраты на обеспечение выполнения обещаний и соглашений» (там же: 226). Если материальные представления служат снижению первых, то космологические — вторых. По мере расширения однократных актов обмена между незнакомыми людьми требовалось пресекать оппортунистическое поведение, и эту задачу брал на себя некий нравственный кодекс, осуждающий и ограничивающий такое поведение<sup>8</sup>.

Таким образом, можно заключить, что если материальные представления призваны служить снижению транзакционных издержек, связанных с организацией обмена, то космологические представления предназначены для снижения другой разновидности этих издержек, связанных с принуждением к соблюдению договоренностей.

Деление представлений на материальные и космологические служит затем для принципиального разграничения модернизации и вестернизации, неоднократного подчеркивания их нетождественности. «Модернизация возможна и без вестернизации», — таков главный вывод книги Лала «Непреднамеренные последствия»<sup>9</sup>. «Незападные общества могут перенимать средства для достижения процветания, не поступаясь своей душой» (Лал 2007: 208)<sup>10</sup>.

Для правильного осмысления этих выводов никак нельзя упускать из вида тот факт, что под материальными представлениями понимаются далеко не только и не столько научно-технические знания, как это можно ошибочно понять из используемого термина. Так, развертывая описание причин возвышения Запада, Лал определяет эти представления в тот период как то, что можно в сумме назвать прорыночным менталитетом:

<sup>8</sup> «Фактически одна из главных функций космологических представлений заключается в предоставлении социальных норм, которые делают нас моральными животными вопреки нашим инстинктам» (Лал 2007: 26).

<sup>9</sup> Сам Лал так пишет об этом: «Один из главных выводов моей книги “Непреднамеренные последствия” заключался в том, что остальной мир может воспринять материальные ориентиры Запада, способствующие возникновению капитализма, не разделяя его космологических представлений» (Лал 2009: 27).

<sup>10</sup> «Процесс модернизации — переход от материальных представлений, свойственных аграрной экономике, к материальным представлениям, свойственным промышленной, — означает изменение этих представлений. Космологические представления, напротив, связаны с тем, как люди понимают свое место в мире и свои взаимоотношения с другими людьми. Они связаны с моралью и верованиями, содержащимися в различных религиях» (Лал 2010: 25).



благожелательное отношение к торговле, частной собственности, предпринимательству<sup>11</sup>. Иначе говоря, правовое сознание, формирующее благоприятный бизнес-климат.

Отсюда модернизация — это радикальное изменение материальных представлений, открывающее простор рыночной экономике, свободной конкуренции. И поэтому она есть универсальное для всех стран и народов средство, ведущее к процветанию за счет обеспечения условий устойчивого экономического роста протекторского типа.

Распространение и закрепление этих материальных представлений, родившихся на Западе, но носящих наднациональный характер, не тождественно распространению западной космологии, которую Лал связывает с индивидуализмом. Можно и нужно перенять прорыночный менталитет Запада (его материальные представления), но не его индивидуалистическую космологию<sup>12</sup>.

Процесс вестернизации определяется как «принятие западных космологических представлений» (Лал 2010: 25), которые на самом деле есть не универсальные ценности, а «культурно обусловленные ценности западного христианства» (там же). Эти ценности, когда их навязывают другим цивилизациям, вызывают сопротивление. «Весь остальной мир готов к тому, чтобы в процессе глобализации воспринять материальные представления Запада, но он не готов разделить его космологические представления. Незападные страны хотят модернизации, а не вестернизации» (там же: 26).

<sup>11</sup> Это утверждение близко к концепции Дейдры Макклоски, согласно которой решающую роль в прорыве Запада к устойчивому экономическому росту сыграло изменение в риторике, так называемая Великая переоценка ценностей, когда сложилось благожелательное отношение к буржуазной практике, предпринимательству (MacCloskey 2011). Взгляды Макклоски рассматриваются в главе 5 настоящей книги.

<sup>12</sup> «Индивидуализм создал инструменты роста протекторского типа. Однажды открыв, их можно имплантировать в самые разные общества по всему миру без необходимости для этих обществ перенимать космологические представления, которые привели к созданию этих инструментов» (Лал 2007: 205). Это, как мы могли убедиться, и еще раз неоднократно убедимся, — основа лаловского мировоззрения: в потоке западного влияния можно и нужно брать все полезное и необходимое для рыночной экономики, но оно не включает индивидуализм. Последний можно, образно говоря, сравнить с отработавшей ступенью ракеты: потребление услуг выведенного ею на орбиту спутника не требует его перезапуска. Однажды сработав на Западе и создав то, что от него требуется, сам индивидуализм как таковой становится больше ненужным.

Успешным примером такого выборочного заимствования Лал считает Японию<sup>13</sup>. И, как мы увидим далее, западный индивидуализм рассматривается им не только как не обязательный для рынка атрибут (хотя и способствовавший в свое время при определенных специфических условиях прогрессу Запада), но и как то, что постепенно поворачивает Запад против рынка и ведет к его упадку.

Разделение материальных и космологических представлений наиболее рельефно проявляется в противопоставлении экономических и гражданских свобод, с одной стороны, и политических свобод — с другой<sup>14</sup>. Первые более важны и обладают универсальной применимостью. При этом «глобализация одновременно зависит от классических либеральных, т. е. экономических и гражданских, свобод и способствует их распространению» (там же: 330). В то же время «политическая свобода, особенно в форме мажоритарной демократии и демократии участия, с точки зрения глобализации может оказаться даже нежелательной» (там же)<sup>15</sup>.

В чем здесь дело? Почему демократия отсоединяется от экономических и гражданских свобод и рассматривается как «даже нежелательная» для успеха глобализации?

Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к определению Лалом процесса глобализации. «Глобализация — это процесс создания

<sup>13</sup> «У остального мира есть возможность — и это наглядно продемонстрировала Япония — взять на вооружение материальные представления Запада, необходимые для экономического процветания, не принимая его космологических представлений и не отказываясь от собственной морали» (Лал 2009: 264).

<sup>14</sup> «Следует проводить различие, по крайней мере, между экономической, гражданской и политической свободами. Первая относится к свободному рынку, вторая — к верховенству права, а третья связана с демократией» (там же: 120).

<sup>15</sup> При этом Лала не смущает, что та же Япония в глобальном рейтинге демократии по классификации *Freedom House* «Свобода в мире» занимает высокие места: в 1973–1980 гг. именно по политическим правам, которые оцениваются отдельно от гражданских прав, она получала оценку 2 (высший балл — 1, низший — 6), а начиная с 1981 г. (за исключением 1993 и 1994 гг.) — высший балл. Интересно заметить, что по гражданским правам высший балл Япония получила только в 2013 г., а до этого, начиная с 1991 г., регулярно получала 2. Если обратиться к не чуждой Лалу Индии, то здесь также в целом положение дел с политическими правами оценивалось выше, чем с гражданскими. Начиная с 1996 г. политические права получают 2 балла, а гражданские — не больше 3 (*Freedom in the World Country Ratings 1972–2013*). Абсолютно очевидно, что в соответствии с концепцией Лала ситуация должна быть прямо противоположной: гражданские права оцениваться более высокими баллами, чем политические.

общего экономического пространства, ведущий к интеграции мировой экономики благодаря все более свободному перемещению товаров, капитала и труда» (там же: 15). При этом «как чисто экономический процесс глобализация является ценностно-нейтральной» (там же). Глобализация неразрывно связана с распространением экономических и гражданских свобод, которые, по Лалу, также являются ценностно-нейтральными категориями (сферой материальных представлений).

Однако демократия, политические свободы таковыми не являются. «Демократия, расхваливаемая ныне как панацея от всех мировых бед, не обязательно способствует миру и процветанию. Она способствует политической свободе, но последняя является частью космологических представлений культуры, ее политических обычаев» (там же). Если демократизация входит в противоречие с космологическими представлениями, ее внедрение сопровождается социальными коллизиями, не способствующими успешному развитию<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> «Политическая свобода <...> может быть желательна по самым разным причинам, но если придать ей более высокий приоритет, чем внутренний порядок, то это может нанести ущерб либеральному экономическому миропорядку, спровоцировав то самое внушающее всеобщее опасение столкновение цивилизаций» (Лал 2010: 120). Попутно заметим, что другой не менее, если не более известный индийский экономист — Амартия Сен (лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 г.) — занимает противоположную позицию в отношении политических свобод и демократии. В своей книге «Развитие как свобода» он оспаривает так называемый тезис Ли (имеется в виду Ли Куан Ю — выдающийся реформатор, премьер-министр Сингапура с 1959 по 1990 г.), заключающийся в том, что жесткие политические режимы обладают преимуществами, способствующими развитию экономики (Сен 2004: 32). При этом он полагает, что «политическая свобода и гражданские права важны сами по себе и не требуют доказательств своей экономической полезности» (там же: 33). Кроме того, если говорить об экономической составляющей, то преимуществом политических свобод является хотя бы то, что «мировая история не знает примеров голода, случившихся при действующей демократии» (там же). В дальнейшем он посвящает целую главу, названную «Значение демократии», обоснованию желательности демократии, не раз подчеркивая ее непосредственное значение (как потенциала возможностей личности), инструментальное значение (как способа привлечения внимания политиков к требованиям общественности) и конструктивную роль (роль в концептуализации экономических нужд, включая их приоритетность). При этом утверждает, что «острота экономических нужд скорее усиливает — а не уменьшает — актуальность политических свобод» (там же: 171). И приводится в пример Индия: «Индия — огромный, невероятный, удручающий клубок противоречий — выстояла и функционирует достаточно успешно в качестве политического единства с демократической системой — по сути, действующая демократия и держит ее на плаву» (там же: 180).

В итоге можно заключить, что выстраивается довольно стройная, хотя, на взгляд многих, и спорная схема (рис. 5). Дуализм представлений отражается в дуализме свобод, оказывающих, в свою очередь, часто противоположное воздействие на глобализацию. Опасность для глобализации вытекает из того, что незападные цивилизации «воспринимают глобальный капитализм как “троянского коня”, орудие вестернизации и насаждения западных нравов» (Лал 2009: 242).



Рис. 5. Представления, свободы и их влияние на глобализацию

Если углубиться в анализ Лалом космологических представлений, то они, в свою очередь, также отличаются дуализмом: в той или иной пропорции складываются из индивидуализма и коммунизма (более привычный термин «коллективизм» Лал не использует, чтобы не возникла путаница с определенным типом экономики, который на Западе принято именовать коммунистическим).

И наконец, обращается внимание на механизмы привития культурных характеристик в процессах социализации. Их тоже два: стыд и вина. Принципиальное различие между ними удачно подчеркивается следующим примером: «В отсутствие Пятницы Робинзон Крузо мог не ощущать

стыда, но если он веровал в иудео-христианского Бога, он мог ощущать вину!» (Лал 2007: 31). Последняя характерна для европейской цивилизации и, естественно, тесно связана с индивидуализмом (ее ведь может ощущать и абсолютно одинокий Робинзон). Стыд же невозможен вне коллектива, и результатом социализации посредством него становятся космологические представления, которые описываются как «коммуналистские» (Lal 2004b: 138).

Лал придает большое значение реакции на сигналы из окружающей среды и на основе ее дифференциации выстраивает следующую последовательность. Быстрее всего на них реагирует рынок, достигая равновесия спроса и предложения. Вторыми по скорости реакции оказываются материальные представления, определяющие организационную структуру, в рамках которой действует рынок (или, как замечает Лал, не действует, если речь идет о централизованно управляемых экономиках). Изменения этих представлений возможны на протяжении жизни одного поколения. И наконец, связанные с космологическими представлениями состояния культурного равновесия, которые меняются медленнее всего<sup>17</sup>. В связи с этой особенностью космологических представлений они «могут сохраняться даже в том случае, если больше не выполняют никаких функций» (Лал 2007: 28). И, как следствие, «культурные особенности могут пережить свою полезность» (там же).

Говоря о влиянии материальных интересов и идей на человеческую деятельность, Лал подчеркивает, что он занимает позицию посередине между «материалистами» и «идеалистами» (там же: 24). С одной стороны, исследователь неоднократно цитирует Джона Хикса — очень известного экономиста XX в., — который говорил, что «люди будут действовать экономически; когда им представлялась возможность получить выгоду, они не упускали случая ею воспользоваться» (цит. по: там же: 32). И пишет, в частности, что «межкультурные различия в способах производства, распределения и обмена можно удовлетворительно объяснить вполне стандартными экономическими (то есть материалистическими) факторами» (там же: 31)<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> «В то время как материальные представления могут меняться весьма быстро по мере изменения материальной среды, имеется значительно большее отставание по фазе в изменениях космологических представлений, которые определяются языковой группой, в рамках которой конкретная культура или цивилизация эволюционируют» (Lal 2010a).

<sup>18</sup> «Даже в таких сугубо личных вопросах, как рождаемость, материалистические объяснения превосходят идеалистические» (Лал 2007: 32).

С другой стороны, для него неприемлема позиция чистых материалистов, к которым он относит как марксистов, так и чикагскую экономическую школу. «Но вот ведь какая ирония: начав с одной точки — с “грубого факта” интереса, — в конечном итоге они приходят к различным идеологиям. Разделяя идентичные материалистические взгляды и располагая одними и теми же историческими фактами, они приходят к диаметрально противоположным взглядам на социальную реальность» (там же: 24). В этом курьезе Лал видит доказательство разумности своей «срединной позиции».

В любом исследовании проблем развития неизбежно встает вопрос о том, как мир представлений (идеология, культура) соотносится с государственными институтами и экономикой. Материальные (личные) интересы, по Лалу, могут влиять на экономику и политику, но они, как он полагает, не могут объяснить одного — смену политических режимов (там же: 34). И здесь самое время остановиться на его учении о государстве, сердцевину которого образует тезис о хищнической природе последнего<sup>19</sup>.

«Универсальное свойство любого политического устройства — вездесущая хищность государства. Это всего лишь отражение необходимой монополии права на принуждение и неизбежной максимизации чистого дохода, который корыстные правители будут затем выжимать из своих подданных» (там же). Причем «целью этого хищнического государства (как и контролирующей городской район мафиозной группировки) является максимизация чистого дохода, чистой величины награбленного» (Лал 2010: 34)<sup>20</sup>.

В то же время сам автор концепции «хищнического государства» признает, что выстроенное им объяснение перемен на основе степени хищничества государства и его ограничений — лишь одна сторона дела.

<sup>19</sup> Лал использует модель «хищник — жертва», применяемую при исследованиях живой природы, для описания ее подобия с отношениями суверена и подданных, где симбиоз отвечает интересам и хищника, и жертвы, но при этом благополучие жертвы не является непосредственной целью хищника.

<sup>20</sup> В упомянутой ранее работе «Индийское равновесие» Лал представил модель хищнического государства, которая обобщает исторические исследования государств, возникших на Индо-Гангской равнине до появления англичан. Рассматривается она и в книге «Непреднамеренные последствия» (Лал 2007: 211–221). При этом Лал не связывает «хищничество» государств только с недемократическими режимами. Хищническую природу имеет даже демократическое государство, где в роли хищников выступают медианный избиратель и мощные группы интересов (Лал 2009: 83).

Государство имеет институциональную природу, а институциональные факты — это социальные факты, для которых, «в отличие от природных фактов, наше отношение представляет факт» (Лал 2007: 34). Можно сказать, что наше отношение к институту отчасти формирует и сам институт. В результате «эти особенности институциональных фактов подразумевают, что любое государство, независимо от того, насколько оно тираническое и хищническое, должно быть основано на некоем всеобщем признании его легитимности населением» (там же)<sup>21</sup>.

Лал в своих рассуждениях опирается на концепцию «легитимности на основе обычая» американского философа Джона Сирла (Searle 1995), а кроме того, особо выделяет теорию двойных предпочтений экономиста Тимура Курана (Kuran 1995), согласно которой функция полезности индивида зависит не только от традиционной внутренней полезности, но и от внешней полезности, под которой понимается мнение других лиц. Под влиянием последнего индивид может быть неискренним в демонстрации собственных предпочтений, но стоит общественной поддержке (или, напротив, общественному осуждению) снизиться до какого-то критического значения, как индивид тут же «вытаскивает на свет» свои истинные, до сего момента скрывааемые предпочтения<sup>22</sup>. Это объясняет резкие и часто непредсказуемые перемены общественного мнения, например, такие, что имели место в период краха социализма в 1989–1991 гг.

Согласно позиции Лала, и материальные представления, и космологические (включающие общественное мнение) влияют на политическое устройство, но последние («взгляд на мир») имеют большее влияние. «Политические предпосылки капитализма <...>, — пишет он, — должны были иметь культурные предпосылки» (Лал 2007: 36).

В целом же концепция Лала построена на многосторонних взаимозависимостях. В ней все зависит от всего. Он постулирует: «Существует система общего равновесия, определяющая политические и экономические результаты, в которой взаимодействуют обеспеченность факторами производства, два компонента культуры и политическое устройство. Все зависит от всего остального в том смысле, в котором мы привыкли в экономической теории» (там же).

<sup>21</sup> «В конечном счете любое государство, подобно другим институтам, также зависит от общего признания его права управлять» (там же: 35).

<sup>22</sup> В приложении Лал знакомит читателя с моделью двойных предпочтений и общественного мнения, разработанной Кураном (Лал 2007: 221–225).

Тем не менее есть основания предположить наличие в логике Лала следующей последовательности: изменения в материальной среде (обеспеченность факторами производства, технологические и торговые возможности) влияют как на аспекты материальной культуры (материальные представления), так и космологию, а последняя, в свою очередь, в большей степени влияет на политическое устройство, чем первые. Политическое устройство (степень хищничества государства) оказывает обратное воздействие на материальную среду, освобождая или, напротив, подрывая возможности роста прометеевского типа. Эта логика рассуждений схематически изображена нами на рис. 6.



Рис. 6. Экономическое развитие и его источники по Лалу

Осталось только обратиться к упомянутой в начале раздела полемике с Нортм и Асемоглу с соавторами. Лал проводит различие между «ранним» и «поздним» Нортм. Он склоняется к правоте «раннего» Норта, когда последний рассматривал институты как изменяющиеся под воздействием относительных цен и технологий, а не как в поздних работах<sup>23</sup>,

<sup>23</sup> Лал здесь ссылается на следующие работы: North 1994; 2005.



где институты представлены как инвариантные детерминанты развития. Тем более в высшей степени сомнительными ему представляются попытки найти эмпирические подтверждения того, что институты являются экзогенными детерминантами долгосрочных экономических результатов<sup>24</sup>.

По всей видимости, можно признать справедливой критику Лалом подхода Асемоглу с его соавторами. Как мы видели в предыдущей главе, Асемоглу и Робинсон в своей последней монографии даже не пытаются дать какого-либо определения институтам, полагая его чем-то само собой разумеющимся. При этом институты у них определяют, действительно, практически все. Что же касается той монографии Норта, на которую ссылается Лал, то в ней, как мы также могли убедиться (*рис. 5*), в основе всего находятся убеждения (= представления). Другое дело, что Норт включает их в понятие «институты», но это обстоятельство лишь отражает то, что теория институтов, как пишет, например, Сирл, переживает если не свое младенчество, то детство (Searle 2005: 22)<sup>25</sup>.

С точки зрения Лала, «не может быть какой-либо механической теории, связывающей институты (как бы они ни определялись) с экономическим ростом, как это пытается сделать современная научная литература» (Lal 2010a). «История, — пишет он, — а не механика, является подходящей дисциплиной для понимания институтов и экономической активности» (Ibid.). Со своей стороны Лал полагает, что в проведенном исследовании культуры ему удалось создать логически

<sup>24</sup> В качестве иллюстрации приводятся следующие статьи Асемоглу и его соавторов: Acemoglu, Johnson, Robinson 2001; Acemoglu, Johnson, Robinson 2002; Acemoglu, Johnson, Robinson 2004.

<sup>25</sup> Лал противопоставляет Норту статью Гарольда Демсеца (Demsetz 2002), где последний в рамках неоклассического подхода делает краткий обзор экономических факторов, которые привели к смене отношений собственности с течением времени. «Она содержит строгую, исторически информированную и более убедительную теорию институциональных изменений, чем новая институциональная экономика Дугласа Норта и его сторонников» (Lal 2010a). Демсец утверждает, что специализация, которая уменьшила пригодность компактного поселения (как в примитивных сельскохозяйственных культурах) для решения проблемы аллокации ресурсов и в то же время увеличила их сложность, привела к опоре на такие социоправовые системы, которые позволяли иметь дело с незнакомцами. Римская империя обеспечивала подобную систему и тем самым расширяла распространение частной собственности. С коллапсом этой империи Западная Европа вернулась к различным видам коллективной собственности (Demsetz 2002).

связный и правдоподобный кросс-культурный и междисциплинарный обзор эволюции и роли трех центральных институтов: рынка, семьи и государства, являющихся релевантными для понимания относительно экономического развития, но не его механическими детерминантами (Ibid.). Это утверждение, кстати, можно проверить, обратившись далее к рассмотрению описанной им цепочки причин, породивших возвышение Запада над всем остальным миром.

### 3.3. ПОЧЕМУ ЗАПАД?

Пожалуй, не найдется ни одного автора, который так или иначе касался бы в своих трудах проблем развития и при этом не пытался найти ответ на вопрос: почему именно Запад стал движущей силой развития земной цивилизации? Не обходит его стороной, естественно, и Лал. Он констатирует, что «интенсивный рост прометеевского типа остается европейским чудом» (Лал 2007: 89). Но в то же время замечает, что «парадоксальным образом сами представления, породившие рост прометеевского типа, в конечном счете могли разрушить скрепы общества в этой цивилизации» (там же).

Лал рассматривает как материалистические, так и институциональные основания возвышения Запада. Первые истолковываются в терминах обеспеченности факторами производства и технологиями. В период господства Рима выделялись географические обстоятельства: различия в обеспеченности факторами производства территорий вокруг Средиземного моря сделали торговлю двигателем интенсивного роста смитовского типа. Нехватка рабочей силы в Средние века породила специфику европейского феодализма: неизвестное на Востоке взаимное признание квазиправовых прав и обязательств. Со временем перемены в сельском хозяйстве и начало промышленной революции ликвидировали эту нехватку, что привело к исчезновению крепостничества. Промышленная революция превратила традиционные органические аграрные экономики в промышленные, основанные на минеральном сырье, что сделало интенсивный рост прометеевского типа нормой для Запада (там же: 90–91).

Что касается институциональных основ возвышения Запада, то Лал выделяет четыре обстоятельства (там же: 92–93).

1. Важность городов-государств в создании благоприятного климата для купцов и коммерции.

2. Развитие коммерческого договорного права, позволявшего заменить сделки, основанные на доверительных связях, на сделки между независимыми сторонами<sup>26</sup>.
3. Признание государством прав частной собственности. При этом, в отличие от Востока, укрепление абсолютизма сопровождалось не снижением экономической гарантированности собственности, а, напротив, ее укреплением, движением в сторону всеобщих прав на частную собственность.
4. Постепенная трансформация «греческого духа любознательности» в повседневную практику науки.

Касательно последней, надо заметить, что Лал, говоря о том, что в ней заключен в чем-то и решающий фактор возвышения Запада, тем не менее выступает против концепции Джоэла Мокира, согласно которой различия в технической креативности являются конечным объяснением различий в богатствах народов (Мокуг 1990; Мокуг 2000). По Лалу, главное — не констатировать это очевидное различие, но найти его причину. Исключительная техническая креативность Запада видится ему как порождение его уникальной особенности — индивидуализма. Однако почему индивидуализм возник только на Западе? «Роль, которую в этом сыграло западное христианство, наиболее принципиальная, но ее удивительным образом не заметили экономические историки!» (Лал 2007: 242, примеч.).

И здесь есть все основания перейти непосредственно к рассмотрению Лалом представлений Запада, сформированных как результат двух папских революций. Индивидуализм Лал связывает с первой папской революцией, свершенной еще в VI в. папой Григорием I (Григорием Великим). Она касалась семейных отношений<sup>27</sup>.

Папские запреты VI в. увеличивали число бездетных, снижали количество наследников (в том числе наследников мужского пола), сужали семьи, мешали им сохранить собственность и способствовали отчуждению

<sup>26</sup> В этом плане обращает на себя внимание известное сравнительное исследование Анвара Грейфа, показавшего, как генуэзцы, развившие формальное правовое и политическое принуждение к соблюдению контрактов, превзошли своих конкурентов из Магриба, которые опирались на традиционные семейные контакты и неформальные экономические санкции (Грейф 2013).

<sup>27</sup> Августин, первый архиепископ Кентерберийский, в 597 г. послал гонцов в Рим, к папе Григорию I, с целью получить совет по некоторым вопросам. Четыре вопроса касались проблем семьи и брака. В ответах Григория I запрещалась традиционная для той поры практика браков с различными близкими родственниками; усыновление, полигиния, развод и повторный брак также были запрещены.

ее в пользу церкви. «Церковь стала непревзойденным участником гонки за наследством» (там же: 106). Этот вид церковной «погони за рентой» имел те самые непредвиденные последствия, которым и обязано заглавие книги.

Именно в то время были заложены основы западной нуклеарной семьи, ослаблена власть главы семейства над родственниками (и в первую очередь его право соединять их брачными узами). Церковь поощряла браки по любви, так как они вкупе с названными запретами повышали вероятность завещания ей нажитого имущества<sup>28</sup>. И в этом самостоятельном выборе партнера по браку Лал видит исток западной космологии в виде индивидуализма. «Поддерживая независимость молодежи в выборе брачных партнеров, в устройении их собственных домохозяйств и вступлении скорее в договорные, чем в эмоциональные отношения при заботе о стариках, эта система способствовала появлению индивидуализма» (там же: 110).

Выделение поколений в отдельные семьи позволяло старшему поколению лишать детей наследства (например, завещать имущество в пользу той же церкви), но при этом младшее поколение тоже могло подвергнуть санкциям старшее — лишить услуг по уходу. Эту функцию тогда церковь брала на себя. Возникали и примитивные государственные услуги по общественному призрению. Их появление относят еще к XII–XIII вв. Таким образом, если на Востоке функции социального страхования оставались (и во многом еще до сих пор остаются) внутрисемейными, то на Западе уже в Средневековье наблюдаются зачатки государства всеобщего благосостояния. И они, как бы это ни выглядело странно на первый взгляд, являются результатом индивидуализма.

В то же время, хотя именно жадность церкви разрушила евроазиатскую систему брака, державшую страсть под контролем, церковь же нашла и противоядие, разделив любовь и секс.

Всепроникающее христианское учение, направленное против секса, основанное на концепции первородного греха и порождаемой им неизбежной вины, было необходимым противоядием от «животных страстей», которые в противном случае высвобождал самокорыстный подрыв церковь традиционной евроазиатской системы брака. Но поскольку

<sup>28</sup> Уместно вспомнить, что в драме Шекспира «Ромео и Джульетта» именно фра Лоренцо поощряет поведение влюбленных, направленное против воли их семей. Экономисты, следуя своей терминологии, могли бы назвать это подстрекательство к самостоятельному выбору «эффектом фра Лоренцо».

смертные грехи включали не только похоть, вина, связанная с бытием в греховном Адаме, тоже была мощным средством поддержания социального контроля (там же: 115).

При этом Реформация только усилила влияние этой культуры вины (там же).

Итак, культура индивидуализма стала источником материального и научного триумфа Запада (правда, Лал нигде не конкретизирует, как индивидуализм, высвобожденный семейной революцией Григория I, связан с этим триумфом). И в то же время личное чувство вины и осознание собственной греховности с рождения поддерживало личную этику (воздержание от всех смертных грехов — не только похоти) из страха перед чистилищем. Они рассматриваются Лалом как социальные скрепы западного общества. Эти «скрепы» уникальны (в том смысле, что присутствуют только Западу) и держатся исключительно на вере в бога. Стоит ей серьезно ослабнуть, как «моральный кодекс» Запада рушится, поскольку Григорий I подорвал характерные до той поры и сохраняющиеся и поныне в Азии моральные нормы, основанные на чувстве стыда.

Для обогащения католической церкви последствия первой папской революции были самыми благоприятными. Лал отмечает, что, по оценкам демографов, примерно 40% семей оставались без прямых наследников по мужской линии, а имущество, которое нельзя было передать по наследству, как правило, завещали церкви (благодаря все тому же чувству вины, изначальной греховности земного существа). Ее собственность росла феноменально (Лал 2009: 230).

Таким образом, «индивидуализм возник как непреднамеренное последствие жажды наживы со стороны Римской католической церкви» (Лал 2007: 204). В результате он имеет чисто материальное происхождение<sup>29</sup>. В то же время «он был чистой исторической случайностью»

<sup>29</sup> Виргинская школа политической экономии сравнивает Римскую средневековую церковь с современной корпорацией М-формы: таковая состоит из большого числа полуавтономных единиц, которые контролируются преимущественно установлением финансовых целей из центра. «Организация церкви была организацией корпорации М-формы с папой в качестве генерального директора (CEO), папской камерой в качестве финансового отдела, директорами во главе (курии и кардиналы) и географически рассредоточенными нижними розничными подразделениями. Главной задачей верхнего эшелона церкви было поставлять доктрины и догмы, определяющие важнейшие принципы членства (например, интерпретации священных текстов) и собирать поступающие в нижние подразделения ренты» (Ekelund 2004: 387).

(там же). «Индивидуализм, которому она (католическая церковь. — А. З.) непреднамеренно способствовала, является уникальным космологическим представлением Запада. Остальной мир был и остается коммуналистским» (там же).

Стремительное обогащение церкви породило и охотников за церковным имуществом (как из числа светских правителей, так и алчных клириков). И тут на помощь пришла вторая папская революция, свершенная в 1075 г. Григорием VII. Он издал буллу, в которой, следуя идущей еще от «Града божия» св. Августина концепции, вознес церковную власть над светской. Церковь была поставлена выше государства. Поддерживала она свою власть через угрозу отлучения. «Для компенсации своей слабости в этом мире она использовала власть над загробным миром» (Лал 2007: 107).

В результате имущество церкви стало неприкасаемым, а глубокая вовлеченность ее в мирские дела потребовала создания всех правовых и институциональных атрибутов, которые до сих пор служат рыночной экономике. Со временем церковью была создана «вся важнейшая правовая инфраструктура современной коммерческо-промышленной экономики!» (там же: 103). Церковь-государство, преследуя свои выгоды, строилась как правовое государство. Постепенно ее установления заимствовали и светские государства. Экономисты-институционалисты сегодня сказали бы, что светские государства импортировали сформированные церковью институты<sup>30</sup>.

В результате второй папской революции права собственности, рынок и торговля получили, можно сказать, божественное благословение. «Папская революция Григория VII разорвала путы, сковавшие базовый “инстинкт торговли”, а со временем изменила и традиционные евразийские материальные ориентиры, основанные на подозрительном отношении к рынку и торговцам» (там же: 230). Рынок со всеми необходимыми ему установлениями становился органической частью материальных представлений европейцев.

В итоге картину папских революций и их последствий можно наглядно представить следующим образом (рис. 7).

<sup>30</sup> Лал замечает, что многие свойственные капитализму институты возникли еще до революции Григория VII, но они «не пользовались правовой защитой со стороны государства, которое чаще всего рассматривало предпринимателей как “дойных коров” для осуществления собственных хищнических устремлений» (Лал 2009: 23).



Рис. 7. Папские революции и их последствия

Стремление к наживе Римской католической церкви (РКЦ) привело к «семейной революции» Григория I (первой папской революции). Преднамеренным последствием стал рост церковных богатств, непреднамеренным или побочным — индивидуализм в космологических представлениях европейцев. Церковные богатства стали предметом зависти и покушений. Ответом на них, как известно, была правовая революция Григория VII (вторая папская революция). Преднамеренным ее последствием стали гарантии сохранения церковной собственности, непреднамеренными — формирование благоприятных для развития рынков материальных представлений в обществе, распространение правового режима вширь (в мир, за пределы церкви) и в конечном счете экономический рост принципиально нового типа.

Правовые институты, учрежденные второй папской революцией, таким образом, и привели к тому, что Лал неоднократно называет

«европейским чудом». С XI в. начинается история «Великого расхождения» западной и восточной цивилизаций: первая в конечном итоге породила промышленную революцию и интенсивный экономический рост прометеевского типа, вторая же оказалась на века в состоянии застоя, которое (применительно к Индии и Китаю) Лал определяет как «ловушку равновесия на достигнутом уровне» (там же: 29–30).

### 3.4. А ЧТО ВОСТОК?

Восток — это все, что не Запад. Лал, конечно, почти не касается Африки и Латинской Америки<sup>31</sup>, но зато довольно обстоятельно рассматривает Индию, Китай и исламские страны. Походя он касается восточного христианства и России, но по понятным причинам в этом случае его воззрения для нас представляют особый интерес.

*Православие и Россия.* Лал обращается к анализу православия прежде всего для того, чтобы подтвердить свою главную идею: собственно-му возвышению Запад обязан не христианству как таковому, а в первую очередь двум папским революциям, породившим, соответственно, индивидуализм и институты рыночной экономики.

<sup>31</sup> Кратко свою точку зрения на проблемы Африки и Латинской Америки Лал высказал в книге «Возвращение “невидимой руки”». Согласно ей, у африканцев отсутствует противоречие между космологическими и материальными представлениями, характерное для Азии. Однако тормозом развития являются «сырьевое проклятие» и деструктивные действия хищнических националистических элит, унаследовавших искусственно созданные колонизаторами государства. Для Латинской Америки также актуальна проблема «сырьевого проклятия», но к ней примешивается еще «фундаменталистский универсализм», доставшийся от испанских и португальских конкистадоров. Если североамериканцы ведут дискуссии по сравнительно приземленным политическим вопросам, то латиноамериканцы склонны вести борьбу вокруг принципиально различных политико-экономических концепций (демократия–авторитаризм, капитализм–коммунизм). Каждый раз перемена интеллектуальной моды напоминает обращение в новую веру. Диссонанс между реальным социальным неравенством и эгалитарными космологическими представлениями порождает цикличность развития — колебания между демократическим популизмом и авторитарными репрессивными режимами. Только две страны (в Африке — Ботсвана, в Латинской Америке — Чили) сумели выйти из характерных для большинства стран их континентов туликов (Лал 2009: 258–260).



Он очень четко сформулировал главное различие между греческой и латинской ветвями христианства: «Если папская революция латинской церкви стремилась отдать и Богово, и кесарево Богу, то ее греческая сестра согласилась с тем, чтобы предоставить и кесарево, и Богово кесарю» (Лал 2007: 117–118).

Если латинская церковь обожествляла саму себя, то греческая — светскую власть. «На императора следовало смотреть как на живой образ Христа, заместника Бога на Земле» (там же). Историки именуют эту установку восточного христианства «цезарепапизмом».

Лал отмечает, что разрыв с латинской церковью означал недоступность результатов папских революций для России и, как следствие, ее «подозрительность» к Западу. Он указывает на то, что восточный феодализм отличался от западного перераспределительным земледелием (имеется в виду перераспределение сельскохозяйственных земель в крестьянских общинах в России). Вспоминает о повторяющихся паттернах догоняющего развития России по отношению к Западу. Первые два (при Петре I и Александре II) были подражанием плодам западного индивидуализма, третий (при Сталине) состоялся на импорте с Запада набравшей популярность марксистской мысли.

Лал отмечает обращение России в 1990-е гг. к индивидуалистическим и либеральным традициям Запада, но при этом указывает на возрождение старого спора между западниками и славянофилами (линиями Андрея Сахарова и Александра Солженицына) (там же: 118–120).

Поскольку в книгах Лала России уделяется не так много внимания, как Индии и Китаю, то стоит обратиться к написанному им в 2008 г. предисловию к русскому изданию его работы «Возвращение “невидимой руки”» (Лал 2009). В нем он рассуждает уже о «путинской России».

Лал высоко оценивает книгу Егора Гайдара «Гибель империи» (Гайдар 2006), но при этом не разделяет оптимизма Гайдара в отношении будущих перспектив перехода России к демократии по тайваньскому сценарию, о которых пишет российский реформатор. Вариант, согласно которому в результате роста уровня ВВП и развития среднего класса требования политических свобод в России непременно возникнут в будущем, оценивается как возможный, но маловероятный (Лал 2009: 11).

Для него гораздо ближе точка зрения Дмитрия Тренина, высказанная в работе «Понимать Россию правильно» (Trenin 2007). Она заключается в том, что Россией и дальше будет править «царь» и весь вопрос в том, будет ли этот «царь» плох или хорош. Как пишет сам автор «Возвращения

“невидимой руки”», это отвечает и его пониманию космологических представлений о России.

В то же время Лал не разделяет оптимизма Тренина относительно того, что принятие капитализма Россией необратимо (в терминологии Лала — революции в материальных представлениях россиян). История российского успеха зиждется на сырьевой экономике со всеми вытекающими из нее проблемами. Не забывает Лал и демографические беды России. В итоге устойчивость российского экономического «чуда» вызывает у него сомнения (Лал 2009: 11).

Лал предлагает оригинальный способ решения российских проблем («сырьевого проклятия», демографических и даже политических). Он считает, что сдача Сибири «в аренду» Китаю в обмен на долю сырьевых доходов «позволит России в конце концов избавиться от несбыточной “имперской мечты”, порождающей авторитаризм, и стать “органичным” европейским государством, возможно, даже либерально-демократическим» (там же: 12–13).

«России, — как полагает Лал, — необходимо взять на вооружение англосаксонскую модель капитализма. Для этого ей необходимо создание правовой инфраструктуры, обеспечивающей верховенство транспарентного и беспристрастного закона. На Западе она создавалась со времен правовой революции папы Григория VII в XI веке, но в России эта революция не состоялась из-за раскола христианства на католическую и православную церкви» (там же: 13).

Будущее России Лал связывает с «хорошим царем». «Если из-за своих космологических представлений Россия предрасположена к той или иной форме “царизма”, остается лишь надеяться, что вскоре ее возглавит “добрый царь”, который воплотит в жизнь <...> принципы классического экономического либерализма» (там же). Этой надеждой на «русского Пиночета» ограничивается его видение возможностей позитивных перспективных изменений для России.

*Индия.* Вернемся из современной России в давние времена и переместимся на Индостанский полуостров. Кастовая система начала складываться задолго до нашей эры, и в итоге она оказалась чрезвычайно устойчивым социальным образованием, которое остается очень влиятельным рудиментарным институтом и в Индии наших дней.

В условиях политической нестабильности (вражды многочисленных монархий) кастовая система эффективно решала проблемы устойчивого предложения дефицитной относительно земли рабочей силы в сельской

местности на равнинах. Однако в предгорьях Индии имели место как другая организация хозяйства, не требовавшая массового привлечения рабочей силы, так и выросшие из племенной организации древние республики, активно сопротивлявшиеся кастовой системе. Это сопротивление носило не только военный, но и идеологический характер (буддизм и джайнизм были антикастовыми религиозными движениями). Только в IV в. н. э. с падением республики Ликхави кастовая система одерживает окончательную победу на всем полуострове.

Эта система, составлявшая базовую социальную структуру Индии, очень напоминала пчелиный улей или муравейник. Касты складывались на основе взаимодополняющих профессий при наличии узкой специализации<sup>32</sup>. Их члены не делились друг с другом секретами мастерства (кастовый кодекс запрещал такое общение). Издержки остракизма за нарушение данного кодекса превышали все возможные потенциальные выгоды от межкастового арбитража на рынке труда. Поэтому если бы какая-то угнетаемая группа захотела, например, покинуть деревню, то ей не удалось бы это даже просто в силу отсутствия комплементарных навыков. Пришлось бы «вербовать» и членов комплементарных каст, но вряд ли представители каст с более высоким статусом захотели бы перемещаться в неопределенность (Лал 2007: 48). Вертикальная мобильность индивида в такой системе возможна была только в случае продвижения вверх в социальной иерархии касты в целом (Lal 2004b: 132).

Лал выделяет наряду с кастовой системой и сельской общиной<sup>33</sup> третью опору индийской социальной системы: расширенную семью. «Базовой единицей социальной системы была семья, а не индивид»

<sup>32</sup> Общеизвестно деление индийского общества на четыре широкие касты: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшья (торговцы) и шудры (работники и сельское крестьянство). Однако для понимания социальной организации индийского общества и устойчивости кастовой системы гораздо важнее обратить внимание на наличие множества подкаст, в первую очередь внутри последней из широких каст. «Реальной тканью индийского общества было переплетение иерархически организованных подкаст» (Лал 2007: 46–47).

<sup>33</sup> Сельская община в Индии была также чрезвычайно устойчивым образованием. Члены общин не участвовали в множественных политических конфликтах. Это был удел профессиональных воинов — кшатриев. Общины же платили примерно такую же дань победителю, как и ранее побежденному правителю. Можно сказать, что смены правителей если и отражались на их благополучии и образе жизни, то весьма незначительно.

(Ibid.: 50). При этом индийская правовая система была иерархической и холистической.

Материальные представления Индии не способствовали становлению рыночного хозяйства.

Базовый человеческий инстинкт торговать был бы также разрушителен для оседлого земледелия. Торговцы мотивированы инструментальной рациональностью, которая максимизирует экономические преимущества. Это угрожало бы коммунальным связям, которые все аграрные цивилизации пытались пестовать. Неудивительно, что большинство из них смотрело на купцов и рынки как на необходимое зло и стремилось подавлять первых вместе с рынками, являющимися их институциональным воплощением. Материальные представления аграрных цивилизаций, таким образом, не благоприятствовали современному экономическому росту (Ibid.: 138).

Благоприятное влияние империй на благосостояние населения Индостана связывается как раз с тем фактом, что они способствовали торговле. «Основной причиной процветания империй было то, что они обеспечивали порядок и законность на субконтиненте, которые позволяли развиваться торговле на дальние расстояния, а их распад обычно сопровождался упадком торговли и коммерции» (Ibid.: 130). Однако с империями Индии не очень везло: из 23 столетий (начиная с 300 г. до н. э.) на них приходилось лишь 8 (Ibid.).

Индия достигла своего расцвета после объединения под властью династии Маурья в III в. до н. э. и к началу нашей эры была, вероятно, самой богатой и многонаселенной из всех империй. Ее душевой ВВП составлял \$ 551 в пересчете на доллары США по курсу 1990 г. После этого он колебался вокруг этой цифры на протяжении двух тысячелетий (до конца XIX в.) (Лал 2009: 29). «Ловушка равновесия» оказалась очень растянутой во времени.

Модернизация Индии началась исключительно как результат британского влияния.

Вопреки националистической агиографии, я не нашел никакого свидетельства тому, что в средневековой Индии существовали какие-либо локальные перспективы возникновения роста прометеевского типа, якобы заблокированного британским колониализмом. На деле именно под эгидой Британии Индия стала одним из первопроходцев индустриализации в третьем мире. Но из-за старинного предубеждения против торговли и коммерции, а также из-за давнишнего предубеждения брахманов против рынка эти возможности были не реализованы (Лал 2007: 54).

Выделяются два важнейших момента правовой модернизации, принесенной в Индию Великобританией. Во-первых, это разделение судебной и исполнительной функций правительства; оно позволило развиваться демократии, а кроме того, несмотря на коррупцию и проволочки, появилась западная правовая традиция, регулирующая торговлю и договоры. При этом поощрялось и продвигалось британское образование среди подданных. Во-вторых, упор на равенство всех перед законом в британской правовой традиции вел к подрыву тесно взаимосвязанных ценностей иерархии и холизма. Против иерархии были направлены новые правовые нормы, которые полностью игнорировали любые различия, вытекающие из кастовой системы. Против холизма работало признание индивида, вместо семей, подкаст и каст, единственным элементом правовой и административной системы. При всех трудностях и недостатках «правовая инфраструктура прививалась, и это представляет собой полную противоположность другой древней цивилизации — Китаю» (там же: 52).

Что касается космологических представлений индусов, то здесь Лал выделяет две особенности. Первая — это различие власти и статуса (иерархически брахман располагался выше кшатрия); вторая — представление о спасении, которое, в отличие от китайского, всегда было личным. В этом индуистская концепция имела больше общего с западным представлением о спасении, чем с китайским. Однако индивидуализм западного типа в индуизме был немислим<sup>34</sup>.

И наконец, немаловажно взглянуть на особенности процесса социализации в индийском обществе. «Главное отличие процесса социализации (и соответствующего процесса внедрения интернализированной этики) от такого же процесса в семитических религиях состоит в том, что он основан на *стыде*, а не *вине*. Индийское общество всегда было «обществом стыда» и остается таковым» (там же: 58).

<sup>34</sup> Лал здесь цитирует английского антрополога Эрнеста Геллнера, который указывает на невозможность индуистского Робинзона Крузо. «Индуистский Крузо был бы явным противоречием. Ему суждено пожизненное осквернение: если он жрец, то изоляция и вынужденное самообеспечение вынуждают его производить унижающие и оскверняющие его действия. Если он не жрец, он обречен ввиду своей неспособности исполнять обязательные ритуалы» (цит. по: Лал 2007: 58). В этом сравнении, на наш взгляд, максимально наглядно демонстрируется неполноценность каждого индуса в отдельности в качестве автономного индивида. Подобно вырванной из роя пчеле, он представляет недееспособную часть целого и может выжить, только вернувшись в рой.

*Kumai*. Говоря об историческом прошлом Китая, Лал отмечает только один период, когда наблюдался интенсивный рост. Это была эпоха династии Сун (XI в.), и связан он был с аграрной революцией, произошедшей в результате экспансии в южные земли долины Янцзы и развитием новой технологии выращивания риса на затопляемых полях. Затем последовали бедствия, порожденные монгольским нашествием, и между 1400 и 1800 гг. интенсивный рост прекратился. В указанный временной отрезок продолжительностью в 400 лет «рост численности населения был движущей силой умеренного экстенсивного роста при стагнирующем душевом доходе» (Лал 2007: 59).

В Китае, как и в Индии, существовала потребность привязать относительно дефицитную рабочую силу к земле. Такая же проблема, как известно, имела место и в средневековой Европе. Однако сложившаяся в Китае манориальная система принципиально отличалась от европейского аналога. Причину этого отличия Лал видит в политическом устройстве.

В европейской феодальной системе «увязанные друг с другом права и обязанности предоставили определенную степень автономии различным субъектам политической и экономической жизни, что в огромной степени облегчило последующий подъем Запада» (там же: 60). В Китае же, напротив, поддерживалось централизованное имперское единство, так как «у китайского государства было достаточно собственных ресурсов для обеспечения централизованной обороны» (там же).

Лал, как и все исследователи Китая, пытается объяснить парадокс, который на Западе назван «проблемой Нидхэма» (по имени известного китаеведа). Дело в том, что в эпоху династии Сун в Китае имелись все необходимые компоненты для старта промышленной революции, которая произошла на Западе восемь веков спустя. Наиболее убедительное объяснение этого парадокса Лал находит в работах исследователей, связывающих его с созданием конфуцианского чиновничества — мандаринов. Именно на них была возложена ответственность за реализацию официальной доктрины, гласящей, что император «должен рассматривать Империю, как если бы она образовывала одно домохозяйство» (там же: 63). В то же время и «большинство китайцев полагало, что накопление огромного частного богатства от торговли и промышленности глубоко аморально» (там же), и в результате официальная идеология и народная психология «одновременно действовали в направлении укрепления преимуществ, которые чиновники имели в любом столкновении всего лишь с богатыми людьми» (там же).

Лал называет это формой «хищнического партнерства между правительством и бизнесом», применяет к эпохе династии Сун современный термин «клановый капитализм» (*crony capitalism*). При этом он отмечает, что тогдашняя неудача в обуздании «хищнических рентоориентированных инстинктов государства» оставляет место для сомнений относительно достаточности сегодняшних изменений с тем, чтобы предотвратить повторение подобного исторического цикла (там же).

Тремя чертами китайской цивилизации Лал называет оптимизм, примат семьи, бюрократический авторитаризм. Институциональным базисом социализации являлась семья. «Для китайцев семья тысячелетиями была единственным институтом, заслуживающим доверия» (там же: 67), при этом семья патриархальная, состоящая из представителей разных поколений, связанных не только родственными узами, но и оказанием взаимных услуг.

По всей видимости, китайское общество — действительно одно из самых «государственнических» (этатистских) на Земле. Лал ссылается на утверждение одного из исследователей Китая о том, что не просто китайское государство, а само понятие «китаец» есть творение бюрократии. Различное по этническому составу население было объединено как «хань» через изобретенный бюрократией иероглифический способ написания имен (там же: 65).

Китайская цивилизация знала, в сущности, одного бога — государство. «Религия китайских правящих классов — китайское государство» (там же). В нем «бюрократия достигала каждого села, мобилизуя людей на принудительный труд и военную службу, управляя гулаговской экономикой с работниками, находящимися постоянно или временно в положении государственного раба» (там же: 247, примеч.). Неудивительно, что в таком социуме торговый класс «не имел ни престижа, ни какой-либо правовой автономии, которые могли бы привести к возникновению капитализма» (там же: 246–247, примеч.).

Неоднозначно влияние конфуцианства на восприятие рынка китайским обществом. Существует мнение, что оно выступало только против нечестного богатства, добытого несправедным путем. Однако «коммунистическая партия перевела это конфуцианское презрение к парвеню в установку, направленную против рынков и торговцев» (там же: 67). И в целом отмечается историческая преемственность государственности в Китае, где «коммунистическое государство во многом является переосмысленной бюрократической монархией» (там же: 68).

*Индия и Китай: на путях модернизации.* У этих двух великих держав определенно есть общее. ««Вскрытые» западным оружием, эти гордые цивилизации с тех пор стараются поправить нанесенный их самолюбию ущерб, пытаясь обрести паритет военной мощи, чтобы предотвратить любые будущие унижения» (Лал 2007: 151).

Лал выделяет три пути, по которым может пойти реакция на столкновение с западной цивилизацией (Лал 2009: 242–243). Первый означает принятие материальных представлений Запада, без заимствования западных космологических представлений. Он ассоциируется прежде всего с Японией (революция Мэйдзи). Второй — «замыкание в себе» из опасения, что модернизация подорвет традиции. В современном мире он наиболее ярко представлен исламским фундаментализмом; в Индии же его отстаивал Махатма Ганди с последователями, а до недавнего времени и индуистская националистическая «Бхаратия джаната парти» предпочитала этот вариант. Третий путь связан с поисками «золотой середины» между традициями и современностью. В данном случае речь идет о той или иной форме социализма. Этот путь стал характерным для Индии и Китая.

Однако социализм социализму рознь. В основу экономической политики Индии легли фабианские социалистические воззрения. В эпоху Джавахарлала Неру была создана «дирижистская планово-командная система» (там же: 244). В Китае же социализм советского типа (коммунизм) породил «еще более экстремальный, по сравнению с индийским, вариант стратегии модернизации — интровертной, основанной на развитии тяжелой промышленности» (там же: 246). В Индии, в отличие от Китая, не было коллективизации, крестьянских коммун (хотя сельское хозяйство и в Индии во имя индустриализации дискриминировалось в плане налогообложения) и не проводилась политика «большого скачка», приведшая Китай к настоящей катастрофе.

При этом обе страны следовали автаркической торговой политике. В результате все в большей степени обрубалась взаимосвязь между внутренними и мировыми относительными ценами. Это пагубно сказалось на эффективности и производительности, показатели двух экономик существенно отставали от их потенциала. Однако в обеих странах автаркические плановые хозяйственные системы отвечали «атавистическим культурным установкам» (Лал 2007: 161).

Что вызвало отказ от следования этим установкам? Что заставило пойти по пути реальных и глубоких реформ? Только ли провалы экономической политики? Ссылаясь на последние, Лал не дает иных объяснений.



Впрочем, из описанных им особенностей китайской космологии следует, что обожествление государства не распространяется на конкретную династию в случае серьезных неудач правления. Она утрачивает «мандат неба», и замена ее на новую выглядит вполне оправданно в глазах общественного мнения. Так что передача «мандата неба» реформаторам после губительных экспериментов Мао Цзэдуна вряд ли сильно выбивается из китайской традиции.

Что же касается Индии, то здесь Лал отмечает три обстоятельства, подтолкнувшие ее отход от дирижизма. Во-первых, острый валютный кризис середины 1960-х гг., который заставил индийских экономистов по-иному оценить ее ориентацию на собственные силы. Во-вторых, реакция на неоклассическое возрождение в 1970-е гг., которое поставило под сомнение интеллектуальную базу так называемой экономики развития. В-третьих, наиболее важным Лал считает тот демонстрационный эффект, который для Индии имели реформы Дэн Сяопина — переход Китая от плана к рынку (Lal 2008: 14)<sup>35</sup>.

В процессе реформ Индия и Китай сталкиваются во многом со сходными проблемами. Правда, решаются они по-разному. В Китае получившие образование на Западе «новые мандарины» ищут способы демонтировать остатки прошлого — убыточные государственные предприятия. В Индии политики далеко не столь решительны; многие из них до сих пор привержены дирижистской политике и блокируют решения о приватизации.

Впрочем, возможно, это объясняется тем, что в Китае последствия перекачки средств в неэффективный госсектор могут оказаться гораздо хуже. Лал приводит в качестве иллюстрации следующие цифры: уровень накоплений в Китае примерно вдвое превышал индийский, а разрыв между темпами экономического роста в пользу Китая был не так велик. Дело в том, что 90% накоплений китайцы держат в госбанках, которые, в свою очередь, передают их в виде политически

<sup>35</sup> Вполне вероятно, что этот «демонстрационный эффект» китайской истории успеха продолжает играть для Индии и сегодня немаловажную роль. В докладе «Китай 2030» констатируется, что в последние три декады китайская экономика росла в среднем на 10% в год, 500 млн человек за это время были избавлены от нищеты. Являясь в настоящее время второй после США экономикой мира, Китай занимает первое место в мире по доле в мировой торговле и промышленному производству (China-2030 2012: XV).

мотивированных кредитов низкоприбыльным и убыточным госпредприятиям<sup>36</sup>. Для Китая избавление от растрат инвестиций крайне актуально, так как вследствие политики «одна семья — один ребенок» страна столкнется со старением населения (к 2040 г. соотношение между работающими и пенсионерами будет 2 : 1, а не 6 : 1, как в начале века) и поток сбережений неизбежно станет сокращаться<sup>37</sup>.

В Индии же, напротив, демографических ограничений еще долго не предвидится, общая норма внутренних накоплений может значительно

<sup>36</sup> В докладе «Китай 2030» также отмечается низкая эффективность госпредприятий: «... предприятия в государственной собственности потребляют большую долю капитала, сырья и полуфабрикатов для создания сравнительно небольшой доли валового выпуска и добавленной стоимости» (China-2030 2012: 25). Вместе с тем «прочные прямые связи между государством и закрепившимися госпредприятиями, особенно крупными, ограничивают вход и доступ к ресурсам для частных фирм, препятствуют эффективному использованию и размещению ресурсов и душат предпринимательство и инновации» (Ibid.: 112). В докладе говорится, что в рамках реформы, нацеленной на структурные изменения, «доля госпредприятий в промышленном производстве должна снизиться с текущих 27% (в 2010 г.) до примерно 10% в 2030 г.» (Ibid.: 110). Это подтверждает слова Лала о «новых мандаринах».

<sup>37</sup> Авторы доклада «Китай 2030» также обращают внимание на эту проблему: «Китаю предстоит пройти через мучительное демографическое изменение: доля зависимого пожилого населения удвоится в ближайшие два десятилетия, достигнув нынешнего уровня Норвегии и Нидерландов к 2030 г. (между 22 и 23 процентами), а численность рабочей силы в Китае начнет сокращаться уже с 2015 года» (China-2030 2012: 8). В то же время, вопреки Лалу, они не связывают этот демографический сценарий с падением нормы сбережений: «Высокие нормы сбережений страны позволяют заменять капитальные активы сравнительно быстро, и это будет способствовать быстрому сокращению технологического разрыва» (Ibid.: 10). За счет технологических прорывов и инноваций станет расти и общая факторная производительность, которая, как легко догадаться, по мысли авторов доклада, должна компенсировать негативные последствия предстоящего демографического провала. И хотя годовые темпы экономического роста снизятся до 6–7% в предстоящие два десятилетия (и 5% в 2026–2030 гг.), это будет экономический рост нового качества (Ibid.: 8, 11). Инновационный путь развития видится единственной альтернативой стагнации, которую порождает «ловушка среднего дохода» (Gill, Kharas et al. 2007). «Рост производительности от секторального перераспределения и сокращения технологического разрыва со временем исчерпывается, в то время как растущие зарплатные делают трудоемкий экспорт менее конкурентоспособным на мировом рынке. Если страны не в состоянии увеличить производительность через инновации (а не продолжать полагаться на зарубежные технологии), они оказываются в ловушке» (China-2030 2012: 12).

вырасти в течение ближайших двух десятилетий<sup>38</sup>, и высока вероятность того, что в соревновании по темпам экономического роста индийская «черепаха» обгонит китайского «зайца» (Лал 2009: 253)<sup>39</sup>.

Интересный вывод, который делается из сравнения Индии и Китая, заключается в том, что «в обеих странах движущей силой роста стали отрасли, которым государство не уделяло внимания, расценивая их как второстепенные, — малые предприятия в сельской местности в Китае и сектор информационно-технических услуг в Индии» (Лал 2009: 253–254). В статье с характерным названием «Индийское экономическое чудо?» приводятся примеры того, как частный сектор успешно захватывал многие услуги, которые должен был бы предоставлять общественный сектор, но не делал этого (или делал неудовлетворительно) в силу своего отвратительного состояния (Lal 2008: 29–30).

<sup>38</sup> Поскольку Индия только начинает свой демографический переход, то можно предвидеть изобилие частных сбережений вплоть до стабилизации населения, согласно прогнозу ООН, на уровне 1,6 млрд человек в 2045 г., после чего начнется его старение. Ожидается, что доля работоспособного населения в возрасте 15–64 лет вырастет с 62,9% в 2006 г. до 68,1% в 2026 г. При том, что в 2010 г. общая норма фертильности достигнет величины 2,1, обеспечивающей простое воспроизводство населения, все население будет увеличиваться вплоть до 2045 г. В течение этих трех десятилетий демографического перехода норма сбережений в Индии должна вырасти. Норма частных сбережений вполне может увеличиться более чем до 30% к 2030 г. Если общественный сектор не будет делать отрицательные сбережения, а корпоративные сбережения останутся на текущем уровне, равном 8%, то общие внутренние сбережения Индии вполне могут быть на уровне 38–40% в ближайшие два десятилетия. Таким образом, ясно, что Индия не столкнется с какими-либо ограничениями сбережений в ближайшем будущем (Lal 2008: 26).

<sup>39</sup> Это, на наш взгляд, не исключено, так как Индия (в отличие от Китая) еще очень далека от «ловушки среднего дохода». Среднедушевой ВВП Индии в 2010 г. в постоянных долларах 2000 г. равнялся \$ 790, тогда как китайский был в 3 раза выше — \$ 2396 (Ward 2011: 3). В этой связи можно вспомнить замечательную догадку Хайека: «Если прибыль можно получить быстро и легко, а экономика в целом показывает быстрый рост, то это значит, что многое в данной экономике оставляет желать лучшего, а стало быть, экономика находится в плохой форме и очевидные возможности будут скоро исчерпаны. Отсюда, между прочим, следует, насколько абсурдно судить о состоянии экономики по темпам роста; темпы роста говорят больше об упущениях прошлого, нежели о достижениях настоящего. Слаборазвитой стране во многих отношениях легче быстро наращивать производство, коль скоро для этого обеспечены некоторые совершенно необходимые структурные условия» (Хайек 2006: 594, примеч.).

В итоге Лал констатирует, что «самым потрясающим явлением последних десятилетий прошлого века стал отказ двух крупных евразийских цивилизаций — индийской и китайской — от социалистического пути и выход на дорогу, которую проложила Япония» (Лал 2009: 254). При этом в перспективе он ожидает от Индии четвертого экономического чуда (после японского 1960-х гг., корейского 1970-х и китайского 1990-х гг.) из тех, что наблюдал на своем веку<sup>40</sup>. Иначе говоря, речь идет о перспективе замены китайского экономического чуда на индийское в ближайшие десятилетия<sup>41</sup>.

Однако при этом Лал не утрачивает чувство реальности и четко видит пороки современной индийской экономики. Прорыв, о котором он пишет, вовсе не гарантирован. Обращая внимание на новые формы поиска ренты после либерализации 1991 г. и поползновения создать государство благосостояния, он предупреждает, что страна «может обнаружить, подобно Аргентине в начале XX столетия, что ее, казалось бы, безостановочный экономический рост, бросавший вызов США или Китаю, обратился в прах» (Lal 2011: 11).

*Дальний Восток.* В случае Кореи, Гонконга, Тайваня и Сингапура Лал ссылается на исследования, которые убедительно демонстрируют, что ничего загадочного в их быстром развитии нет. «Эти чудеса вполне объясняются в конвенциональных экономических терминах: они появились благодаря очень высоким нормам сбережений и эффективным инвестициям, наиболее важным направлением которых стало использование возможностей международного разделения труда посредством международной торговли» (Лал 2007: 163).

<sup>40</sup> Индия в состоянии обеспечивать темпы роста около 10% в год, что при ежегодном приросте населения на 1–1,5% приведет к росту душевого дохода примерно в 8,5–9% в год на протяжении следующих двух десятилетий (Lal 2008: 31).

<sup>41</sup> Такую точку зрения могут поддерживать реальные успехи, которых Индия добилась после 1991 г. Ее средние темпы роста постоянно ускорялись (1950–1980 гг. — 3,5%, 1980–1992 гг. — 5,5%, 1992–2003 гг. — 6,0%, 2003–2010 гг. — 8,5%), за два десятилетия среднедушевые доходы выросли с 300 до 1700 долларов США, число живущих за чертой бедности снизилось с 45,3% в 1994-м финансовом году до 32% в 2010-м финансовом году, а уровень грамотности населения вырос за два десятилетия с 52,2% до 74%. Экспорт компьютерных софт-продуктов составляет 2% ВВП, и бурно развивается «экономный инжиниринг» — когда товары производятся на 50–90% (!) дешевле, чем их западные аналоги (Aiyar 2011: 1, 5).

Дирижизм в Корее, как и на Тайване, Лал объясняет необходимостью решения агентской проблемы по мере роста капитализации фирм. Если небольшими предприятиями может управлять собственник, то в крупной акционерной фирме возникает конфликт интересов между акционерами и управляющими. Корейцы, например, решали эту проблему за счет стимулирования создания чеболей и определения победителей посредством показателей экспорта, которые служили своеобразным внешним контролером качества работы управляющих<sup>42</sup>. Сингапур полагался на прямые иностранные инвестиции, Тайвань — на государственный сектор. Однако наилучших показателей эффективности инвестиций достиг Гонконг, который отдал формирование структуры своей экономики целиком на откуп рыночным силам (там же: 164–165).

Япония, как отмечает Лал, также добилась в свое время успеха скорее вопреки, чем благодаря Министерству внешней торговли и промышленности. Постоянная конкуренция за внешние рынки определила эффективность инвестирования значительной части сбережений. Для объяснения японского «экономического чуда» также достаточно стандартной экономической теории (там же: 175).

Однако какова роль космологических представлений в этих историях успехов? Здесь Лал обращает внимание на китайскую модель семьи. Китайские семьи всегда были предприимчивы, но их инициативу подавляло хищническое государство. Успех китайских семейных предприятий связан и с изменениями в способе производства во многих отраслях, выпускающих потребительские товары. «Фордизм» как массовое изготовление стандартизированных товаров все менее удовлетворяет вкусам потребителей. Все большее место занимают «дизайнерские» предметы потребления. И тут китайское семейное предприятие оказалось наиболее подходящим для них. «Для “дизайнерских” товаров экономия на масштабе имеет меньшее значение, чем для старых оплотов фордистского консьюмеризма, так что предприятия мелкого масштаба, которые могут гибко реагировать на сдвиги во вкусах (дизайне), не только не находятся в невыгодном положении, но, похоже, обладают сравнительными преимуществами по сравнению с более традиционными и бюрократически организованными фирмами» (там же: 167).

Есть и другие сферы, где космологические представления о семейной жизни сыграли свою положительную роль. Древнее почитание семьи

<sup>42</sup> Поддержка экспорта продукции обрабатывающей промышленности — наименее селективная форма вмешательства.

в китайской культуре может «объяснить широко распространенное существование того самого “отложенного удовлетворения”, которое привело к невероятно высокой норме сбережений (и таким образом инвестиций) в этих странах» (там же: 168)<sup>43</sup>. Аналогичный аргумент, как пишет Лал, можно применить и к Индии (там же)<sup>44</sup>.

Прочность семейных уз объясняет и то, что на них строится система социальной защиты. Это позволяет не копировать Запад с его государствами всеобщего благосостояния<sup>45</sup>. В результате доля государственных расходов в ВВП (так называемое бремя государства) значительно ниже, чем в европейских странах и США<sup>46</sup>, что дает больший простор для развития частного сектора.

Что же касается Японии, то здесь для начала можно обратить внимание на радикальное различие между реакциями ее элит и китайских на вторжение Запада<sup>47</sup>. Однако и реформаторы эры Мэйдзи противостояли импорту «западных ценностей». Одна из их задач «состояла в том, чтобы сделать прививку любознательному японскому разуму от потенциально

<sup>43</sup> «Чем в большей степени династические семейные интересы управляют индивидуальным выбором, тем ниже будет частный уровень временных предпочтений и, следовательно, выше доля сбережений» (Лал 2007: 168).

<sup>44</sup> В Китае в 2007–2010 гг. суммарные сбережения составляли в среднем около 53% ВВП, в Индии — 34,5%, тогда как в США — 11,5%, Германии — 24,5% (рассчитано по: World Development Indicators).

<sup>45</sup> Тут вполне уместно обратиться к мемуарам создателя «сингапурского чуда» Ли Куан Ю. «Мы предоставляем <...> людям помощь, но лишь в том случае, если никакого другого выхода у них нет. Такой подход представляет собой полную противоположность социальной политике западных стран, в которых либералы активно поощряют обращаться людей за социальной помощью безо всякого чувства стыда, что приводит к огромному росту затрат на социальное обеспечение» (Ли Куан Ю 2005: 104). Характерно, что он говорит о «чувстве стыда», которое, как мы уже знаем, является главным инструментом социализации в восточных культурах. Кроме того, согласно конфуцианской этике, получать незаработанное — стыдно.

<sup>46</sup> В 2007–2010 гг. среднее отношение государственных расходов к ВВП в США равнялось 40,3%, в Германии — 45,6%, тогда как в Китае — 21,2%, Индии — 26,3% (рассчитано по: World Economic Outlook Database).

<sup>47</sup> «Китайская бюрократия обучалась по книгам китайских классиков и имела практические знания в поэзии и литературе. Напротив, японская бюрократия интересовалась вооружениями и, следовательно, наукой и техникой. Хотя обе страны были конфуцианскими, китайские бюрократы невозмутимо противостояли западной науке. Японские же, от бакуфу при Токугава до реформаторов эпохи Мэйдзи, были полны энтузиазма по поводу овладения западной наукой» (Лал 2007: 171).

подрывных иностранных идей, таких как индивидуализм, либерализм и демократия» (там же: 173). В качестве новой национальной идентичности была изобретена идеология «семейного государства».

Лал полагает, что, несмотря на все послевоенные изменения и обретение материального богатства, цементирующие общество важнейшие аспекты социальной жизни не были разрушены. Процесс социализации до сих пор определяется стыдом, японская концепция «я» исключает душу; семейные ценности, несмотря на серьезные изменения в положении семей, сохраняют традиционные паттерны, что, в частности, проявляется в значительно меньшем, чем на Западе, распространении разводов, меньшем проценте семей с матерями-одиночками и меньшей долей пожилых людей, находящихся в домах престарелых (там же: 175, 177–179).

В то же время в Японии, в отличие от других иерархических обществ и собственного прошлого, иерархический статус не наследуется и не присваивается, а приобретает чаще всего через жесткое меритократическое соперничество за получение образования. «Тем самым японцы смогли приспособиться к нуждам модернизации без вестернизации своего “я”» (там же: 178).

*Исламский мир: многовековой застой.* Лал отмечает интенсивный рост смитовского типа и развитие науки в эпоху династии Аббасидов<sup>48</sup>. В то же время он подчеркивает, что этот научный расцвет был вторичным, так как исламский мир лишь выступал в роли посредника в передаче идей и методов от ранних древних цивилизаций Греции, Индии и Китая. Рост же смитовского типа подпитывался обильным притоком драгоценных металлов, главным образом золота, добываемого отчасти в качестве военных трофеев, отчасти через неэквивалентную торговлю с африканскими племенами. При этом сколько-нибудь существенного повышения производительности земледелия не наблюдалось. Начиная с XII столетия и позже рост был в лучшем случае экстенсивным (Лал 2007: 74–75).

«После неудачной осады Вены в 1683 г. дальнейшая история ислама стала историей поражения и унижения, претерпеваемых от рук Запада» (там же: 73). Согласно Лалу, поражения в противостоянии с Западом породили три типа реакции. Во-первых, фаталистическую (перемена

<sup>48</sup> Вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750–1258), происшедшая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, дяди пророка Мухаммеда.

воли Аллаха). Во-вторых, похожую на ту, что имела место у Японии и Китая: создать техническую базу, позволяющую противостоять Западу в военной области. В-третьих, очистить ислам от искажений (вернуться к исконному, «чистому» исламу) и тем самым вернуть расположение Аллаха (там же).

Очевидно, что первая и особенно третья реакция<sup>49</sup> не оставляют никаких надежд на модернизацию. Идея «очищения» ислама принадлежит не только далекому прошлому. Теократическая революция Хомейни в Иране была именно реакцией такого рода. Дело в том, что ислам на протяжении истории сталкивается с конфликтом между научной и религиозной истиной: обратиться к науке можно, лишь отринув буквальную трактовку религиозных текстов. Различие в этом вопросе с христианством определяется исламской космологией: она не допускает свободы человеческой воли (не дает отделить «богово» от «кесарева»), настаивает на всемогуществе бога, полностью поглощающем человеческую волю. Отсюда — как постоянные попытки объединить государство и церковь, с одной стороны, так и нормативный кодекс всех человеческих действий (шариат) — с другой.

Однако шариат не благоприятствовал развитию. Как замечает Лал, за его пределами лежат многие важные области права. Исламское же государство, будучи обществом завоевателей, обладало очень простым конституционным основанием. Земля объявлялась собственностью суверена по праву завоевания, и «начиная с Омейядов и Аббасидов, вплоть до Османов в Турции и Сафавидов в Персии, монополия государства на землю стала традиционным юридическим канонем исламских политических систем» (там же: 83). Кроме того, в шариате отсутствует лежащее в основе западного капитализма понятие римского права о юридическом лице. «Трудно избежать вывода, — пишет Лал, — что исламская правовая система не способствовала экономическому развитию» (там же: 84).

Исламский мир полностью проиграл Европе и по причине в высшей степени хищнического характера государства, который никак не гарантировал частную собственность (там же: 76). Связан этот его характер с космологическими представлениями ислама или нет — вопрос дискуссионный. Однако, как бы то ни было, очевидно, что «капитализм как экономическая система возник, когда купец и предприниматель получили достойный социальный статус и защиту от хищнических устремлений государства» (Лал 2009: 20).

<sup>49</sup> «Путь улитки», по меткому выражению Лала (Лал 2010: 147).



Ссылаясь на примеры постататюрковской Турции, Индонезии и Малайзии, Лал утверждает, что «вовсе не исламские верования сами по себе препятствуют развитию, а недееспособный этатизм и дирижизм, отказ от которых <...> вызвал интенсивный рост прорывного типа» (там же: 87). Подобные высказывания характерны и для других исследователей: «...ислам, как и всякая религия, определяется не тем, что говорится о нем в книгах, а тем, каким делают его люди» (Закария 2004: 131).

Попытка разрешить эту дилемму (ислам и препятствует, и не препятствует развитию) заставляет уходить в популярную сегодня теорию «ресурсного проклятия». Тот же Фарид Закария пытается сузить проблему до проблемы арабского мира, Ближнего Востока<sup>50</sup>, а ее, в свою очередь, до «ресурсного проклятия»<sup>51</sup>. Большое значение «ресурсному проклятию» придает и Лал<sup>52</sup>. Однако это, на наш взгляд, не избавляет от необходимости оценки роли исламской космологии в экономическом развитии.

Из приведенных примеров сравнительно успешно развивающихся исламских стран уже видно, что они наименее исламизированные. Однако даже и в них наблюдается мусульманская реакция. Это признает и сам Лал: «Издавна существующее мусульманское стремление объединить государство и церковь никоим образом не мертво» (Лал 2007: 87).

Со временем позиция Лала в отношении исламского мира несколько ужесточилась (напомним, что книга «Непреднамеренные последствия» вышла в 1998 г., до известной вспышки исламского фундаментализма в 2001 г.). Особенно заметно это проявляется в книге «Похвала империи» (издана в США в 2004 г.). «В конечном итоге, — пишет он, — именно сам ислам является корнем проблем, не дающих мусульманскому миру приспособиться к современности (курсив мой. — А. З.)» (Лал 2010: 154).

<sup>50</sup> «Реальная проблема относится не к мусульманскому миру, а к Ближнему Востоку» (Закария 2004: 132).

<sup>51</sup> «Режимы, обогащающие благодаря природным ресурсам, имеют тенденцию не развиваться, не модернизироваться и не легитимизироваться. Арабский мир является самым убедительным подтверждением теории о государствах-паразитах» (там же: 145).

<sup>52</sup> «Главной детерминантой экономической политики, влияющей на эффективность инвестиций и темпов роста, является не столько государственный строй, сколько стартовая ситуация в плане наделенности ресурсами — в особенности наличие или отсутствие сырьевых богатств. По сути, это связано с неизбежной политизацией сырьевой ренты, оказывающей негативное воздействие на показатели роста» (Лал 2009: 337). Подробнее Лал развил эту тему в совместной с Хла Мюинтом работе (Lal, Myint 1996).

В качестве причины этого исследователь более определенно указывает на исламскую космологию, в которой в принципе невозможно отделить духовное от светского: «...в отличие от христианства, где духовная и светская власть могут быть разделены, в исламе такое разделение отсутствует, потому что вся жизнь, включая политику и управление государством, регулируется религиозным законом» (там же: 148).

В 2004 г. Лал обращается и к такому аспекту исламской космологии, как джихад, который он ранее не затрагивал. Хотя, конечно, говоря о традициях общества завоевателей, Лал не проходил мимо того, что идеологическим стимулом завоеваний, создания мировой империи (Арабского халифата) было стремление распространить учение пророка на весь мир. И сегодня священная война против Запада вытекает из известных особенностей ислама. «Ислам считает себя религией мира. Но это мир на условии признания исламской идеи Бога» (там же: 158).

Во всех евразийских цивилизациях выражено неприятие европейской космологии в области семейных и сексуальных отношений<sup>53</sup>. В исламе же оно проявляется особо отчетливо<sup>54</sup>. «Сердцевиной исламистского бешенства является как раз страх перед тем, что модернизация связана с вестернизацией, особенно в частной сфере — в том, что касается семейных и сексуальных нравов и обычаев» (там же: 173). Эту ситуацию, согласно Лалу, удастся преодолеть, «когда мусульмане Ближнего Востока, подобно всем великим евразийским цивилизациям, присоединятся к движению глобализации, поняв, что предполагаемая тем самым модернизация не требует вестернизации и потери собственной души» (там же: 167).

В 1998 г. Лал, рассматривая шансы исламского мира на модернизацию, возлагал надежду и на исламский вариант реформации под влиянием глобализации, которая была задавлена в раннем исламе в результате борьбы с движением мутазилитов (VIII–IX вв.). Они, подобно

<sup>53</sup> В основе этого, как справедливо замечает Лал, изначально лежали не какие-то моральные или религиозные соображения, а чистый прагматизм. «Оседлое сельское хозяйство требовало стабильных семей. При постоянной текучести состава семьи невозможно было бы существование стабильных домохозяйств на определенных участках земли» (Лал 2010: 156).

<sup>54</sup> Вероятно, это связано с той стороной исламской космологии, на которую Лал обратил внимание еще в 1998 г. Тезис шариата о том, что каждый ответствен за свои действия лишь перед Богом, означает, что общество не признает никаких групповых интересов, кроме основанных на родстве. В результате «семья стала единственной социальной структурой, которая пользуется божественным и, следовательно, юридическим признанием» (Лал 2007: 83).

христианам, отстаивали свободу человеческой воли и позволяли иджити-хад (интерпретацию) религиозных догматов, который мог бы уничтожить содержащиеся в них препятствия к экономическому развитию (например, взиманию процентов) (Лал 2007: 87–88).

Однако до сих пор исламская реформация является нереализованным проектом. В реальности мы скорее наблюдаем обратное — многочисленные попытки встать на «путь улитки» и обрести «истинный» ислам. И, по всей видимости, далеко не случайно, что в списке из 13 стран, сумевших начиная с 1960 г. преодолеть «ловушку среднего дохода», нет ни одной мусульманской страны (China-2030 2012: 12)<sup>55</sup>.

### 3.5 ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИРОВОЙ И ИМПЕРСКИЙ ПОРЯДОК

Вернемся на Запад. Вторая папская революция не быстро завершилась триумфом. Для него потребовалось почти 800 лет. Однако когда он состоялся, то это означало, что модернизация (так, как ее трактует Лал) впервые осуществилась: в материальные представления влились идеалы свободной рыночной экономики. Правда, в полной мере это произошло лишь в одной стране мира, которая стала основателем и лидером либерального экономического мирового порядка (ЛЭМП).

*ЛЭМП № 1.* Мир свободного рынка и свободной торговли на протяжении значительной части XIX в. олицетворяла Великобритания. Лал видит истоки рыночных реформ того времени не столько в идеях Адама Смита, сколько в экономическом крахе политики меркантилизма<sup>56</sup>. Сам ЛЭМП окончательно сформировался под эгидой Великобритании после 1846 г. (с отменой «хлебных законов»).

ЛЭМП № 1 опирался на несколько столпов (Лал 2010: 178–179).

Во-первых, на свободу торговли. Идея фритредерства в то время не считалась ни с какими таможенными барьерами в других странах.

<sup>55</sup> Естественно, что арабские нефтеэкспортеры не рассматриваются в качестве таковых, поскольку одного формального признака типа среднедушевого ВВП недостаточно.

<sup>56</sup> «Эпоха реформ в XIX веке была обусловлена не столько теорией Адама Смита, сколько стремлением государств восстановить налоговую базу, разрушенную из-за непредвиденных последствий меркантилистской политики» (Лал 2009: 45).

Великобритания осуществляла либерализацию торговли в одностороннем порядке. Поскольку «торговые ограничения негативно отражаются лишь на благосостоянии той страны, что проводит протекционистскую политику, и было бы неразумно отказываться от роста собственного благосостояния только потому, что так поступают другие» (Лал 2009: 50).

Во-вторых, это *laissez-faire*. Здесь Лал приводит предложенное известным британском философом Майклом Оукшоттом деление государств на два типа: государство как гражданскую ассоциацию и государство как ассоциацию-предприятие (Oakshott 1993). Великобритания в середине XIX в. была, пожалуй, самым чистым в реальной истории воплощением первого<sup>57</sup>. Государство было нацелено на поддержание мира, законности и порядка и почти не вмешивалось в хозяйственную жизнь<sup>58</sup>.

В-третьих, это золотой стандарт, который автоматически выравнивал дисбалансы в мировой торговле и обеспечивал наилучшие условия для международного движения капитала<sup>59</sup>. Можно сказать, что именно золотой стандарт «несет ответственность» за то, что мы сегодня называем глобализацией.

В-четвертых, мобильность труда. Британский ЛЭМП обеспечивал свободу международного перемещения трудовых ресурсов. Очевидно, что для современной глобализации свободный всемирный рынок труда немислим.

<sup>57</sup> «Концепция гражданской ассоциации отводит государству роль гаранта соблюдения законов, который не стремится навязать людям некий набор задач (в том числе абстракций вроде «социального обеспечения» или основополагающих «прав»), но лишь обеспечивает им возможность преследовать собственные цели» (Лал 2009: 66).

<sup>58</sup> «Огромный экономический динамизм частной экономики в Великобритании породил массовое требование перехода к компактному государству и дешевому правительству. Радикалы из среднего и рабочего классов поддерживали эту политическую программу, поскольку видели в ней путь к ограничению влияния аристократов, государственного долга и «старой коррупции», позволявшей тратить деньги налогоплательщиков в интересах политически влиятельных кругов» (Лал 2010: 99).

<sup>59</sup> В книге, вышедшей в США в 2002 г., американский экономист Бринк Линдси писал о том, что достигнутый в начале XX в. рекордный объем международных потоков капитала относительно совокупного объема производства не перекрыт и по сей день. В то время ежегодный экспорт капитала из Великобритании составлял 9% ВВП, тогда как в 1980-е гг. профицит текущего баланса Японии и Германии ни разу не превысил 5% ВВП (Линдси 2006: 104).

В-пятых, международные права собственности. Лал полагает, что самым важным элементом ЛЭМП № 1 являлась международная система защиты прав собственности. Она строилась на торговых договорах, заключенных европейскими странами в середине XIX в. (Лал 2010: 179).

*Империи и Pax Britannica.* Описанный выше экономический порядок нуждался в том, чтобы какая-то сила была его гарантом. Таковой стала Британская империя. Однако прежде чем вслед за Лалом выделить некоторые ее особенности, необходимо хотя бы очень кратко пройти по его теории империй.

Выше отмечалось, что империи приносят такое общественное благо, как мир. Соединяя территории в единое экономическое пространство, они способствуют процветанию. Оно во многом обусловлено тем, что империи производили и такое общественное благо, как коммуникации. Еще одним имперским общественным благом является лингва франка — «общий язык ведения дел как внутри имперской бюрократии, так и между ней и ее подданными» (там же: 79).

Лал классифицирует империи, во-первых, на мультикультурные и гомогенизирующие, во-вторых, на империи, представленные государством как гражданской ассоциацией и государствами как предприятиями. Примером мультикультурной империи может служить Австро-Венгрия, гомогенизирующей — Китайская империя. Что касается второй классификации, то государством-ассоциацией Лал числит, например, Римскую империю, а воплощением государства-предприятия является «Российская империя при Ленине и его преемниках» (там же: 86–87).

Почему обычно империи отождествляются со злом? В категорию «зла» попадают империи, организованные как государства-предприятия. «Похоже, что империи, которые обычно считаются злом, относятся как раз к числу тех, которые разделяли взгляд на государство как на предприятие и стремились служить некоему идеалу, выходящему за рамки идеи поддержания порядка» (там же: 87).

Лал различает империю и гегемонию. В первом случае речь идет о стремлении контролировать как внешнюю, так и внутреннюю политику. Во втором — только внешнюю. Естественно, что «империи, стремящиеся контролировать и внешнюю, и внутреннюю политику других государств, являются предприятием более затратным, чем гегемония» (там же: 41). В то же время, если издержки на интеграцию империи высоки, то выбор может быть сделан в пользу имперского непрямого правления (Афины в Древнем мире).

Большая часть населения Земли жила в империях, а анархичная система европейских государств, возникшая после распада Римской империи, была скорее исключением, чем правилом.

Империям угрожают фискальные кризисы. «Самой распространенной причиной падения империй является рост фискальных поборов, которые, порождая сопротивление, уклонение и бегство от налогов, ведут к хроническому бюджетному кризису, итоговым результатом которого оказывается крах военной и бюрократической инфраструктуры империи и обеспечения порядка» (там же: 89).

Британская империя попадает в разряд империй, представленных государством как гражданской ассоциацией, и, разумеется, империй мультикультурных. Она предпочитала не прямое правление<sup>60</sup>. Лал пишет об «экспорте джентльменского кодекса» (там же: 98), который осуществляла империя. В частности, это подготовка местных управленческих элит. Прежде всего, конечно, в Индии. В конце Второй мировой войны Великобритания управляла всеми своими колониями с помощью администрации численностью менее 3000 человек, что более чем втрое уступает штату Всемирного банка (там же: 128–129).

Можно сказать, что Британия экспортировала либеральный порядок, особенно принимая во внимание тот факт, что она в одностороннем порядке придерживалась принципа свободной торговли. Это, кстати, устраняло необходимость принуждения к ней или давления в пользу ее введения<sup>61</sup>.

*Pax Britannica* нуждался только в гарантиях безопасности глобальных торговых коммуникаций, которая поддерживалась за счет превосходства

<sup>60</sup> «Индия, к примеру, не была колонией (с белыми поселенцами), но при этом являлась центральным звеном Британской империи. И не вся она была под прямым управлением Британии. Управление княжествами, составлявшими значительную часть британских владений в Индии, осуществлялось непрямым образом — через политических представителей, которые были при каждом дворе местных правителей» (там же: 100).

<sup>61</sup> В плане обсуждения выгод от колониализма привлекает внимание полемика Лала с Луисом Анджелесом (Angeles 2007). Последний, в частности, обвинял колониализм в создании сильного неравенства на колонизируемых землях (речь шла не о поселенческих колониях типа США и Австралии, а о колониях, где колонисты составляли меньшинство по отношению к местному населению). Ответ Лала весьма красноречиво характеризует его позицию: «Большинство людей было бы счастливо рассматривать колониализм как благодатное явление, если он повышал темпы роста и снижал абсолютную бедность, независимо от того, что он творил с коэффициентом Джини» (Lal 2010a).

британского военно-морского флота. В то же время неясно, являлась ли империя окупаемым проектом. «Даже сегодня историки экономики не могут прийти к единому мнению в вопросе о соотношении между издержками на сохранение и расширение Британской империи и экономическими выгодами от нее после 1850 года» (там же: 100).

Переход к *Pax Americana* и ЛЭМП № 2. После Первой мировой войны (и во многом в результате нее) рухнул ЛЭМП № 1, а Британская империя утратила былое влияние. США подхватили эстафету только после Второй мировой войны. В промежутке между ними доминировала концепция коллективной безопасности американского президента Вудро Вильсона. По мнению Лала, результатом неспособности американцев взять на себя глобальную имперскую миссию «стали две величайшие угрозы классическому либеральному порядку, установленному в мире Великобританией, — фашизм и коммунизм» (там же: 106).

Что представляют США сегодня в международном плане? Лал так отвечает на этот вопрос: «Соединенные Штаты Америки сегодня бесспорно являются империей. Это больше, чем гегемония, потому что они стремятся контролировать не только внешнюю, но и некоторые аспекты внутренней политики других стран. Но это неформальная империя с прямым правлением» (там же: 116).

Однако за это время сменилась не только империя. Сменился и ЛЭМП. В эпоху *Pax Americana* он далеко не столь либерален, как в эпоху *Pax Britannica*. США стали распространять его не с помощью собственного примера, как ранее Британия, а с опорой на международные организации: МВФ, ВТО, Всемирный банк. Лал отмечает следующие особенности *Pax Americana* (там же: 184–188):

1. Торговля. США отказались от либерализации торговли в одностороннем порядке, и в основу положили принцип взаимности. В результате вопросы внутренней политики других стран неизбежно перетекают в сферу внешнеторговой политики.

2. Валютные курсы. МВФ был создан для поддержания системы весьма ограниченного золотого стандарта (Бреттон-Вудской системы). С окончательным крахом золотого стандарта в 1970-е гг. миссия МВФ во многом исчерпала себя. В настоящее время его деятельность по «спасению утопающих» порождает ненужный моральный риск.

3. Развитие. На роль инструмента развития, помогающего направлять капиталы в страны третьего мира, претендует Всемирный банк. Его решения относительно предоставления средств нередко политизированы,

критерии спорны. Это резко контрастировало с ЛЭМП № 1, когда частный капитал из Европы направлялся в другие регионы мира на рыночной основе.

Недостаток либерализма в ЛЭМП № 2 США компенсируют экспортом демократии, что, конечно, не может не вызвать негативную реакцию у Лала. Это логично, если вспомнить, что демократия (в отличие от подлинно либерального порядка как системы экономических и гражданских свобод) отнесена им к области не материальных, а космологических представлений. Ее настойчивое продвижение опасно ответной реакцией отторжения ЛЭМП<sup>62</sup>.

Лал возражает тем, кто ссылается на примеры Южной Кореи, Тайваня, Филиппин (там же: 321–322). По его мнению, они еще не доказывают, что смогут сохранить демократию. Хотя космологические представления в Латинской Америке близки к западным, в ней 200 лет волны демократизации сменяются приливами диктатур. Лал считает: еще рано утверждать, что либеральная демократия созреет и обретет устойчивость в Южной Корее или на Тайване. Да и Япония, несмотря на все усилия генерала Макартура, вернулась к политической системе, очень сходной с той, которая была создана олигархами эпохи Мэйдзи.

Далее Лал пишет: «Но если политическая свобода во всем мире, пожалуй, и недостижима, то о свободах гражданских и экономических, которые являются еще более фундаментальными аспектами свободы, этого не скажешь» (там же: 322). Причем «страны могут усваивать эти ключевые свободы даже в отсутствие политических свобод, о чем свидетельствует процветание принадлежащих к китайской культуре городов-государств Гонконга и Сингапура» (там же).

А что делать США? Во-первых, не стесняться признать себя империей. Империей благожелательной и толерантной. И тогда придет понимание того, что «для предотвращения беспорядков в империи лучше оставить в покое космологические представления других народов, в том числе их политические обычаи» (там же: 333). Не нужно поддаваться тем, кто хотел бы использовать мощь Америки для того, чтобы силой закона утвердить западные «привычки души».

<sup>62</sup> «Попытка западных этических империалистов учинить джихад во имя своих космологических представлений, воплощением которых являются демократия и права человека, способна привести к обратной реакции, поскольку другие культуры по ошибке могут решить, что модернизация и глобализация означают также вестернизацию и потерю собственной души» (Лал 2010: 323).



Во-вторых, последовать примеру британцев XIX в. и в одностороннем порядке ввести режим свободной торговли со всеми. Исключением, как считает Лал, могут быть страны Евросоюза, пока он сам не откроет свои экономические границы для мира (там же: 329). Это, например, сразу сделает окончательно бессмысленным существование ВТО.

Однако возможность стать новой либеральной империей ограничена теми внутренними изменениями, которые трансформировали западную цивилизацию в противоположном классическому либерализму направлении.

### 3.6. ИНДИВИДУАЛИЗМ, ЗАКАТ ЗАПАДА И ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Этой проблеме Лал уделил в своих исследованиях едва ли не наибольшее внимание. Дело в том, что «индивидуализм парадоксальным образом подточил самые скрепы сотворенных им процветающих обществ» (Лал 2007: 206). «Порожденный индивидуализмом триумф науки привел к смерти Бога на Западе и, таким образом, к смерти вины, предписывавшей соответствующую личную мораль. В свою очередь, демократизация, также вызванная индивидуализмом, подточила традиционные иерархические основы этих обществ и разрушила набор “манер”, основанных на почтении, которые порождают чувство стыда в ходе социализации в этих обществах» (там же).

Таким образом, западное общество, согласно Лалу, утратило как чувство вины, так и остаточное чувство стыда (которое, как мы уже знаем, доминирует в его концепции в качестве механизма социализации в евразийских цивилизациях). Далее Лал едва ли не повторяет Федора Достоевского с его «бога нет — все дозволено». Секуляризация имела для Запада ряд негативных последствий, важнейшими из которых являются государство всеобщего благосостояния и активность НПО<sup>63</sup>.

Начнем с первого. Казалось бы, индивидуализм и этот тип государства никак не совместимы. Однако Лал видит между ними тесную связь. Логика такова: отрицание чувства вины одновременно означало

<sup>63</sup> Лал уделяет внимание не только НПО, но и таким официальным международным организациям, как МВФ, Всемирный банк, ВТО и ООН (в первую очередь ее связям с НПО). В них он также видит угрозу ЛЭМП и предлагает пути их радикальных преобразований (Lal 2005).

и отрицание чувства личной ответственности за свое благополучие. Для бедных это означало утрату стимулов для подъема по экономической лестнице, для людей более состоятельных — утрату «буржуазных ценностей»: умеренности в потреблении, бережливости (там же: 198–199). Добавим сюда уже упоминавшееся ранее разделение поколений в семье, снижение их взаимных обязательств в результате первой папской революции. Ясно, что в такой среде у государства появилось много дополнительных дел в форме организации и финансирования социальной защиты.

Государство всеобщего благосостояния обернулось против модернизации и сокрушило ЛЭМП № 1. Достаточно очевидно, что свободная международная миграция рабочей силы не может сосуществовать рядом с множеством национальных социальных программ. Каждое государство будет защищать «своих» претендентов на доступ к их благам от «пришельцев».

Однако для экономистов видна и связь краха такой опоры ЛЭМП № 1, как золотой стандарт, с присущей государству всеобщего благосостояния негибкостью зарплаты — результата коллективных договоров профсоюзов с предпринимателями под эгидой властей. Золотой стандарт обеспечивает автоматическое регулирование платежных балансов только при абсолютной гибкости всех цен, включая цены на рынке труда: они должны падать в стране с отрицательным балансом (откуда уходит золото) и расти в стране с положительным балансом (куда золото приходит). Тогда продукция первой страны становится более конкурентоспособной на мировом рынке, а второй — менее, и баланс выравнивается.

Теперь снова обратимся к империям. Глобализация и модернизация, согласно Лалу, должны опираться на те блага, которые предоставляет имперский механизм. В то же время «имперская система США движется к серьезному фискальному кризису, который <...> был главной причиной падения Римской империи» (Лал 2010: 209). В основе этого кризиса — непомерные расходы на поддержание социальных обязательств, взятых государством всеобщего благосостояния<sup>64</sup>.

<sup>64</sup> В США государственные расходы равны 36% ВВП, из них 15% ВВП (примерно 42%) составляют расходы на социальные нужды. В США фискальный дисбаланс (выраженная в текущей стоимости разность между будущими обязательствами при условии сохранения нынешней политики и будущими доходами) составляет 9% от ВВП 2012 г. (Glokhale, Partin 2013: 196, 207). В 2011 г. дефицит бюджета в США составлял 8,7% ВВП и из стран ЕС уступал только Греции, Испании и Ирландии.

Активно противодействуют глобализации многочисленные НПО<sup>65</sup>. Особая роль в них принадлежит «зеленому движению», представителей которого Лал именуется «экофундаменталистами». И это — не случайно. «Религиозный вакуум Запада, оставшийся после победы индивидуализма, все больше заполняется причудливым культом природы» (Лал 2007: 207). Лал приходит к выводу, что «“зеленые” — современная секулярная разновидность религиозного движения, которое начало “крестовый поход” всемирного масштаба, стремясь навязать все свои представления о жизни» (Лал 2009: 329).

Концепцией, на которой «зеленые» и прочие НПО строят свои притязания, является так называемая демократия участия. Лал считает ее абсолютно антилиберальной (там же: 305). Она, как бы парадоксальным это ни казалось, приводит к росту влияния групп давления на законодательный процесс. В результате возникает так называемый демосклероз.

Лал подробно рассматривает многообразные формы ущерба, протекающего из деятельности «зеленых». Это и мифический взгляд на глобальное потепление (с отнюдь не мифическими последствиями в виде Киотского протокола), и запрет на применение ДДТ (который привел к эпидемии малярии в Африке), и борьба с генетически модифицированными продуктами, и многие другие «достижения»<sup>66</sup>.

Ради своих целей НПО «колонизировали ООН»: многие его ведомства пляшут под их дудку. Распространяется их влияние и на Всемирный банк. Они «превратились в настоящие инкубаторы всевозможных антиглобалистских программ, укомплектованные международной бюрократией, стремящейся к получению соответствующей ренты» (Лал 2010: 248).

С тех пор он снизился до 6,9%, но тем не менее и эта цифра выше, чем в большинстве стран ЕС. Национальный долг США в 16,4 трлн долларов означает, что каждый гражданин США должен 52 тыс. долларов. Это больше, чем в любой стране ЕС (Tanner 2013: 214).

<sup>65</sup> «Роль “штурмовых отрядов” антиглобалистского движения играет бесчисленное множество неправительственных организаций (НПО)» (Лал 2009: 298).

<sup>66</sup> Так, решение о закрытии к 2022 г. АЭС в Германии после аварии на Фукусиме (как будто Германию часто посещают цунами) приносит колоссальные потери. В 2012 г. энергоконцерны *E.ON* и *RWE* затребовали от правительства Германии 15 млрд евро в счет компенсации убытков от прекращения работы атомных реакторов. Из 17 АЭС, которые еще год назад вырабатывали 20% производимой на территории Германии энергии, в 2012 г. эксплуатировались только девять. Немецкий институт экономических исследований (*DIW*) подсчитал, что вся программа по реструктуризации энергетического сектора обойдется стране в 200 млрд евро — 8% ВВП Германии за 2011 г. (Алексеева 2012).

Очевидно, что «зеленое движение» и прочие НПО дают мощный импульс, направленный против ЛЭМП № 2. В их сотрудничестве с ведомствами ООН «они самые мощные каналы распространения “нового дирижизма”» (Лал 2009: 342).

Формальный гуманизм «зеленых» оборачивается мизантропией: «Пусть погибнет человек — лишь бы здравствовала природа». «“Зеленые”, естественно, выступают против обеих форм “капитализма” — свободной торговли по Смиту и сжигания ископаемого топлива; поэтому, если они возьмут верх, беднякам всего мира будет не на что надеяться» (там же: 321). «Если называть вещи своими именами, то их цель — увековечить традиционную нищету, характерную для великих евразийских цивилизаций — индийской и китайской» (Лал 2010: 246).

Что делать? Лал отвечает на этот вопрос совершенно определенно. «Долг крупнейших стран третьего мира и потенциальных имперских держав, таких как Индия и Китай, — противостоять современному религиозному движению, каковым являются “зеленые”, выступившие в крестовый поход за прекращение экономического развития» (там же: 247).

Лал не зря называет Индию и Китай «потенциальными имперскими державами». Если США не возьмут на себя ответственность за поддержание глобального *Pax*, то можно ожидать, что за решение этой задачи возьмется одна из этих восходящих держав. И с учетом проявленной ими заинтересованности в либерализации экономики, они, как полагает Лал, будут строить необходимый для глобализации ЛЭМП (там же: 338).

Вместе с тем Лал видит шанс и для Запада. С космологической точки зрения, он — в наметившемся продвижении к новому язычеству (Lal 2010b). Эту работу Лал начинает с краткого изложения своей концепции, о которой речь шла выше. Христианство и позже ислам преуспели в разрушении классического языческого мира с его политеизмом, иерархическими обществами и традиционными евразийскими космологическими ценностями. В построенных на стыде азиатских обществах (из числа которых Лал, безусловно, исключает исламский мир) социальные скрепы базируются не на вере в бога, их религии — это, скорее, образ жизни. Не «азиатские ценности» ответственны за азиатские «экономические чудеса», а воспринятые материальные ценности второй папской революции. Но они при этом не сочетались с принятием космологии Запада, и это помогло избежать «социальных патологий, вызываемых государством благосостояния» (Ibid.: 5).

В чем же шанс Запада? Первое, на что обращает внимание Лал, — растущая секуляризация церкви; по мере того как молодежь отворачивается

от веры отцов, брак перестает быть святостью: он, скорее, рассматривается как сделка ради сохранения собственности, поскольку имеются дети. Устойчивая семья разрушается, и полигамия, которая вызывает тот же эффект, как древняя полигамия, в создании расширенной (в противовес западной — нуклеарной) семьи, все более принимается.

Второе — это «демографическая бомба». Запад, с его стареющим населением, может подтолкнуть спонтанное движение молодежи назад — к языческим социальным ценностям. Возможно, она, увидев не очень счастливую судьбу поколения беби-бумеров в старости, не захочет ее повторять и решит иметь больше детей. Причем социализация их пойдет путем внушения морали стыда, требующей заботы о стариках. Возможно, молодежь убедится, что опора на государство в вопросах страхования жизненных рисков есть ловушка и иллюзия. Конечно, говорит Лал, эти рассуждения могут показаться фантастическими, но, с другой стороны, кто мог предвидеть тот странный курс, которым западный индивидуализм пошел в социальной сфере (Ibid.: 6).

И наконец, возможно, продолжающееся сопротивление Индии и Китая — этих двух выживших цивилизаций классического языкового мира — сокращению выброса углеродов ради предотвращения глобального потепления все еще способно спасти Запад от выбранного им пути по направлению к осуществлению экономического хакари (Ibid.: 6–7).

Заключает Лал свои рассуждения следующими словами: «Западное отречение от космологических убеждений классического языкового прошлого привело ко многим социальным патологиям, среди которых государство благосостояния является самым ярким примером. Возвращение к язычеству могло бы быть просто бальзамом для лечения одинокой и сломанной западной души» (Ibid.: 7).

## Глава 4

# МИЗЕС И АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА: ИДЕИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

## 4.1. ВВЕДЕНИЕ

Правительства, политические партии и группы давления «стремятся пропагандировать “хорошую” доктрину и заставить молчать голоса “плохих” доктрин.

*Мизес 2005: 824*

Австрийская экономическая школа чаще всего ассоциируется со знаменитой «венской тройкой» экономистов конца XIX — начала XX вв.: Карлом Менгером (1840–1921), Евгением фон Бем-Баверком (1851–1914) и Фридрихом фон Визером (1851–1926)<sup>1</sup>. Далее на протяжении XX в. эта школа строилась усилиями Людвиг фон Мизеса (1881–1973) и Фридриха фон Хайека (1899–1992). Однако сегодня даже не все экономисты имеют представление о том, что эта школа продолжает жить и развиваться, бросая вызов современной неоклассической экономике как магистральному течению экономической мысли (мейнстриму). Она отвергает наличие возможности описывать человеческую деятельность через функциональные зависимости, рассматривает ее как динамический, протяженный во времени и постоянно «взрывающийся» сбалансированный процесс, центральное место в котором занимает творчество предпринимателей. В результате общее равновесие, которое у неоклассиков стало воплощением идеального состояния экономики при заданных располагаемых ресурсах, оказывается у «австрийцев» практически недостижимым и не имеющим никакого значения в качестве совершенного состояния<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Визер, строго говоря, относится к австрийской школе более формально (в 1903 г. занял место Менгера в Венском университете после отставки последнего), чем в плане содержательной стороны творчества (см.: Хюльсманн 2013: 109–118; Уэрта де Сото 2008: 236–237, примеч.).

<sup>2</sup> Все основные различия между неоклассикой и австрийской школой систематизированы и подробно рассмотрены в работах Хесуса Уэрта де Сото (Уэрта де Сото 2009: 3–23; 2011: 33–62). У него также раскрыто принципиальное расхождение между

Австрийская школа олицетворяет собой либертарианский подход в экономике<sup>3</sup>, который, конечно, напрямую связан с ее отказом от доктрины общего равновесия. Дело в том, что приверженцы последней отклонения от него описывают термином «провалы рынка» — состояний, когда механизм рыночных цен не способен достичь Парето-эффективности<sup>4</sup>. И тут на помощь неоклассики призывают государство, которое действует во имя общего блага и ради него с помощью различных инструментов принуждения стремится приблизить систему к эффективному состоянию. Таким образом, во-первых, реальность сравнивается с недостижимым идеалом<sup>5</sup>, а во-вторых, этот разрыв является оправданием государственного вмешательства, что свидетельствует об этатизме экономического мейнстрима.

Что же касается австрийской школы, то она связывает с неравновесными состояниями возможности извлечения прибыли предпринимателем, которые он открывает в процессе творчества. Поэтому если

---

концепцией динамической эффективности в австрийской школе и статической эффективностью в учении неоклассиков (Уэрта де Сото 2011: 1–32). Заметим, что концепция статической эффективности (общего равновесия) присутствует в трудах представителей современного мейнстрима даже тогда, когда они обращаются, казалось бы, к совершенно несовместимым с использованием этой догмы объектам исследования. Так, знакомый нам Асемоглу в статье «Теория, общее равновесие и политическая экономия в экономике развития» активно ратует за анализ проблем развития на базе модели общего равновесия (Асемоглу 2010). Говоря о кризисе современной экономической науки, австрийцы в качестве главной его причины называют «акцент на исследованиях состояний равновесия, не имеющих ничего общего с реальностью, но зато являющихся единственными состояниями, которые поддаются математическим методам анализа (Уэрта де Сото 2007: 146).

<sup>3</sup> О радикальном изменении смысла термина «либерал» в США и его фактической подменой на противоположное см.: Боуз 2004: 22–29. В США «либералы, как правило, выступают за усиление вмешательства государства в экономическую жизнь — налоги и регулирование» (там же: 23). Поэтому американские сторонники свободной рыночной экономики и общественной жизни называют себя либо классическими либералами, либо (чаще) либертарианцами.

<sup>4</sup> Уэрта де Сото пишет о «фантазмагорической концепции эффективности по Парето», которая «в принципе бесполезна и не относится к делу, потому что может работать только в статичной ситуации» (Уэрта де Сото 2007: 153).

<sup>5</sup> Такое сравнение фактического положения с искусственной теоретической конструкцией, выдаваемой за земной рай, американский экономист Демсетц обозначил как «подход с точки зрения нирваны» (Demsetz 1969: 1). С тех пор среди экономистов стало популярно выражение «ошибка нирваны» (*nirvana fallacy*).

государство берет на себя борьбу с провалами рынка, то оно исключает предпринимательские решения, которые в противном случае могли бы куда успешнее, чем государство, совладать с этими проблемами<sup>6</sup>. В результате австрийцы, поднимая вопросы экономики развития, отводят государству минимальную роль, ибо их «не волнует» общее равновесие. Политику государственного интервенционизма они расценивают как «провалы государства», которые искажают цены, стимулы и дезориентируют предпринимателей.

Хронологически окончательное выпадение австрийской школы из мейнстрима произошло в 1930-е гг. в ходе двух дискуссий: о невозможности социализма и полемике между Хайеком и Кейнсом. В итоге австрийская школа оказалась методологически несовместимой с неоклассикой<sup>7</sup>. Во-первых, эта школа отторгает все главные постулаты неоклассики (узкое понимание рациональности, неизменность предпочтений, равновесие и др.). Во-вторых, ею исключается применение математики в экономике как неадекватный инструмент для исследования человеческой деятельности<sup>8</sup>. В-третьих, как мы убедимся далее, австрийское направление экономической мысли отвергает социальную инженерию, роль экономиста как «советника князей». Все эти три характеристики взаимосвязаны.

В результате австрийская школа не оставляет никакого места неоклассической системе с ее равновесно-статистическим и конструктивистским подходом. При наличии нехватки аргументов неоклассическая экономическая теория постоянно демонстрирует свое «административное превосходство» в виде укорененности в университетах и связях с истеблишментом как по отношению к современной австрий-

---

<sup>6</sup> Кроме того, «абсурдно называть “дефектом рынка” неидеальность ситуации, являющуюся результатом несовершенства институтов» (Уэрта де Сото 2011: 193).

<sup>7</sup> «Только после работ Мизеса и Хайека представители австрийской школы в полной мере осознали методологическую пропасть между собой и коллегами, изучающими неоклассическую модель равновесия» (Уэрта де Сото 2009: 91).

<sup>8</sup> «Математика представляет собой символичный язык, сконструированный для удовлетворения потребностей логики естественных и инженерных наук, т. е. областей, где нет ни субъективного времени, ни предпринимательского творчества. Поэтому язык математики не учитывает ключевых особенностей человека, протагониста социальных процессов, а именно они являются предметом изучения экономической науки» (Уэрта де Сото 2011: 55–56). Применение же математики к анализу исторических процессов и экономического развития неявным образом предполагает наличие «законов истории».



ской школе, так и к другим, не вписывающимся в ее базовые постулаты доктрины<sup>9</sup>.

Австрийская экономическая школа не только полемизирует с неоклассикой, но и развивает свою позитивную программу исследований. Так, в частности, она отмечает, что теория экономического роста и отсталости была сформулирована «без учета единственных подлинных героев этого процесса: людей, их бдительности и творческой предприимчивости» (Уэрта де Сото 2007: 152–153). Отсюда ставится задача:

Перестроить всю теорию роста и экономической отсталости, устранив элементы, служащие оправданием институционального принуждения и делающие эту теорию не только бесполезной, но и опасной. Необходимо сосредоточиться на теоретическом исследовании процессов обнаружения возможностей развития, которые остаются незамеченными из-за недостатка предпринимательского элемента, являющегося ключом к преодолению экономической отсталости (там же: 153).

На сегодняшний день нельзя сказать, что австрийская школа полностью выполнила эту миссию. Однако она заложила такое видение истории и процессов, ведущих как к прогрессу, так и к упадку, что дальнейшее продвижение в области создания экономики развития, свободной от неоклассических догм, просто вопрос времени. Тем более что нигде провалы экономического мейнстрима не заметны так явно, как тогда, когда речь заходит, говоря языком Адама Смита, «о природе и причинах богатства народов» (добавим: богатства одних народов и бедности других).

Мизес был первым из австрийцев, кто обратил самое пристальное внимание на историю<sup>10</sup>. И первым, кто сформулировал многое из того, на что экономисты стали обращать внимание никак не ранее 1980-х гг.: идеи, которые живут в людях и которые управляют ими. С ними (а точнее, их сменой) он связал ход истории.

<sup>9</sup> «Неоклассики монополизуют понимание того, что они считают экономической наукой, и пытаются заткнуть рты теоретикам, которые, подобно австрийцам, представляют альтернативную точку зрения, привержены более богатой и реалистичной парадигме и конкурируют с неоклассиками в области научных исследований» (Уэрта де Сото 2007: 161).

<sup>10</sup> Мизесу посвящена прекрасная книга Йорга Гвидо Хюльсманна (Хюльсманн 2013). Поэтому есть смысл не представлять здесь этого великого мыслителя XX в., а всем интересующимся его биографией и, главное, творчеством, посоветовать обратиться к данной работе.

## 4.2. ИСТОРИЯ ПО МИЗЕСУ

Идеи творят историю, а не наоборот.

*Мизес 2005: 81*

Нет никаких сомнений в том, что в центре внимания должна быть книга Мизеса 1957 г. «Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции» (Мизес 2007). В Предисловии к работе, написанном другим известным представителем австрийской школы и его учеником Мюреем Ротбардом (1926–1995), она именуется «забытым шедевром» (Ротбард 2007: XI). В нем, кроме того, подчеркивается: «В основе подхода Мизеса и праксиологии лежит концепция, с которой он начинает “Теорию и историю”: методологический дуализм, ключевое положение о том, что способ и методология изучения и анализа людей должны радикально отличаться от анализа камней, планет, атомов или молекул. Почему? Очень просто: потому, что сущность людей состоит в том, что они имеют цели и намерения и что они пытаются достичь этих целей» (там же: XII).

В то же время камни, атомы и планеты не делают выбор, не меняют своих намерений, поэтому можно вычертить их курсы и предсказать траектории. Люди же, напротив, каждый день учатся, обретают новые ценности и цели, изменяют свои планы; поэтому в отношении людей невозможно сформулировать предсказания. Однако, несмотря на это, экономическая наука, как отмечал Ротбард, страдает тем, что Мизес называл сциентизмом — идеей о том, «что единственным подлинно “научным подходом” к изучению человека является подражание подходу физических наук» (там же: XIII)<sup>11</sup>. Сциентизм недопустим и в объяснении истории<sup>12</sup>. В отличие от естественных наук «в человеческой истории мы сами, будучи людьми, уже *знаем* причины событий; а именно тот первичный факт, что люди имеют цели и намерения и действуют, чтобы их достичь» (там же: XV).

<sup>11</sup> Заметим, что сегодня тем же самым сциентизмом страдает не только экономика, окончательно превратившаяся в разновидность приложения различных математических дисциплин, но и социология, политология и даже история в лице клиометрики.

<sup>12</sup> Мизес рассматривал все общественные науки как части единого учения — праксиологии, которую определял как общую теорию человеческой деятельности (Мизес 2005: 10). Не случайно его главный фундаментальный труд называется «Человеческая деятельность: трактат по экономической теории» (1949).

Любое историческое событие представляет собой уникальную равнодействующую множества этих причинных факторов (действий разных людей, обладающих свободой воли и выбора). В силу этого оно уникально, а значит, его невозможно «тестировать» посредством сличения с однородными событиями. Отсюда Мизес резко выступал против детерминизма и предсказуемости в анализе развития общественных событий<sup>13</sup>.

Понимание истории Мизесом, разумеется, лучше всего представлено им самим.

История есть летопись человеческой деятельности. Человеческая деятельность — это сознательные усилия людей, направленные на то, чтобы заменить менее удовлетворительные обстоятельства более удовлетворительными. Идеи определяют, что должно считаться более, а что — менее удовлетворительными обстоятельствами, а также — к каким средствам необходимо прибегнуть, чтобы их изменить. Таким образом, идеи являются главной темой изучения истории. Идеи не представляют собой постоянного запаса, неизменного и существующего от начала вещей. Любая идея зародилась в определенной точке времени и пространства в голове индивида. (Разумеется, постоянно случается так, что одна и та же идея независимо появляется в головах разных индивидов в разных точках пространства и времени). Возникновение каждой новой идеи суть инновация; это добавляет нечто новое и прежде неизвестное к ходу мировых событий. Причина, по которой история не повторяется, состоит в том, что каждое историческое событие — это достижение цели действия идей, отличающихся от тех, которые действовали в других исторических состояниях (Мизес 2007: 200–201).

Итак, из рассуждений Мизеса явно следуют две логические связки: во-первых, человеческую деятельность, творящую историю, определяют идеи; во-вторых, идеи суть инновации, следовательно, и определяемое ими историческое событие не схоже с другими (можно сказать, «инновационно»). В этом, кстати, можно видеть и дополнительное разъяснение причины непредсказуемости истории.

Попутно Мизес ведет полемику с британским историком Арнольдом Тойнби (1889–1975). В ней Мизес исходит из того, что сущность цивилизации составляют идеи. «Если мы попытаемся разграничить различные цивилизации, то *differentia specifica* может быть найден только

<sup>13</sup> За исключением прогнозов негативных последствий государственного интервенционизма.

в различном смысле идей, который их определяет» (там же: 201). И далее еще раз подчеркивает: «В “теле” цивилизации невозможно обнаружить никаких сил, которые не были бы результатом их специфических идеологий» (там же: 202). А раз так, то утверждение Тойнби о том, что любая цивилизация проходит последовательно неизбежные стадии, не может быть принято. «Цивилизации несопоставимы и несоизмеримы, поскольку они приводятся в движение разными идеями и поэтому развиваются по-разному» (там же: 201–202).

Возражая немецкому философу Освальду Шпенглеру (1880–1936), Мизес не разделяет его воззрения на причину упадка западной цивилизации, хотя и соглашается в принципе с выводом о том, что таковой происходит. Однако причина его совсем не в некоей таинственной природе цивилизации, уподобляемой Шпенглером и Тойнби живому существу, а в природе идей, владеющих принадлежащими к этой цивилизации людьми. «Действительно, — пишет Мизес, — западная цивилизация приходит в упадок. Но ее упадок заключается как раз в одобрении антикапиталистических убеждений» (там же: 199). Отсюда можно заключить, что, согласно Мизесу, именно содержание идей (убеждений) в решающей мере определяет судьбу цивилизаций.

Мизес в определении роли и значения идей становится на позицию, которая диаметрально противоположна учению Карла Маркса (1818–1883) в этом вопросе. Если у последнего конечным источником общественной динамики оказывается то, что он называл производительными силами (говоря более современным языком, это — природные ресурсы, технологии, физический и человеческий капитал), а идеи идут в самом конце каузальной цепочки и, таким образом, являются целиком определяемым фактором, то Мизес поступил ровно наоборот. В той же «Теории и истории» он в основу всего положил именно идеи. «Идеи порождают общественные институты, политические изменения, технологические методы производства и все, что называется экономическими условиями» (там же: 167).

Это положение в развернутом виде излагается Мизесом применительно к проблеме развития и отсталости стран и народов. Цитируемый ниже абзац из работы «Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война» можно даже назвать «экономикой развития по Мизесу».

Простое знакомство с западными методами производства, транспортировки и маркетинга ничем не смогло бы помочь отсталым народам. Они не располагали капиталом, требующимся для освоения всего этого.

Западную технику имитировать не трудно. Но было почти невозможно трансплантировать умонастроения и идеологию, создавшую социальную, правовую, конституционную и политическую атмосферу, давшую жизнь этому современному технологическому прогрессу. Легче скопировать современный завод, чем окружающую обстановку, способствующую накоплению капиталов внутри страны. Новую промышленную систему породил новый дух либерализма и капитализма. Она стала следствием умонастроения, для которого удовлетворение нужд потребителей важнее, чем войны, завоевания, сохранение древних обычаев. Главной отличительной особенностью развитого Запада была не техника, а моральная атмосфера, поощрявшая бережливость, образование капитала, предпринимательство и мирную конкуренцию (Мизес 2006: 144).

Прочитав этот текст, можно только удивляться, насколько Мизес смог опередить время: в далекие 1940-е гг. он, по сути, заложил большинство идей, которые сформировали такое направление экономической мысли, как новая институциональная экономическая история примерно 40–50 лет спустя. Он протягивает цепочку от умонастроений и идей к «социальной, правовой, конституционной и политической атмосфере» (иначе говоря, к соответствующим институтам) и уже от них — к технологическому прогрессу. Его антимарксистская триада выглядит как марксистская, но поставленная с ног на голову (рис. 8).



Рис. 8. Мизесовская триада (каузальная связь)

При этом Мизес подчеркивал, что именно идеи формируют интересы, которые, в свою очередь, определяют характер действий людей. «В мире реальной действительности, обстоятельства которого только и являются объектом научного поиска, идеи определяют то, что, как считает человек, будет соответствовать его интересам. Интересов, не зависящих от идей, не существует. Именно идеи определяют то, что люди рассматривают в качестве своих интересов. Свободные люди действуют не в своих интересах. Они действуют в соответствии с тем, что, как они считают, будет способствовать их интересам» (Мизес 2007: 126). Таким образом, данный пассаж можно переформулировать приблизительно

так: интерес — это то, что человек мыслит (представляет себе) в качестве такового<sup>14</sup>.

Следовательно, человеческая деятельность есть производное от идей; последние являются для нее движущей силой. Поэтому для Мизеса история — это в конечном счете история идей. «В мире Мизеса, где все явления и мысли были обязательным следствием предшествующих причин, идеи были главным динамичным элементом эволюции общества» (Хюльсманн 2013: 690).

Однако что определяет сами идеи, где их первоисточник? И тут Мизес снова напоминает Маркса, но только с той принципиальной разницей, что у последнего производительные силы являются конечной данностью, тогда как Мизес в качестве таковой объявляет идеи. «Для наук о человеческой деятельности конечной данностью являются ценностные суждения действующих субъектов и идеи, порождающие эти ценностные суждения» (там же: 275). Они представляют собой конечную данность, так как «их нельзя представить в виде необходимых следствий чего-либо еще» (там же: 279)<sup>15</sup>. «Идеи, — констатирует Мизес, — конечная данность исторического исследования. Об идеях можно сказать только то, что они появились» (там же: 167).

Конечно, можно проследивать путь возникновения той или иной идеи («три источника и три составные части марксизма»). Можно сказать, что идея *A* отталкивается от идеи *B* и связана с идеей *C*. Однако «возникновение идеи суть инновация, новый факт, добавленный к миру» (там же: 85). Марксизм не есть то же самое, что и три его источника, не сводится к ним. В поисках происхождения идей «мы неизбежно приходим к точке, в которой все, что можно утверждать, это то, что у человека возникла идея» (там же: 167).

Эта философская основа взглядов Мизеса помогает глубже понять и многие базовые установки австрийской экономической школы. Прежде

<sup>14</sup> Эту же мысль Мизес подчеркивает неоднократно в полемике с учением Маркса: «В мире реальности, жизни и человеческой деятельности не существует интересов, которые не зависят от идей, предшествующих им как по времени, так и логически. То, что человек считает своим интересом, является результатом его идей» (Мизес 2007: 124); «...неразумно провозглашать, что идеи являются продуктами интересов. Идеи говорят человеку, в чем состоят его интересы» (там же: 122).

<sup>15</sup> «Результат умственных усилий людей, т. е. идеи и ценностные суждения, направляющие действия индивидов, нельзя проследить до их причин, и в этом смысле они являются конечными данными» (Мизес 2007: 67).

всего, принципиальную невозможность прогнозирования будущего. Ведь новые идеи появляются неожиданно. Ну а раз управляющие человеческой деятельностью идеи возникают спонтанно, то ничего нельзя сказать и о ее результатах в будущем. «Все доктрины, стремящиеся обнаружить в человеческой истории определенную тенденцию изменений, расходятся с исторически установленными фактами в том, что касается прошлого, а там, где пытались предсказать будущее, — опровергнуты последующими событиями» (там же: 324).

В результате становится более понятным и отторжение австрийской экономической школой применения методов естественных наук (в первую очередь математики) к моделированию человеческой деятельности<sup>16</sup>. Реакции в естественной природе характеризуются регулярностью, повторяемостью (вода закипает и испаряется при температуре 100° С, превращается в твердое состояние при минусовой температуре по Цельсию). Каковы были бы возможности математического описания реакций воды на изменение температуры, если бы она каждый раз вела себя по-разному? А ведь именно такой «нерегулярностью» отличается человеческая деятельность. И в особенности та, что определяет исторический процесс.

Тут будет уместно заметить, что сама по себе идея не способна двигать историю. Идея не рождается в массах — она продукт индивидуального творчества (так, к примеру, марксизм не порождение некоего мистического коллективного разума пролетариата). Но однажды рожденные кем-то идеи воспринимаются другими людьми и могут трансформироваться в их ценности<sup>17</sup>. Сквозь призму своих ценностей человек видит мир, выстраивает систему предпочтений (например, капитализм, частная собственность — плохо; социализм, общественная собственность — хорошо). При этом абсолютное большинство людей берет свои

<sup>16</sup> Комментируя «Теорию и историю» Мизеса, Хюльсманн также обращает внимание на то, что именно по причине определяющего характера идей «общественные науки, по крайней мере в настоящее время, не могут быть объединены с естественными науками в единую систему научного знания» (Хюльсманн 2013: 682).

<sup>17</sup> Хайек в статье «Интеллектуалы и социализм» обратил внимание на эту особенность возникновения и распространения идей. «Социализм нигде и никогда не был изначально рабочим движением» (Хайек 2012: 229). И далее он писал о нем: «Это построения теоретиков, выросшие из некоторых тенденций развития абстрактных размышлений, с которыми были знакомы только интеллектуалы. И прежде чем удалось убедить рабочий класс включить социализм в свою программу, потребовались длительные усилия интеллектуалов» (там же: 229–230).

ценности не непосредственно из идей, а из ценностей социального окружения (если использовать медицинский термин, то можно сказать, что они являются «заразными» продуктами). Широко распространившаяся и устоявшаяся ценность приобретает силу общественного мнения.

Мизес особо подчеркивает заслуги Дэвида Юма (1711–1776), а также Джона Стюарта Милля (1806–1873) и Алексиса де Токвиля (1805–1859) как указывавших на общественное мнение в качестве силы, отвечающей за характер правления (там же: 57). В свою очередь, сам он пишет: «Правительства не могут быть свободными от давления общественного мнения. Они не могут сопротивляться господству всеми разделяемой идеологии, пусть и ошибочной» (Мизес 2005: 744). И «общественная система, какой бы полезной она ни была, не может работать, если ее не поддерживает общественное мнение» (там же: 744).

В результате Мизес выносит следующий вердикт: «Массы лишь делают выбор между идеологиями, разработанными интеллектуальными лидерами человечества. Но их выбор окончателен и определяет ход событий» (там же: 811).

Идеи для Мизеса, разумеется, не есть нечто застывшее, раз и навсегда данное. Иначе, как легко увидеть из вышеизложенной логики его подхода, ему пришлось бы признать «конец истории». «Идеи не представляют собой постоянного запаса, неизменного и существующего от начала вещей» (Мизес 2007: 201). Однако «экономисты всегда отдавали себе отчет в том, что эволюция идей — медленный, требующий много времени процесс» (там же: 194).

Философия австрийской экономической школы категорически не позволяет выставить что-либо как некий образец совершенного состояния и с ним сопоставлять реальное положение вещей и ход истории<sup>18</sup>. Это противоречило бы одному из ее базовых методологических принципов — знаменитой доктрине *Wertfreiheit* (свободы от ценностей). Ведь ценности людей как таковые несопоставимы. Поэтому экономист «оценивает положение вещей с точки зрения действующих людей. Он называет более хорошим или более плохим то, что представляется таковым на их взгляд.

<sup>18</sup> Попутно заметим, что противоположный подход Мизес презрительно называл «химией совершенного состояния человечества», относя сюда не только доктрины идеального общества (подобные коммунизму у Маркса), но и вальрасовскую концепцию общего равновесия (Мизес 2007: 324–329). «Предположение о том, что история устремлена к осуществлению совершенного состояния, равносильно утверждению, что история скоро закончится» (там же: 324).



Таким образом, капитализм означает прогресс, так как ведет к прогрессивному улучшению материальных условий жизни постоянно увеличивающегося населения» (там же: 152).

Итак, исторический прогресс — это то, что люди считают таковым. Поскольку они в абсолютном большинстве ценят улучшение условий жизни, то таковое и есть прогресс. Причем прогрессом является и все то новое (от социальных учений и отношений до технологий и оборудования), что обеспечивает данное улучшение.

Однако это вовсе не означает, что людской разум в массе своей поймет неразрывную связь цели и средства и будет ценить последнее (тот же капитализм). В недопущении возможности разрыва логической связки «цели—средства» в массовом сознании и крылось то, что Мизес назвал «иллюзиями старых либералов», которые пали жертвой ошибочной доктрины «несокрушимой мощи разума». «Они беспечно полагали: то, что является разумным, пробьет себе дорогу просто за счет своей разумности. Они никогда не задумывались о возможности того, что общественное мнение может благоволить ложным идеологиям, воплощение которых будет вредить благосостоянию и разрушать общественное сотрудничество» (Мизес 2005: 811)<sup>19</sup>.

Как видим, здесь Мизес говорит о том, что общественное мнение (умонастроение) может быть столь мощной разрушительной силой, что люди отторгают то, что обеспечивает им благополучие. Причем, как известно, оно не оказывается каким-то кратковременным заблуждением, а определяет целую эпоху. «В формировании взглядов исторические мифы, вероятно, играли столь же значительную роль, что и исторические факты» (Хайек 2012: 8).

Хайек, кстати, прекрасно показывает механизм проникновения созданного интеллектуалами мифа в сознание масс через цепочку ретрансляторов (газеты, кинофильмы, романы, школа, политические речи и даже обычные беседы). Далее мы можем увидеть, как это положение Хайека нашло свое воплощение в целой теории влияния риторики на историю и экономическое развитие народов в работах Макклоски (см. главу 5). Причем люди впитывают эти мифы бессознательно, автоматически. «Большинство людей очень удивилось бы, узнав, что большинство их мнений по всем этим предметам вовсе не бесспорно установленные факты, а мифы, запущенные в оборот из политических соображений и затем

<sup>19</sup> Причины настроя общественного мнения против капитализма Мизес представил в работе «Антикапиталистическая ментальность» (Мизес 1993: 169–231).

распространенные вполне добросовестными людьми, чьим общим убеждением они соответствуют» (там же: 13).

Хорошим дополнением к словам Мизеса об иллюзии старых либералов служит тезис Хайека об «отважном утопизме социалистов».

Успех социалистов должен научить нас (либералов. — А. З.) тому, что именно их отважный утопизм обеспечил им поддержку интеллектуалов и влияние на общественное мнение, которое ежедневно делает возможным то, что еще вчера казалось невозможным. Те, кто ограничивал себя только практически возможным (при данном состоянии общественного мнения), постоянно обнаруживали, что их усилия делаются политически нереализуемыми из-за изменения общественного мнения, которое они и не пытались направлять (там же: 258).

Отсюда Хайек делает практический вывод о том, что нужно либералам для реализации своего идеала. «Не нужна либеральная утопия, нужна программа <...>; нужен истинно либеральный радикализм, который не пощадит чувствительности властей предрержащих (в том числе профсоюзов), не будет чрезмерно практичным и не ограничит свои задачи только политически реализуемыми» (там же: 257). Это очень напоминает лозунг французской бунтующей молодежи в 1968 г.: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!»

Завершая разговор о теории и истории по Мизесу, есть смысл снова обратиться к приложению его философии к проблеме развития и отсталости — в частности, к его рассуждениям об отсутствии нейтральности между передовой техникой и мировоззрением, идеологиями, верованиями (сегодня бы сказали — культурой) отсталых народов.

Многие представители этих народов заявляют, что они хотят скопировать только материальную культуру Запада, но даже это сделать лишь постольку, поскольку это не будет противоречить их местным идеологиям и не подвергнет опасности их религиозные верования и обычаи. Они не понимают, что перенимание того, что они уничижительно называют всего лишь материальными достижениями Запада, несовместимо с сохранением их традиционных обрядов и табу, а также привычного образа жизни. Они впадают в иллюзию, что их народы могут позаимствовать технологию Запада и достигнуть более высокого материального уровня жизни без того, чтобы сначала в процессе *Kulturkampf* избавиться от мировоззрения и нравов, унаследованных от предков. Они утверждают

в своей ошибке благодаря социалистической доктрине, также не способной осознать, что материальные и технологические достижения Запада вызваны философиями рационализма, индивидуализма и утилитаризма и непременно исчезнут, если коллективистские и тоталитарные догмы приведут к замене капитализма на социализм (Мизес 2007: 299).

Этот мизесовский текст примечателен, с нашей точки зрения, как минимум в двух отношениях. Во-первых, как и предыдущая цитированная нами большая выдержка из Мизеса, она, намного опережая экономическую мысль его времени, выдвигает модный лишь со сравнительно недавних пор тезис о так называемой культурной ловушке — когда присущая тому или иному народу культура становится барьером для преодоления его неспособности к успешному развитию, модернизации. Во-вторых, в споре между теми, кто полагает невозможность модернизации без вестернизации, и теми, кто, обращаясь к опыту ряда далеких от западных идеалов, но быстроразвивающихся стран, говорит обратное, Мизес однозначно на стороне первых. Сегодня в этой полемике явно доминирует вторая точка зрения<sup>20</sup>, однако, как мы знаем (в том числе и из Мизеса), история не есть заложенная в человечество программа, а потому очевидное сегодня может обернуться совсем неочевидным завтра.

### 4.3. НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ...

Принципиальное расхождение в понимании истории между австрийской школой и современной неоклассикой довольно убедительно проявляется в отношении к прогнозированию. Отличительной чертой австрийской школы является и ее крайне критическое восприятие самой возможности прогнозирования, составляющей органическую часть столь чуждой ей социальной инженерии. Неоклассическая экономика, напротив, возвела правильность предсказания в критерий научности. «Представители основного течения экономической мысли отказываются принимать всерьез любую экономическую теорию, если она не отваживается на определенные прогнозы экономических событий, и в конечном счете судят об экономических теориях по точности сделанных на их основе предсказаний» (Блауг 2004: 19–20). Это убеждение подкрепляется

<sup>20</sup> См., например, главу 3 настоящей книги.

строительством все более и более сложных эконометрических моделей, призванных предвидеть тренды развития. В реальности история прогнозов приверженцев неоклассической школы есть история их крахов.

Первопроходцем в этой истории стал не кто иной, как столп американской неоклассики Ирвин Фишер (1867–1947), который неоднократно выражал полностью не оправдавший себя оптимизм накануне и в ходе Великой депрессии (Скоузен 2002: 175–177)<sup>21</sup>. Кроме того, предпринятая более полувека спустя попытка ретропрогноза Великой депрессии также не удалась<sup>22</sup>.

Особо издевательски по отношению к апологетам математического моделирования и прогнозирования выглядит история с крахом хедж-фонда *LTCM (Long Term Capital Management)* в 1998 г., в правление которого входили два лауреата Нобелевской премии по экономике 1997 г. — Майрон Скоулз и Роберт Мертон<sup>23</sup>, и который с 1994 г. стал работать на

<sup>21</sup> Известный историк экономической мысли Блауг характеризует Фишера как одного из величайших и, несомненно, ярчайших американских экономистов, которые когда-либо существовали (Блауг 2005: 317). В то же время он пишет: «Его огромное влияние среди профессиональных американских экономистов (не говоря о его личном состоянии) рухнуло в 1929 г.: он не только не сумел предсказать крах на Уолл-стрите, но и после его наступления продолжал месяц за месяцем утверждать, что начало нового бума уже за углом» (там же: 321). Есть смысл обратить внимание на то обстоятельство, что Фишер был одним из первых профессиональных математиков, ставшим экономистом и широко внедрившим свои профессиональные знания в экономический анализ.

<sup>22</sup> В 1988 г. три эконометрика из Гарвардского и Йельского университетов сделали попытку оправдать предшественников (Фишер был профессором Йельского университета, а журнал *Harvard Economic Service* тоже давал в то время прогнозы не лучше фишеровских). Но и они на основе современных эконометрических методов временных рядов не сумели сделать верный ретропрогноз в отношении Великой депрессии. Как констатирует описывающий эту неудавшуюся попытку ретропрогноза Марк Скоузен, она не столько оправдывает предшественников-неудачников, сколько говорит о принципиальной несостоятельности использования эконометрических моделей (Скоузен 2002: 206–207, примеч.).

<sup>23</sup> Всемирно известна модель ценообразования опционов Блэка–Скоулза (так называемая формула Блэка–Скоулза), которая и послужила основанием для присуждения Скоулзу Нобелевской премии по экономике в 1997 г. Мертон получил Нобелевскую премию за «новый метод определения стоимости производных ценных бумаг». Выпускники финансовых специальностей экономических вузов хорошо знакомы с классическим учебником Мертона «Финансы», написанным в соавторстве с З. Боди (Боди, Мертон 2000).

фондовом рынке по компьютерной версии разработанной ими модели. Согласно ей, события приведшие к банкротству фонда, могли случиться один раз за миллиард лет (Боннер, Уиггин 2005: 73–79). Как видим, крах произошел гораздо раньше математически рассчитанной вероятности: цены, существенно отклонившиеся от исторически средних значений, так к ним и не вернулись, а на этой предпосылке о возвращении строилась их теория<sup>24</sup>.

Нобелевским лауреатам очень не везло с прогнозами и ранее. В 1970-е гг. американский экономист русского происхождения Василий Леонтьев находился на пике славы (лауреат Нобелевской премии по экономике за 1973 г.). В 1977 г. им (в соавторстве с другими экономистами) по заказу ООН был сделан проект «Будущее мировой экономики». Затем на основе этого проекта специально была выполнена работа о перспективах развития советской экономики на период до 2000 г. (Леонтьев, Марискал, Сон 1994). Сегодня мы можем сравнивать результаты прогноза с реальностью (табл. 3).

Таблица 3

**Базовый сценарий годовых темпов роста ВВП (прогноз и факт)**

Страны	1980–1990 (прогноз)	1980–1990 (факт)	1990–2000 (прогноз)	1990–2000 (факт)
США	2,6	3,0 (–0,4)*	2,5	3,3 (–0,8)
Япония	5,7	4,5 (+1,2)	3,4	1,6 (+1,8)**
СССР	3,0	н. д.	3,0	Распался

\* В скобках — отклонения фактических значений от прогнозируемых в процентных пунктах.

\*\* Если не принимать во внимание 1990 г., когда японский ВВП вырос на 5,6%, то среднегодовые темпы его роста в 1991–2000 гг. составят 1,2% и «леонтьевский прогноз» по Японии окажется завышенным не на 1,8, а на 2,2 процентных пункта.

Источники: Леонтьев, Марискал, Сон 1994: 234; IMF, WEO Database, April 2011.

<sup>24</sup> Причина несостоятельности модели Скоулза–Мертон и всех моделей финансовых рынков, построенных на гауссиане (кривой нормального распределения Гаусса), убедительно раскрыта в книге знаменитого финансиста Нассима Талеба о «черных лебедях». В ней же представлена острая критика неоклассических моделей (Талеб 2014).

Обратим внимание на то, что экономический прогноз получился с точностью до наоборот. В последнее десятилетие XX в. США развивались ускоренными темпами, а в Японии оно по причине стагнации получило наименование «потерянного». Что же касается СССР, то в советскую эпоху ВВП не рассчитывался. Вместо него статистика подсчитывала так называемый совокупный общественный продукт (СОП), который существенно отличался от ВВП<sup>25</sup>. Поэтому можно утверждать, что за 1980–1990 гг. «нет данных». В последнее же десятилетие прошлого века советская экономика, которой команда Леонтьева предсказывала трехпроцентный ежегодный рост, перестала существовать. На ее месте, как известно, образовались экономики 15 независимых стран с очень различным устройством (СССР после распада, 2007).

Очень громкий провал случился и с прогнозами мировой экономики МВФ в 2007 и 2008 гг., накануне и в период последнего глобального кризиса. В июле 2007 г. МВФ пересматривает в сторону повышения предшествующий, сделанный в апреле прогноз, сопровождая это следующим заявлением: «Значительный глобальный рост продолжается, и проектировки глобального роста как в 2007, так и в 2008 г. были подняты с 4,9 до 5,2%» (International Monetary Fund, July 2007). В табл. 4 представлены показатели скорректированного в сторону улучшения в июле 2007 г. прогноза на 2008 г. с реальными данными за 2008 г.

Особо «замечательно» в скорректированном в июле 2007 г. выглядит следующее предположение: «Ряд других рисков, однако, выглядят более сбалансированными. В особенности, в то время как коррекция в жилищном секторе продолжается, общий риск падения по отношению к внутреннему спросу в США несколько снизился» (International Monetary Fund, July 2007). Наверное, не надо напоминать, что через год с небольшим крупнейший кризис на рынке ипотечных облигаций США буквально обрушил спрос в этом секторе.

Не более «убедительным» оказался и скорректированный прогноз МВФ на 2009 год, сделанный год спустя (International Monetary Fund, July 2008). По всем развитым экономикам (как в целом, так и по отдельности) предсказывался вялый рост. На самом деле мы видим довольно существенный спад. Особо грубо ошиблись прогнозисты МВФ в отношении стран СНГ и России. Первым предсказывался рост в 2009 г. на 7,2%

<sup>25</sup> СОП превышает ВВП на величину импорта и промежуточного продукта, под которым подразумевают ценность товаров и услуг, потребленных в процессе производства ВВП.

Таблица 4

**Прогнозные и фактические темпы роста ВВП  
2008–2009 гг.**

Группы стран и отдельные страны	2008 (прогноз, июль 2007)	2008 (факт)	2009 (прогноз, июль 2008)	2009 (факт)
<i>Развитые экономики</i>	2,8	0,2 (+2,6)*	1,4	-3,4 (+4,8)
США	2,8	0,0 (+2,8)	0,8	-2,6 (+3,4)
Япония	2,0	-1,2 (+3,2)	1,5	-6,3 (+7,8)
Великобритания	2,7	-0,1 (+2,8)	1,7	-4,9 (+6,6)
Канада	2,8	0,5 (+2,3)	1,9	-2,5 (+4,4)
<i>Зона евро</i>	2,5	0,5 (+2,0)	1,2	-4,1 (+5,3)
Германия	2,4	0,7 (+1,7)	1,0	-4,7 (+5,7)
Франция	2,3	0,1 (+2,2)	1,4	-2,6 (+4,0)
Италия	1,7	-1,3 (+3,0)	0,5	-5,2 (+5,7)
Испания	3,4	0,9 (+2,5)	1,2	-3,7 (+4,9)
<i>Страны СНГ</i>	7,1	5,3 (+1,8)	7,2	-6,4 (+13,6)
Россия	6,8	5,2 (+1,6)	7,3	-7,8 (+15,1)
<i>Развивающаяся Азия</i>	9,1	7,7 (+1,4)	8,4	7,2 (+1,2)
Китай	10,5	9,6 (+0,9)	9,8	9,2 (+0,6)
Индия	8,4	6,2 (+2,2)	8,0	6,8 (+1,2)

\* В скобках — отклонения фактических значений от прогнозируемых в процентных пунктах.

Источники: IMF WEO Update, July 2007; IMF WEO Update, July 2008; IMF, WEO Database, April 2011.

(в реальности был спад на 6,4%) и второй — рост на 7,3%, который на самом деле обернулся спадом на 7,8% (табл. 4)<sup>26</sup>.

Ротбард подвел черту претензиям экономистов-математиков на знание будущего, поставив их в тупик одним вопросом, на который они до сих пор не решаются дать практический ответ, видимо, из-за боязни повторить судьбу Фишера. «Претензии эконометриков и других специалистов по математическим моделям экономики, что они в состоянии точно предсказывать ход будущих экономических событий, всегда будут наткаться на простой, но обескураживающий вопрос: “Если вы можете так точно все предсказывать, то почему вы не делаете этого на фондовом рынке, где точный прогноз может буквально озолотить?”» (Ротбард 2003: 388).

В свою очередь, сам Мизес писал: «Если бы было возможно вычислить будущее состояние рынка, то будущее не было бы неопределенным. Предпринимательских прибылей и убытков тогда бы не существовало. То, чего люди требуют от экономистов, находится за пределами возможностей смертного человека» (Мизес 2005: 817). Тем не менее, как это на первый взгляд ни покажется парадоксальным, прогнозы лучше удались представителям австрийской школы.

В ряду сбывшихся прогнозов называют два глобальных ее «пророчества»: во-первых, предсказание Великой депрессии Мизесом и Хайеком (Скоузен 2002: 187–191) и, во-вторых, их неоднократные обоснования несостоятельности и краха социализма. В отношении кризисов и австрийской школы управляющий директор инвестиционного банка *Calyon* Д. Шустер в своей книге отмечает следующее: «Хотя австрийская школа не пользуется большим влиянием в академических кругах и центральных банках, у нее много поклонников среди участников финансовых рынков. Приверженцы этой школы (большинство из них американцы и британцы) своевременно предсказали кризисы 1929 и 2007–2008 гг.» (Шустер 2010: 113–114).

<sup>26</sup> В 2006 г. ректор РЭШ Марат Гуриев, пропагандируя экономический мейнстрим, заявлял (в ответ на вопрос о том, какие задачи лучше не решать с помощью экономических методов): «Например, в России нельзя сделать хороший прогноз экономического роста на три года вперед. В Америке можно, а в России нельзя или можно, но тогда будет ошибка измерения  $\pm 2-3$  процентных пункта, что делает это бессмысленным» (Гуриев 2007). По критерию Гуриева выходит, что не только прогнозы по России, но и по США (и первый, и второй) бессмысленны. Вряд ли есть сомнения в том, что МВФ собирает для своих прогнозов команду выдающихся эконометриков. Вот только математика здесь бессильна.



В настоящее время начинает сбываться и третья «пророчество»: государство «всеобщего благосостояния» постепенно тонет под давлением демографических перемен и нежизнеспособности заложенных в его основание концепций. При этом далеко не всегда обращается внимание на то, что в качестве одной из основных причин переживаемого ныне кризиса единой европейской валюты является тяга к государствам «всеобщего благосостояния», которая оборачивается устойчивыми бюджетными дефицитами и вытекающим из них ростом государственного долга как в абсолютном, так и в относительном выражениях<sup>27</sup>.

«Экономическая теория, — пишет Уэрта де Сото, — может предсказывать только общие тенденции (то, что Хайек называет «паттернами»). Такие прогнозы носят теоретический характер; они относятся к негативным последствиям институционального принуждения (социализма и интервенционизма) по отношению к рынку» (Уэрта де Сото 2011: 43). Именно данное качество делает методологию австрийской школы ценным инструментом экономической теории развития. В этом легче всего убедиться на примере австрийской оценки природы и исторического места социализма<sup>28</sup>. Если австрийская школа регулярно заявляла и заявляет о грядущих неудачах самых разнообразных социалистических проектов, то «неоклассические модели (общего равновесия) использовались

<sup>27</sup> Одной из наиболее убедительных работ, демонстрирующих вероятный грядущий крах пенсионных и социальных систем в США, является работа американского экономиста Лоуренса Котликоффа (в соавторстве со Скоттом Бернсом) «Пенсионная система перед бурей» (Котликофф, Бернс 2005). При этом надо заметить, что перевод ее названия на русский неточен и сужает содержание. На английском оно звучит как *The Coming Generational Storm* («Надвигающийся поколенческий шторм»). Речь в ней идет не только о кризисе пенсионных систем, но и системы социального обеспечения в целом в силу сдвигов в численности поколений. Кризису государству благосостояния недавно был посвящен целый номер журнала Института Катона (США). В одной из статей было показано, что все познается в сравнении. Положение дел в зоне евро заметно хуже, чем в США. В ней средние расходы стран на социальную защиту составляют 30% ВВП, а в США — 15% (Gokhale, Partin 2013: 195).

<sup>28</sup> Австрийское экономическое учение дает очень широкое определение социализма как любого институционального ограничения или агрессии по отношению к свободному проявлению человеческой деятельности или предпринимательства (Уэрта де Сото 2008: 99–100). Под это определение подпадают, например, и социализм советского типа, и современные государства «всеобщего благосостояния», и практика государственного регулирования. Все это, по Хайеку, разновидности «пагубной самонадеянности» (Хайек 1992).

для теоретического обоснования возможности социализма» (Уэрта де Сото 2011: 53).

По всей видимости, отчасти и благодаря своей «победе над социализмом», включая и все виды построенных на основе математических моделей общего равновесия концепций так называемого рыночного социализма, австрийская школа и игнорируется современным экономическим мейнстримом<sup>29</sup>. В то же время, с нашей точки зрения, именно по этой причине следует уделить ей особое внимание как, возможно, наиболее адекватному подходу к интерпретации истории и развития стран.

#### 4.4. НОВАЯ ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ: ИНСТИТУТЫ И МЕТИС

Экономика развития дольше, чем даже мейнстримовская макроэкономика, находилась под прессом кейнсианских догматов. Не случайно Беттке<sup>30</sup> и Кристофер Койн в своей статье со ссылкой на Уильяма Истерли<sup>31</sup> отмечают, что отражающая кейнсианское учение модель экономического роста Харрода-Домара (1940-е гг.) и вытекающая из этой модели концепция «инвестиционного разрыва» (нехватки инвестиций в физический капитал

<sup>29</sup> О других причинах сознательного и целенаправленного превращения ее в изгой см.: Уэрта де Сото 2011: 57–58. В частности, Шустер обращает внимание на то, что «экономисты, являющиеся сторонниками главных течений экономической мысли, отрицают эту школу из-за методологической «туманности» (они не используют математический язык в своих формулировках) и отсутствия позитивной социальной инженерии, которая свойственна и монетаризму, и кейнсианству во всех их разновидностях» (Шустер 2010: 114). В то же время есть и «перебежчики» из другого лагеря. Например, цитированный выше известный историк экономической мысли Блауг. «Постепенно и крайне неохотно, но я все же пришел к выводу о том, что они (австрийская школа) были правы, а мы все заблуждались (в вопросе о вальрасианском равновесии)» (цит. по: Уэрта де Сото 2009: 164).

<sup>30</sup> Напомним, что Беттке — один из самых известных представителей современной австрийской школы. В частности, он является редактором Элгаровского справочника по австрийской экономике (*The Elgar Companion* 1994) и недавно изданного Справочника по современной австрийской экономике (*Handbook on Contemporary...* 2010).

<sup>31</sup> Бывший старший советник Всемирного банка, впоследствии разочаровавшийся в результатах его деятельности и в своих работах показавший несостоятельность многих предпринимаемых им усилий. В России переведена и издана его книга «В поисках роста: приключения экономиста в тропиках» (Истерли 2006).

как причины отсталости) широко используются международными финансовыми институтами при принятии решений относительно помощи и инвестиций (Coyne, Boettke 2006). Однако, несмотря на остаточные попытки возродить кейнсианский подход к проблемам развития<sup>32</sup>, он продолжает восприниматься больше как анахронизм. На первый план еще в 1990-е гг. вышел анализ институтов

Сегодня практически все вслед за Нортон повторяют, что «институты имеют значение». Однако Беттке и Койн как в уже указанной выше статье, так и в более новой, написанной в соавторстве с Питером Лисоном (Boettke, Coyne, Leeson 2008), делают интересную попытку ответить на вопрос: какие институты имеют значение? Для этого они разработали собственную классификацию институтов (рис. 9).

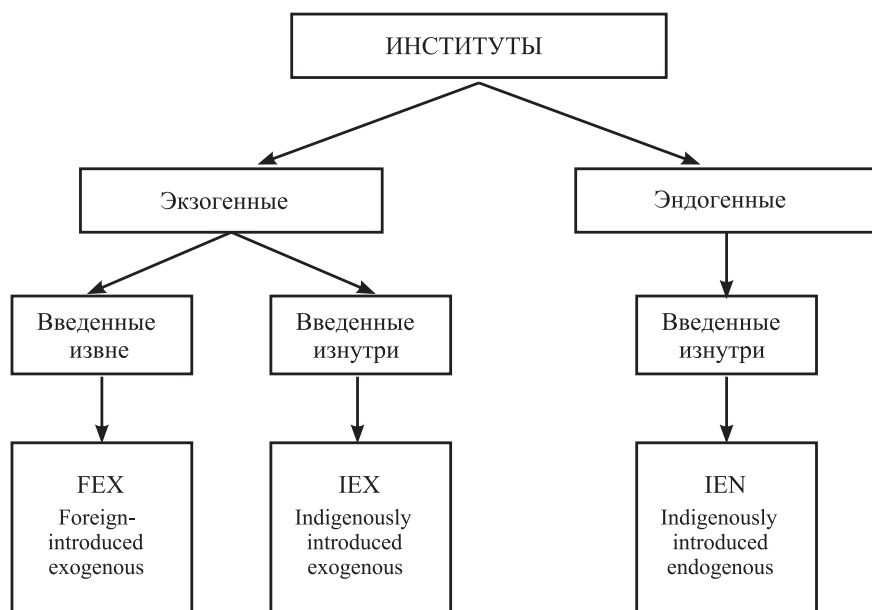


Рис. 9. Структура институтов по Беттке–Койну–Лисону

<sup>32</sup> Наглядный пример такой попытки представлен в книге нобелевского лауреата по экономике, бывшего старшего вице-президента и главного экономиста Всемирного банка (1997–2000) Джозефа Стиглица, опубликованная в русском переводе вскоре после ее выхода на Западе в 2002 г. (Стиглиц 2003).

Таким образом, как мы видим, в конечном счете все институты поделены на три категории:

1. Введенные извне экзогенные институты (FEX — *foreign introduced exogenous*).

2. Введенные изнутри экзогенные институты (IEX — *indigenously introduced exogenous*).

3. Введенные изнутри эндогенные институты (IEN — *indigenously introduced endogenous*).

Для начала дается деление на две большие группы: экзогенные и эндогенные. Под первыми имеются в виду такие институты, которые «сконструированы и установлены сверху» (Ibid.: 335). Они являются порождениями либо внешних организаций-аутсайдеров (например, ЕС, МВФ, Всемирный банк), либо национальных правительств (инсайдеров). В первом случае говорят о введенных извне экзогенных институтах, во втором случае — о введенных изнутри экзогенных институтах. Примером первых могут служить, скажем, изменения в системе законодательства, продвинутое под руководством и влиянием так называемого сообщества по вопросам развития (*development community*, далее — *DC*)<sup>33</sup>. Примером вторых может быть федерализм в США или парламентаризм в Великобритании (Ibid.)<sup>34</sup>.

И наконец, особая группа институтов — эндогенные. Они «включают местные нормы, обычаи и практики, которые развились как неформальные с течением времени в конкретных местах» (Ibid.). В отличие от экзогенных, они не могут быть введены извне. Примером такого института Беттке с соавторами называет язык (Ibid.).

Разумеется, всякая классификация условна. В особенности таких часто трудно постижимых и изменяющихся явлений, как институты. Один и тот же институт может подпадать под различные категории

<sup>33</sup> Здесь можно вспомнить, к примеру, о Копенгагенских критериях вступления стран в Евросоюз (вступающие в него страны должны предварительно выполнить целый комплекс мер в сфере законодательства, правительственных и юридических институтов, а также экономической области).

<sup>34</sup> Пакт о стабильности и росте в ЕС (ряд требований к унификации бюджетной и налоговой политики входящих в него стран) гораздо ближе к IEX институтам, чем к FEX институтам, поскольку он принят единогласным решением стран-участниц. Тогда как страны-кандидаты в члены ЕС к выработке Копенгагенских критериев никакого отношения не имеют.

в зависимости от места (страны, региона), что достаточно очевидно. В то же время один и тот же институт может попадать под различные категории в зависимости от исторического времени в одном и том же месте. Беттке с соавторами здесь в качестве примера приводит деньги: до появления центральных банков, когда создание денег не было монополизировано государственной властью, они относились к IEN институту; после появления центральных банков они в XX в. становятся IEX институтом (Ibid.: 336).

В настоящее время довольно точно определен набор институтов, способствующих развитию. Они хорошо всем известны: права собственности, верховенство закона, необременительное госрегулирование, свобода торговли и др. Все они входят в показатель глобального рейтинга экономической свободы, ежегодно рассчитываемого Институтом Фрэнзера (Канада). На *рис. 10* очевидна прямая связь экономической свободы (развивающиеся страны распределены по квартилям в соответствии со значениями индекса экономической свободы) с приростами ВВП на душу населения в этих странах за 1990–2007 гг.



*Рис. 10.* Увеличение среднедушевого ВВП развивающихся стран за 1990–2007 гг., 1990 г. = 100%

Источник: Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report

Однако эти институты являются далеко не органичными для абсолютного большинства тех стран, которые более всего нуждаются в них

для ускоренного и устойчивого развития. И поэтому весь вопрос в том, насколько транспортабельны эти благоприятствующие росту институты, как они приживаются в тех странах, куда импортируются извне? Речь идет о так называемой прилипчивости (*stickiness*)<sup>35</sup> FEX институтов и о том, как она соотносится с таким же качеством IEX и IEN?

Для поиска ответа на поставленные вопросы следует начать с более пристального рассмотрения IEN институтов. В своем анализе этих институтов Беттке и соавторы отталкиваются от Хайека, его концепции спонтанно возникающих институтов<sup>36</sup>. Их эндогенное происхождение указывает на их желательность с точки зрения коренных обитателей; эти институты неформальны в том смысле, что не навязаны и гибко отражают изменения предпочтений тех, кому служат. Их живучесть говорит о том, что они более предпочтительны по сравнению с прочими возможными институтами из IEN институтов.

Эндогенность в сочетании с их неформальным происхождением (самозарождением) и развитием в процессе взаимодействия людей свидетельствует о том, что IEN институты уходят своим основанием в то, что Беттке с соавторами именуется древнегреческим словом *memus* (*mētis*)<sup>37</sup>. «*Memus* включает умения, культуру, нормы и соглашения, сформированные из опыта индивидов» (Coyne, Boettke 2006: 54). Его компоненты

<sup>35</sup> В дальнейшем английский термин *stickiness* применительно к институтам мы будем переводить как устойчивость. На наш взгляд, это слово наиболее близко передает его смысловое значение. Ведь речь идет о прочности соединения того или иного института с тем или иным социумом, степени его укорененности в обществе.

<sup>36</sup> Хайек писал, что «многие институты, составляющие фундамент человеческих свершений, возникли и функционируют без какого бы то ни было замыслившего их и управляющего ими разума» (Хайек 2000: 27). При этом «спонтанное сотрудничество свободных людей часто создает вещи более великие, чем индивидуальные умы смогут когда-либо постичь в полной мере» (там же: 27–28). «Полезнейшие из человеческих институтов, от языка до морали и закона, вовсе не изобретены человеком сознательно <...> Основные инструменты цивилизации — язык, мораль и деньги — суть результат не проекта, а стихийного развития» (Хайек 2006: 484).

<sup>37</sup> Этот термин возродил из небытия американский политолог и социолог Джеймс Скотт. Слово *metis* восходит к классической Греции и означает знание, которое можно получить только из практического опыта; оно противопоставляется Скоттом более формальному дедуктивному, эпистемическому знанию (Скотт 2005: 24). «В широком смысле оно (слово *metis*. — А. З.) означает огромное множество практических навыков и приобретенных сведений в связи с постоянно изменяющимся природным и человеческим окружением» (там же: 498).

не могут быть прописаны как некий комплект систематизированных инструкций; он обретается только через опыт и практику<sup>38</sup>.

Беттке с соавторами в качестве примера приводит торговлю бриллиантами в Нью-Йорке, в которой доминируют ортодоксальные евреи. Они используют весьма специфический набор сигналов, намеков и механизмов обязательств, которые снижают транзакционные издержки торговли. Торговля бриллиантами проходила бы далеко не столь гладко, если бы на месте этих людей оказались случайные торговцы (Boettke, Coyne, Leeson 2008: 338)<sup>39</sup>.

IEN институты вырастают непосредственно из *metis*; можно сказать, что они — институционализированный *metis*. Другой пример, который приводит в этой связи Беттке с соавторами, — это пуритане в Новой Англии в XVII в. «Мутировавшая смесь британской культуры и пуританской идеологии среди поселенцев сочетала освобождение экономики от ограничений и давала моральную санкцию частной собственности и рабочей этике» (Ibid.: 339).

*Metis* — это то, что придает институтам устойчивость. Опираясь медицинскими терминами, можно говорить об их приживаемости в организме. В этом смысле IEN институты генетически однородны с *metis* и их отторжение невероятно без изменений самого *metis*.

<sup>38</sup> Очевидно, что *metis* включает в себя социальный капитал. «Социальный капитал можно определить просто как набор неформальных ценностей и норм, которые разделяются членами группы и которые делают возможным сотрудничество внутри этой группы» (Фукуяма 2004а: 30). Беттке с соавторами в статье «Новая сравнительная политическая экономия» также активно использует это понятие (Boettke et al. 2005: 294). К сожалению, они не проводят сравнений двух понятий, поэтому не совсем ясно, что сделало необходимым введение нового термина. Если следовать определениям, то можно выдвинуть предположение о том, что *metis* — более широкое понятие, прежде всего за счет такой его составляющей, как практические знания и умения. Скорее всего, они равносильны традиционному для австрийской школы представлению об информации и знании, значимых для предпринимателя. Уэрта де Сото выделил шесть свойств такого знания: субъективное и носит практический (ненаучный) характер, частное (эксклюзивное), рассеяно в умах всех людей, неявное (неартикулируемое), созданное «из ничего» и могущее быть передано в основном бессознательно (Уэрта де Сото 2011: 67).

<sup>39</sup> «Как хорошо понимал Адам Смит, экономическая жизнь глубоко укоренена в социальной жизни и ее невозможно понять отдельно от обычаев, нравов и устоев конкретного исследуемого общества — одним словом, отдельно от его культуры» (Фукуяма 2004б: 31).

Другое дело — IEX и FEX институты. Начнем с первых. С одной стороны, они вводятся изнутри, т. е. официальные власти, иницирующие и проводящие их внедрение, не представляют *DC*. С другой стороны, они уязвимы в плане устойчивости, так как появляются не как преднамеренный продукт свободного взаимодействия людей, а как экзогенный, сознательно спланированный и внедряемый государством проект. Эта уязвимость проистекает в конечном счете из-за того, что официальные власти не обладают и не могут обладать рассеянной в массах информацией, их практическим, неявным знанием. Этот неустранимый информационный зазор может оказаться причиной отторжения IEX институтов. Сила их сцепления с *metis* явно меньше, чем у IEN институтов<sup>40</sup>.

И наконец, FEX институты. Конструирующие их зарубежные институциональные дизайнеры еще дальше, чем национальные власти, отстоят от местных практик и традиций. Поэтому вероятность отторжения рекомендуемых ими институциональных инноваций (FEX институтов) значительно выше, чем IEX институтов (а устойчивость, естественно, ниже). Хотя это, конечно, не означает, что данные инновации всегда отторгаются<sup>41</sup>. Однако угроза отторжения — самая большая проблема для FEX институтов. Препятствием для развития может быть то, что необходимые для него «правильные» институты часто попадают под эту категорию и не могут быть успешно трансплантированы в страну, которая более всего объективно в них нуждается. В целях внедрения они должны быть связаны с теми IEX институтами, которые, в свою очередь, опираются на IEN институты.

Тот факт, что устойчивость институтов падает по мере их удаления от *metis*, схематически представлен на рис. 11.

<sup>40</sup> IEX институты могут быть прежними IEN институтами (деньги, некоторые разделы права). Тогда они прочнее соединены с *metis*, чем те IEX институты, которые никогда не находились в статусе IEN институтов.

<sup>41</sup> Примером успешного «вживления» FEX институтов является послевоенная Япония — в частности, история с ее конституцией. Написанная в США, она после перевода японскими специалистами на японский язык стала восприниматься как внутренний продукт. «FEX институты, созданные в соответствии с конституцией, сохраняли ключевые элементы традиционного японского *metis* и в этом смысле воплощали существовавшие прежде IEX и IEN институциональные устройства» (Boettke, Coyne, Leeson 2008: 347).



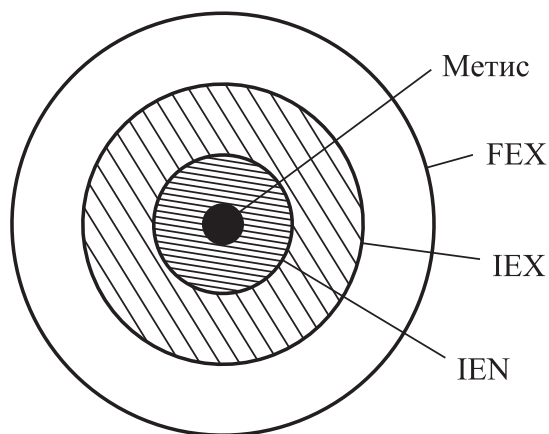


Рис. 11. Устойчивость институтов

На основе предложенной теории устойчивости институтов Беттке с соавторами делает два ключевых для новой экономики развития вывода.

Во-первых, успешные институциональные изменения в развивающемся мире должны иметь опору в виде IEN институтов.

Во-вторых, если предлагаемое изменение не может быть увязано с IEN институтами, то попытка его введения должна быть оставлена (Ibid.: 344).

Тот факт, что успешные институциональные изменения должны быть в конечном счете увязаны с IEN институтами, Беттке с соавторами назвал теоремой о регрессии (Ibid.: 344–345). Она утверждает, что устойчивость ( $S$ ) любого из институтов ( $I$ ) в момент времени  $t$  есть функция устойчивости этого института в момент времени  $(t - 1)$ . Устойчивость института в момент времени  $(t - 1)$  есть, в свою очередь, функция от его устойчивости в момент времени  $(t - 2)$  и так далее. Другими словами:  $S_t^I = S_{t-1}^I(S_{t-1}^I)$ , где  $S_{t-1}^I = S_{t-1}^I(S_{t-2}^I)$  и в общем случае  $S_{t-n}^I = S_{t-n}^I(S_{t-(n+1)}^I)$ .

Эта последовательность, однако, не представляет собой бесконечной регрессии, так как устойчивость какого-либо института в момент его возникновения произвольно большое число периодов назад ( $N$ ) определяется его статусом как института в  $t - N$ . Таким образом, в  $t - N$  устойчивость института  $I$  зависит от того, является ли он IEN, IEX или FEX институтом. Так что  $S_{t-N}^I = S_{t-N}^I(I^{IEN}, I^{IEX}, I^{FEX})$ , где  $S^{IEN} > S^{IEX} > S^{IFEX}$  как это следует из ранее проведенного анализа. Таким образом, «теорема

о регрессии находит причину устойчивости институтов сегодня в их прошлой устойчивости, которая в конечном счете является функцией их близости к метису» (Ibid.: 345).

Однако, пожалуй, один из самых важных моментов, присутствующий в анализе институтов у Беттке с соавторами, это утверждение о том, что институциональная устойчивость не эквивалентна институциональной доброкачественности. В этом видится, скорее, не расхождение с теорией спонтанного происхождения эффективных институтов Хайека, но существенное ее дополнение. Ведь его утверждение о том, что все наиболее эффективные институты возникают спонтанно, еще не означает обратного — что спонтанно не могут возникать и «плохие» институты. «Не всякий эндогенно созданный институт при всех обстоятельствах является эффективным или благоприятствующим экономическому развитию» (Ibid.). Более того, многие IEN институты могут препятствовать экономическому росту. «Следовательно, устойчивость есть необходимое, но недостаточное свойство института для создания экономического роста» (Ibid.)<sup>42</sup>.

Итак, раз IEN институты могут быть и плохие, тормозящие развитие, то отсюда неизбежно вытекает аналогичное предположение в отношении метиса. Впрочем, это отнюдь не сенсационное открытие. Выше отмечалось, что метис включает в себя социальный капитал. Однако само понятие социального капитала, согласно Фукуяме, совсем не содержит в себе неизменных положительных качеств: коллективные ценности и нормы, делающие возможными сотрудничество, не всегда направляют эту кооперацию людей на благо прогресса. «Несмотря на то, что о социальном капитале и о гражданском обществе часто говорят как о полезной вещи, которой хорошо обладать, они не всегда приносят пользу. Координация необходима для любой социальной деятельности: как для полезной, так и для вредной» (Фукуяма 2004а: 33). Да и Беттке вместе с Койном, Лисоном и Саутетом писал о «темной стороне» социального капитала<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> В качестве примера дается ссылка на послевоенный опыт Восточной Европы. Во многих ее частях, где FEX институты были внедрены силой, они оказались довольно устойчивыми, но тормозили прогресс (Boettke, Coyne, Leeson 2008: 345).

<sup>43</sup> «“Темная сторона” социального капитала может включать такие вещи, как исключение аутсайдеров или давление ради соответствия нормам и ценностям, являющегося условием принадлежности к группе» (Boettke et al. 2005: 294)

И тут мы подходим к другой важной стороне теории современных «австрийцев»: они допускают изменения *метиса* и не рассматривают его как нечто застывшее (Coyne, Boettke 2006: 55). При этом, подчеркивая необходимость соответствия между ним и институтами в качестве условия успешного развития, приводят схему (рис. 12), очень напоминающую мизесовскую триаду (рис. 8).



Рис. 12. Метис — институты — результаты

Действительно, если мы сравним эти два рисунка, то заметим, что на месте «идей, ценностей, умонастроений» (рис. 8) расположился *метис*. Это замещение — вовсе не случайно. «Понятие *метис* шире понятия общественное мнение. Тем не менее общественное мнение и идеология могут рассматриваться как важнейшие составляющие *метиса*. В самом деле <...> изменения в общественном мнении и, следовательно, *метисе* критически важны для общественных перемен» (Ibid.: 57). Причем и экзогенные акторы могут оказывать на него влияние (Ibid.: 56).

В итоге любой экономист-реформатор, стремящийся привить отсталому обществу благоприятные для развития институты, в случае расхождения их с *метисом* располагает двумя вариантами действий:

- а) либо подстраивать институты под *метис*, что, кстати, далеко не всегда возможно без утраты их прогрессивного содержания;
- б) либо, напротив, стараться трансформировать *метис* так, чтобы он не отторгал эти институты.

Таким образом, если *метис*, говоря словами Мизеса, поражен «антикапиталистической ментальностью», то следует направить усилия на ее преодоление. В противном случае капиталистические институты либо не приживаются вовсе, либо (что происходит гораздо чаще) подрываются проникающими в них неформальными и разрушительными с точки зрения задач развития институтами<sup>44</sup>.

Однако в любом случае, как пишут в недавней статье о сравнительной исторической политической экономии Беттке, Койн и Лисон,

<sup>44</sup> Теория и практика «подрывных» институтов исследована Владимиром Гельманом (Гельман 2010).

надежное повышение национальной конкурентоспособности предполагает сравнение релевантных и тем самым осуществимых институциональных альтернатив (Boettke, Coyne, Leeson 2013: 14). Это означает, что не надо сравнивать институты слаборазвитой страны с институтами развитых рыночных демократий и стараться изо всех сил внедрять последние. Реформаторам нужно найти не абстрактно идеальную, а реальную, приемлемую альтернативу в лице институтов, которые приживутся в данном обществе.

#### 4.5. О РОЛИ ЭКОНОМИСТА

Приступая к обсуждению вопроса роли экономиста, стоит обратить внимание на ее непосредственную взаимосвязь с функциями, которые принимает на себя государство. Койн и Беттке представили ее в виде матрицы, которую назвали «дилемма развития» (рис. 13) (Coyne, Boettke 2006: 60). Государство может принимать на себя как роль рефери, так и роль игрока. В первой оно ограничивается принуждением к соблюдению возникающих изнутри правил. Во второй государство еще и активно создает правила. В этом своем качестве оно экзогенно навязывает сверху институциональный порядок, вместо того чтобы ограничиться исключительно распознаванием и обеспечением реализации органичных обществу институциональных качеств, которые образуются спонтанно снизу.

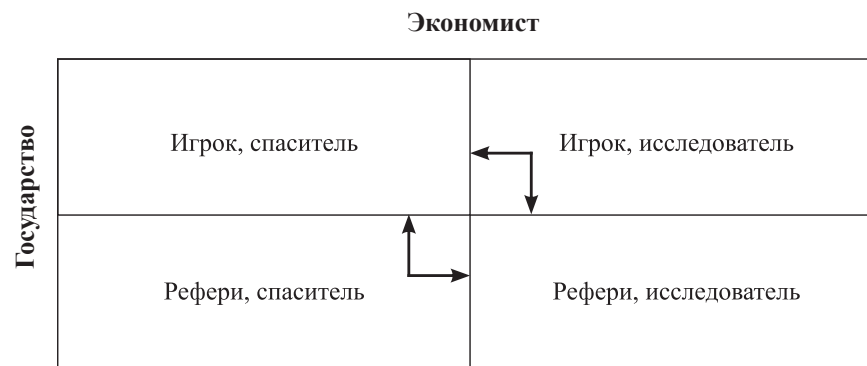


Рис. 13. Дилемма развития

Экономист в роли исследователя экономики способен выявлять экономические законы и использовать их для объяснения фактов. Прогнозы, как мы уже могли убедиться, могут быть только качественные: если имеет место  $X$ , то тогда последует  $Y$ , затем —  $Z$  и т. д.<sup>45</sup> В контексте экономики развития «исследователь» преимущественно озабочен пониманием того, как сложившиеся внутри институты развиваются в целях удовлетворения определенных общественных потребностей и как они функционируют в рамках уникального культурного контекста рассматриваемой страны в целях координации экономической деятельности. Однако «сообщество по развитию» (*development community* — *DC*) не ограничивает роль экономиста выявлением причинно-следственных связей и пониманием специфики эндогенных институтов. В соответствии с желанием нанимателя быть двигателем перемен, экономист принимает на себя роль «спасителя»: его рекомендации в области политики главным образом касаются того, какие новые институциональные устройства должны быть внедрены взамен «неэффективных» сформировавшихся внутри институтов. В конечном счете от «спасителя» требуются рекомендации того, как государство «должно вмешиваться».

Если мы обратимся к представленной выше в матричной форме дилемме развития, то заметим, что в ней в двух квадрантах наблюдается неравновесие. Когда государство берет на себя роль «игрока», то его не удовлетворяет роль экономиста только как «исследователя». Государство требует от него «практических рекомендаций» по способам вмешательства. Поэтому присутствует тенденция либо к изменению роли государства (с «игрока» на «рефери»), либо к изменению роли экономиста (с «исследователя» на «спасителя»), что показано на рис. 13 стрелками. Аналогично неустойчива ситуация «рефери — спаситель». У государства-рефери просто отсутствует потребность в привлечении экономиста на роль «спасителя». Здесь стрелками показана возникающая тенденция либо трансформации государства в «игрока»,

<sup>45</sup> Примерно так Мизес показывал непредусмотренные негативные последствия государственного вмешательства в рыночный ценовой механизм (Мизес 1993: 112–114; 2005: 710–731). «Если правительство, столкнувшись с крахом первого вмешательства, не готово вернуться к свободной экономике и позволить рынку выправить ситуацию, оно должно будет наращивать цель ограничений и регулирования. По этому пути шаг за шагом оно дойдет до того, что все экономические свободы индивидуума исчезнут» (Мизес 1993: 112). Впоследствии эта логическая цепочка Мизеса была названа теорией «чернильного пятна».

либо экономиста — в «исследователя». Равновесные состояния соответственно наблюдаются в левом верхнем и правом нижнем квадрантах.

Равновесие в правом верхнем квадранте можно рассматривать как «плохое» равновесие. Беттке вместе со Стивеном Хорвитцем довольно обстоятельно рассмотрели, как на протяжении различных этапов истории экономической мысли роль экономиста как исследователя менялась на роль спасителя и наоборот (Boettke, Horwitz 2005: 10–39). В качестве причины расцвета и доминирования «инженерной» функции экономиста они указывают на три обстоятельства: во-первых, формализм и позитивизм в экономической теории; во-вторых, большевистская революция и продвижение социализма; в-третьих, кейнсианская революция в макроэкономике и появление связанных с ней международных институтов публичной политики (Ibid.: 25).

Особо повысилась значимость этой функции после Второй мировой войны. Беттке и Хорвитц даже утверждают, что содержание советов, которые давались странам третьего мира из развитых капиталистических и развитых социалистических стран, в сущности, не отличалось и во всех вариантах экономист предстал в облики инженера<sup>46</sup>. В их работе показаны социалистические корни кейнсианства, его прямая интеллектуальная связь с советскими дискуссиями о планировании 1920-х гг.<sup>47</sup> Как бы то ни было, в результате экономика развития стала отождествляться с макроэкономическим ростом и выводами для государственной политики, которые состояли в том, что государство может порождать, контролировать и конструировать экономический рост путем различных ключевых интервенций.

Беттке и Хорвитц указали также на три причины начавшегося в конце XX в. возвращения экономической теории «к скромности». Во-первых, крах кейнсианского консенсуса в отношении макроэкономической политики; во-вторых, коллапс коммунизма в Восточной и Центральной Европе; в-третьих, разочарование в программах иностранной помощи

<sup>46</sup> «Советы по проведению политики, даваемые слаборазвитому миру как капиталистическими, так и социалистическими странами, были почти идентичны и отражали интеллектуальную трансформацию политической экономии экономики развития <...>, придавая экономистам звездную роль спасителей третьего мира в качестве “практикующих инженеров”» (Boettke, Horwitz 2005: 28).

<sup>47</sup> Евсей Домар (1914–1997), один из создателей упоминавшейся ранее кейнсианской модели экономического роста, отмечал, что дебаты в 1920-х гг. в журнале «Плановая экономика» послужили ему ценным источником идей при разработке этой модели (Boettke, Horwitz 2005: 29).

наименее развитым странам (Boettke, Horwitz 2005: 23–34). Произошел сдвиг, говоря словами американского экономиста Вернона Смита, от «конструктивистской рациональности» к «экологической рациональности» (Ibid.: 37). «В области экономики развития — это шаг от государства, непосредственно дирижирующего экономической деятельностью, к государству, создающему благоприятные условия для развития снизу вверх» (Ibid.). И естественно, «роль формирующего политику экономиста сместилась от конструирующего экономическое развитие к культивирующему экономическое развитие» (Ibid.).

Разумеется, возвращение экономиста из роли «спасителя», инженера в роль исследователя, ученого — лишь тенденция. Ей противостоят два обстоятельства. Во-первых, неверное представление о том, что реально может сделать экономическая наука<sup>48</sup>. Во-вторых, порочные стимулы *ДС* и национальных правительств в развивающихся странах. «Хотя декларируемые цели *ДС* — искоренение бедности и социальных зол, имеется сильный стимул у вовлеченных в это провалиться в их достижении. Само собой, если конечная цель была бы на деле достигнута, участники международного *ДС* уничтожили бы исходную причину своей занятости» (Coyne, Boettke 2006: 62).

Что же выпадает на роль экономиста, лишившегося «инженерной должности»? Если кратко, то современная австрийская экономическая школа в лице Койна и Беттке отвечает на этот вопрос так: во-первых, изучать *metis*; во-вторых, при необходимости пытаться его изменить, выступая в роли просветителя, влияя на общественное мнение (Coyne, Boettke 2006: 62).

Первая задача требует налаживания междисциплинарной кооперации экономистов с этнографами, антропологами, историками. При изучении *metis* особое внимание должно быть уделено инкорпорированию этнографических методов исследования в экономический анализ развития: персональные интервью с участниками и официальными лицами, обзоры, наблюдения участников. В качестве примера приводятся работы перуанского экономиста, всемирно известного исследователя теневой экономики Эрнандо де Сото (Сото 2001; 2008).

Теперь о второй задаче. В сущности, в рыночной экономике роль экономиста сводится к роли просветителя. На это обстоятельство обращал внимание такой видный представитель австрийской школы, как Ротбард:

<sup>48</sup> В этом случае мы снова наталкиваемся на активизм, органически следующий из неоклассической теории «провалов рынка».

«В свободном обществе экономист исполняет чисто образовательную роль» (Ротбард 2003: 389). Его функция, согласно Ротбарду, — указывать на негативные последствия государственного вмешательства (там же).

Мизес, следуя своей теории об определяющей роли идей в человеческой истории, считал «бюрократизацию сознания», которую проводили в жизнь немецкие университеты, ответственной за беды Германии в XX в. «Европейский тоталитаризм является результатом господства бюрократии в области образования. Университеты подготовили почву для диктаторов» (Мизес 1993: 72)<sup>49</sup>. Именно они сформировали ту самую «антикапиталистическую ментальность», которая и стала базой этатизма и государственного интервенционизма<sup>50</sup>.

Койн и Беттке отмечают: «...экономист играет важную роль в формировании общественного мнения и идеологии, что имеет решающее значение в достижении долгоживущих институциональных и социальных изменений» (Coyne, Boettke 2006: 63). Вопрос только в том, что это будет за экономист и какой будет экономическая наука.

<sup>49</sup> Мизес неоднократно приводит слова одного из германских ученых — Эмиля Дюбуа-Реймона, сказанные им в 1870 г. и гласившие, что Берлинский университет служит «интеллектуальным телохранителем дома Гогенцоллернов». Потом он дает следующий комментарий: «Там, где университеты становятся телохранителями, а ученые жаждут занять свое место на “научном фронте”, уже широко распахнуты двери для варварства» (Мизес 2006: 19).

<sup>50</sup> «Единственное, что требовалось от университетского преподавателя общественных наук, — это поносить рыночную систему и энергично поддерживать государственный контроль» (Мизес 1993: 69).



## Глава 5

# ОТ МИЗЕСА К МАККЛОСКИ: РИТОРИКА И ИСТОРИЯ

### 5.1. ВВЕДЕНИЕ

Продолжение заложенной Мизесом «австрийской традиции» в объяснении истории в большей степени свойственно не столько Беттке и другим работающим с ним авторам, сколько Дейдре Макклоски (до смены пола в 1995 г. — Дональд Макклоски). Громко заявив о себе в качестве известного экономиста чикагской школы (12 лет преподавания в знаменитом Чикагском университете, куда молодого перспективного выпускника Гарварда пригласил в свое время лично Милтон Фридман), Макклоски впоследствии полностью отходит от неоклассического мейнстрима, идеологическое ядро которого как раз и олицетворяют знаменитые чикагские экономисты.

Об эволюции своих взглядов она сама говорит, что они проходили следующие этапы: левый анархизм князя Кропоткина (14 лет), социализм в духе Джоан Баэз (16 лет), кейнсианская экономика (19 лет), экономика, основанная на инженерном подходе (21 год), экономика спроса и предложения (25 лет), полная принадлежность к чикагской школе экономики вплоть до  $MV = PT$  (30 лет), австрийская школа экономики (48 лет) и, наконец, в 68 лет — гуманомика как экономика полноценных людей (MacCloskey 2011: 46). Гуманомика — это персональный продукт Макклоски и о нем, как о развитии традиций австрийской экономической школы, далее придется сказать несколько слов<sup>1</sup>.

В настоящее время она является профессором экономики и истории в Иллинойском университете, всемирно признанным специалистом в области экономической истории. Однако круг ее профессиональных интересов гораздо шире: она также занимает профессорские должности по коммуникациям и английскому языку. Особое место отводится ей

<sup>1</sup> Российский читатель может получить представление о гуманомике из статьи Макклоски, опубликованной в журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета» по материалам ее выступления на факультете свободных искусств и наук СПбГУ 26.04.2013 «Экономическая культура: ценности и интересы» (Макклоски 2013).

риторике, в первую очередь, разумеется, риторике экономики как науки, которой посвящена специальная монография «Риторика экономической науки» (McCloskey 1988). Как мы сможем убедиться, риторика для нее — отнюдь не пустой разговор<sup>2</sup>.

По всей видимости, именно огромный интерес к знаниям в различных областях не смог удержать этого экономиста в узких рамках традиционного и самовлюбленного в себя магистрального направления современного экономического анализа. Выйдя за них, Макклоски обрела «имя собственное»: ее творчество мало похоже на рассуждения абсолютного большинства экономических историков. Оно сверкает новизной, оригинальными методами и подходами. С ней можно и нужно спорить, но нельзя не признать, что ее фундаментальные работы придают ей образ нового Фернана Броделя (1902–1985), если судить по масштабу личности и поставленных в научных трудах вопросов и решаемых задач<sup>3</sup>. При этом надо подчеркнуть, что идеологически Макклоски и Бродель — антагонисты. Макклоски склонна к либертарианству австрийской экономической школы, а в Броделе видят предшественника мир-системного анализа как одного из самых влиятельных левых течений современной общественной мысли.

Макклоски — необычайно продуктивный автор. Достаточно сказать, что ею написано 15 книг и вскоре должна появиться шестнадцатая. В то же время тематика нашего исследования требует не обзора всего многогранного творчества автора, а сосредоточения на объяснении им истории. И в этом плане для нас, конечно, главный интерес будут представлять две фундаментальные монографии: «Буржуазные добродетели: этика эпохи коммерции» (McCloskey 2006) и, конечно, «Буржуазное достоинство: почему современная экономическая теория не может объяснить

<sup>2</sup> На русском языке вышли две ее переводные работы по риторике (Макклоски 2011; Макклоски 2012). Как отмечает в рецензии на ее последнюю книгу Джэк Хай, «в 1980-е годы она восстала против конструкций позитивизма в пользу риторического подхода, утверждая, что экономика — это не просто доказательство теорем и статистические выводы, но также аналогии, метафоры и повествование» (High 2013: 347).

<sup>3</sup> Эта высокая оценка — не преувеличение автора. Например, Беттке в отзыве на книгу «Буржуазные добродетели» констатировал, что «Дейдра Макклоски написала то, что должно быть признано в качестве наиболее амбициозной книги по политической экономии, опубликованной за столетия (возможно, и за целое столетие)» (Boettke 2006: 85).

современный мир» (McCloskey 2010a). В ближайшее время предстоит выход и третьей монографии из этой серии: «Высокооценимая буржуазия: как рынки и инновации стали добродетельными, 1600–1848, а потом — подозрительными» (McCloskey, forthcoming).

История по Макклоски — это обращение ее философии к историческим фактам. И на этой основе в монографии 2010 г. ведется полемика с альтернативными воззрениями. Обращаясь к ней, мы и узнаем, почему, по мнению автора, доминирующая экономическая теория не может объяснить современный мир.

## 5.2. ЧТО МЕШАЕТ ЭКОНОМИСТУ ПОНЯТЬ ИСТОРИЮ?

Макклоски неоднократно сравнивает экономическую историю человечества с лежащей на земле хоккейной клюшкой. Она имеет очень длинную рукоятку, которая видится как образ исторического периода в 2000 лет, когда человек жил в среднем на \$ 3 в день, и короткий загнутый крюк, относящийся к последним двумстам с небольшим годам, в течение которых его благосостояние в среднем увеличилось до \$ 33 в день. Это «Великое обогащение» (McCloskey 2014a), старт которого условно датируется 1800 г., пока, как мы знаем, необъяснимо. Точнее, все имеющиеся гипотезы на этот счет не получают сколько-нибудь широкого признания. Научный консенсус по данному вопросу никак не складывается.

Макклоски предлагает собственную оригинальную трактовку источника устойчивого экономического роста и, главное, его отправной точки, исходного импульса. Однако начать стоит не с нее, а с той критики, которой подвергается экономическая теория, поскольку, как говорится в подзаголовке книги о буржуазном достоинстве, эта теория не может объяснить современность. В чем же причина такой несостоятельности?

Если кратко, то в ее ограниченности. В чем она заключается? В неспособности видеть в человеке что-либо иное, кроме как действующего в условиях внешних ограничений максимизатора собственной полезности. Концепция *Max U*, по Макклоски.

Она называет экономистов, придерживающихся такого видения человека, самуэльсоновцами (*Samuelsonian*). Название, как легко догадаться, происходит от фамилии известнейшего американского экономиста, нобелевского лауреата Пола Самуэльсона (1915–2009). Упоминается его книга «Основания экономического анализа» (Samuelson 1947; рус. пер.:

Самуэльсон 2002), которая «настаивает на том, что любой экономический вопрос можно рассматривать как проблему максимизации полезности стремящихся к ней индивидов при наличии ограничений» (McCloskey 2010a: 456).

Кроме самого Самуэльсона, Макклоски выделяет вклад и другой знаменитости — и тоже нобелевского лауреата по экономике — Кеннета Эрроу. К теории Самуэльсона он добавил использование доказательства теоремы о существовании в стиле факультета математики, очень мало заботясь о философских основах существования<sup>4</sup>. Одновременно Макклоски отмечает, что самуэльсоновцев часто объединяют с учением еще одного нобелевского лауреата и символа чикагской экономической школы — Милтона Фридмана (1912–2006) или, как пишет она, фридманитами, под одним именем — неоклассики. При этом она, следуя своей склонности к философско-филологическому анализу, называет неоклассическое видение человека как рационального агента и построенные на этом модели поведения характерной для него метафорой<sup>5</sup>.

Большую часть своей последней книги Макклоски посвящает критике других концепций истоков современного роста. Начнем с того, что она делит их на две большие группы: накопительную, к сторонникам которой относится большинство неоклассических экономистов и значительная часть историков, и инновационную<sup>6</sup>. «Накопители» исходят из того, что решающим для ускорения роста после 1800 г. стало усиленное

<sup>4</sup> Речь идет о доказательстве Эрроу в соавторстве с Жераром Дебре постулированного еще Леоном Вальрасом (1834–1910) существования общего равновесия: одновременного равновесия на всех рынках при наличии совершенной конкуренции (Блауг 2005: 372). Макклоски имеет в виду, что в основе философии (методологической предпосылки) теории общего равновесия лежит все та же аксиома о *Max U*.

<sup>5</sup> «Модель рационального выбора — главенствующая метафора мейнстрима экономической науки, побуждающая к мыслям о том, что “как если бы” люди действительно так и принимают свои собственные решения» (Макклоски 2012: 413). «Неоклассики <...> очень любят свою метафору, представляющую людей как счетные машины. Проблема в том, что они приписывают этой метафоре “позитивный” и “объективный” статус» (там же). При этом «предполагается, что мир “похож” на сложную модель и его параметры похожи на легко вычисляемые и доступные показатели» (Макклоски 2011: 294).

<sup>6</sup> К разделяющим последнюю она относит Джозеля Мокира (Мокуг 2002; рус. пер.: Мокир 2012); Джэка Голдстоуна (Goldstone 2009; рус. пер.: Голдстоун 2014), Грэгори Кларка (Clark G. 2007; рус. пер.: Кларк 2012) и Дугласа Аллена (Allen 2012). См.: McCloskey 2010b.

накопление капитала. В то же время, относя себя ко второй группе, она остро критикует некоторых из ее представителей. Так, например, полемика с Кларком посвящена целых три главы «Буржуазного достоинства» (главы 30–32), так что другой Кларк (Генри Кларк) в рецензии на ее работу вопрошает: стоило ли опровержение нескольких параграфов целых трех глав? (Clark H. 2011: 86). У Кларка ее буквально возмутило то, что она называет социал-дарвинизмом и «культурным шовинизмом»<sup>7</sup>.

Однако начинает свою критику рассматриваемый нами автор, разумеется, не с книги Кларка, а с традиционных теорий, пытающихся объяснить так называемый Великий Факт (начало современного экономического роста) и выдвигающих на первый план роль бережливости, умеренности и накопления капитала (главы 14–19). Далее последовательно отвергаются в качестве претендентов на роль «первой скрипки» развитие транспортных путей и средств (глава 20), природные ресурсы, в особенности уголь (главы 21–22), торговля (главы 23–25 и 28), рабство, империализм и эксплуатация в целом (главы 26–27, 29); институты, такие как права собственности и политический плюрализм (главы 33–37), и даже наука (глава 38). Роль последней на начало промышленной революции была незаметна, и, кроме того, «даже сегодня, как показывают расчеты, явно преобладающая часть экономического роста имеет мало или ничего общего с наукой» (McCloskey 2010a: 360). В эпоху же развертывания этой революции паровая машина дала больше науке, чем наука ей.

Интересно чуть подробнее коснуться возражений Макклоски против исторических концепций новой институциональной экономики, поскольку, на первый взгляд, представляется, что у нее и Норта, Лала и др. должно быть больше общего, чем различий. Но, по ее мнению, это не так. Их она также относит к самуэльсоновцам. Основным характером

<sup>7</sup> В книге Кларка «Прощай нищета» развивается следующая идея: имущие классы в Англии были гораздо более многодетны, чем остальное население. Отсюда многим из потомков приходилось не рассчитывать на наследство или «теплые места», а спускаться вниз по социальной лестнице. Это явление несло буржуазные ценности в массы. Более того, эти ценности, возможно, даже «проникали в генетику», передаваясь из поколения в поколение. В дальнейшем это обернулось, по выражению Кларка, «хроническим культурным преимуществом». Многим странам поэтому трудно адаптировать разработанные в богатых странах технологии, поскольку они «рассчитаны на дисциплинированную и добросовестную рабочую силу, заинтересованную в результатах своего труда» (Кларк 2012: 33).

в истории Норта является все тот же *Max U* — непривлекательный максимизатор полезности, или *Homo prudence* (человек расчетливый)<sup>8</sup>. Ею она противопоставляет альтернативным концепциям человека в представлении других экономистов: например, *Homo ludens* («человек играющий»), по Йозефу Шумпетеру (1883–1950) и Франку Найту (1885–1972). Или же видению человека, которое разделяют большинство не относящихся к экономистам исследователей общества: *Homo loquens* («человек говорящий»). Сама Макклоски, как мы увидим, солидарна в этом плане с последними (McCloskey 2010a: 297).

Критика нового институционализма «в стиле Норта» не ограничилась соответствующими главами книги, а, напротив, возобновилась в рецензии на книгу Аллена (McCloskey 2013). Позиция автора отвергается за тот самый институционализм и, главным образом, за приписывание избыточного влияния британской публичной власти на успехи страны. Утверждается, что он (вместе с другими, включая Норта и его соавторов) верит, что могущественное британское правительство выступало предварительным условием экономического роста. По мнению же Макклоски, «оно являлось по преимуществу препятствием, в обычной манере смещая активность на поиск ренты и милитаристские траты» (Ibid.: 365).

Как негативный факт отмечается отсутствие межстрановых сравнений у Аллена, его заикленность на истории Англии. При этом почти аналогичное обвинение предъявляется Норту и соавторам его книги «Социальные порядки». Она иронизирует, что книга, носящая «скромный» подзаголовок «Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества», очень неполно эту историю отражает. В ней присутствуют только Англия, Франция и США. Что же касается Аллена,

<sup>8</sup> Правда, в книге 2006 г. «Буржуазные добродетели» Макклоски чуть более снисходительна к Норту и его единомышленникам. Согласно ей, экономисты, подобные Норту, рассматривая недавно историю институтов, увидели, «что с 1500 года что-то происходило помимо максимизации полезности в ее узком определении» (McCloskey 2006: 2). В своей рецензии на «Буржуазное достоинство» Беттке замечает, что ирония заключается в столь острой нацеленности критики автора на Норта. Работа Норта по ментальным моделям, его поворот к когнитивной науке и уход от строгой неоклассической модели выбора находятся в одном русле с тем, на что делает упор Макклоски. Беттке приходит к выводу о том, что критика Макклоски относится к Норту периода написания книги «Структура и изменения в экономической истории» (1981), а не к работе 2005 г. «Понимание процесса экономических изменений» (Boettke 2012: 755). Впрочем, Макклоски с ним не согласилась бы, что видно из ее критического отношения и к последним работам Норта (см. далее).

то ему стоило ответить на вопрос: почему аристократия и служивый класс, которые, по его мнению, оказались столь благотворны для Великобритании, не привели к процветанию Османскую империю, Российскую империю, Японию в эпоху Токугавы и т. п.? (Ibid.: 366).

Продолжается в рецензии и критика Норта за преувеличенное, с точки зрения Макклоски, внимание к правам собственности. В частности, вопреки ему утверждается, что законодательство о контрактах и правах собственности было хорошо разработано и применялось еще даже до Эдуарда I, до 1272 г. Возражает она и против известной позиции Норта, согласно которой изобретение патентов в Англии в 1618 г. внесло инновации в права собственности, повысило эффективность и, как следствие, вызвало промышленную революцию. Здесь приводится ссылка на работу Мокира (Мокуг 2009), в которой, как отмечается, это утверждение опровергнуто (McCloskey 2013: 367).

Особенно непримиримое отношение демонстрируется к взглядам Асемоглу на институты как источник развития, который в сжатом виде изложил их в статье «Рост и институты» в «Новом словаре Пэлгрейва по экономике» (Acemoglu 2008). И опять же лейтмотивом подробного их разбора выступают права собственности, которые, по мнению Асемоглу, лежат в основе экономического роста. Есть они (сейчас или в прошлом) — есть и рост, и наоборот. Макклоски же продолжает настаивать на том, что права собственности и прочие приписываемые позднейшим эпохам институты существовали давно — например, в той же Англии (McCloskey 2010a: 320–322). Завершает же полемику довольно типичный для нее упрек в незнании реальной истории, ошибочной трактовке темы роста и институтов в целом<sup>9</sup>.

Вообще, для Макклоски типичен полемический прием, который можно назвать «А это уже было и не помогло». Если его расшифровать, то заключается он вот в чем. Находится исторический прецедент существования той или иной характеристики, которую тот или иной ее оппонент выдает за решающий фактор «Великого расхождения» Запада и Востока, прорыва первого к промышленной революции, устойчивому экономическому росту и благосостоянию. Это хорошо видно как раз на примере критики институционалистов за их упор на права собственности. «Китай, например, — пишет Макклоски, — имел гарантированные

<sup>9</sup> «Короче говоря, Асемоглу воспринимает историю ужасающе неверно во всех важных аспектах, и его более широкая тема целиком ошибочна» (McCloskey 2010a: 322).

права собственности на землю и коммерческие товары на протяжении тысячелетия» (Ibid.: 322). При династиях Мин и Цин (1368–1911) «право собственности и контрактов соблюдалось и для верхов, и для низов, как это было на протяжении большей части китайской истории» (Ibid.). Итак, право собственности имелось, а промышленной революции не было. Значит, делает вывод Макклоски, не оно стало той искрой, которая радикально поменяла картину мира по причине резкого возвышения Запада (при этом, конечно, значимость прав собственности для успешного развития не ставится под сомнение).

Выступая на семинаре в Индии, Макклоски не смогла удержаться от демонстрации расхождения воззрений с Лалом, его оценкой значения второй папской революции (см. главу 3). Возражение вполне естественное и само собой напрашивающееся: почему столь много времени прошло между этим событием и промышленной революцией? Главная же проблема в том, что эпоха модерна пришла именно из Голландии и Англии, но не из других европейских стран, которые, по идее, должны были быть ничуть не в меньшей степени затронуты папской революцией (McCloskey 2014a).

Одно из основных возражений со стороны Макклоски новым институционалистам связано с неверной, по ее мнению, интерпретацией ими институтов как ограничений человеческого поведения (для экономистов понятно, что такая трактовка создает знакомую им с первых шагов изучения экономики картину человека, максимизирующего собственную полезность в условиях бюджетных ограничений). Институты у них выступают как некие дополнительные и экзогенные не денежные ограничения. «С индивидуальной точки зрения эти ограждения свалились с неба» (Ibid.: 298).

В противовес своим оппонентам Макклоски пишет о том, что не экономисты представляют культурную риторику<sup>10</sup>, такую как язык, в качестве ограничения и творения одновременно; как стимул и импульс, как согласование и искусство, как сообщество и разговор. «Институты не просто ограничивают человеческое поведение, задавая цены, на которые

<sup>10</sup> Риторика определяется в широком и узком смысле. Во-первых, как «все не сопряженные с насилием действия являются убеждением, *peitho*, пространством риторики, естественного согласия, взаимовыгодного интеллектуального обмена» (Макклоски 2012: 403). Во-вторых, «риторика — это выступление с речью перед аудиторией. Все речи, предназначение которых состоит в том, чтобы убедить других, являются риторическими» (там же: 415).



у людей есть стимулы реагировать. Они выражают человечность, придавая ей смысл» (Ibid.).

Относительно рассмотрения новыми институционалистами культуры в качестве «неформального института» отмечается, что «неформальность» означает одно: самуэльсоновская метафора ограничений отпадает. Поскольку в этом случае речь идет о непрекращающихся переговорах в отношении правил, они конструируются и перекраиваются на месте, что принципиально отличает их, например, от правил игры в шахматы, которые никто не пересматривает.

И лишь некоторые экономисты, принадлежащие к австрийской школе и старому институционализму, уловили, что институты имеют дело с человеческими смыслами. В частности, здесь Макклоски ссылается на Людвиг Лакмана (1906–1990). Так, язык (речь) рассматривается им как построение мысли, поддержанное общественным одобрением и скрытыми разговорными смыслами (Ibid.: 302).

Центральным мотивом критики мейнстрима является построение теории с опорой лишь на одно качество человека — расчетливость (*prudence*). Макклоски таковая не отвергается и рассматривается как одна из добродетелей. Но только лишь одна из целого ряда других. При этом отмечается, что расчетливость присуща не только человеку, но и, например, крысе, ищущей сыр, или даже ростку травы, пробивающемуся к свету. Однако такие качества, как умеренность и смелость, любовь и справедливость, надежда и вера, свойственны исключительно человеку. «В отличие от расчетливости, которая характеризует любую форму жизни и квазижизни, вплоть до бактерий и вирусов, не связанные с ней качества являются характеристиками человеческой уникальности, а также человеческих речей и смыслов» (Ibid.: 303).

Норт же говорит об ограничениях и правилах игры, забывая, что они, будучи «выражены человеческим языком, имеют человеческие смыслы». Например, такое ограничение, как зажегшийся перед водителем красный свет, воспринимается по-разному в зависимости от отношения к государству, дорожной полиции и т. п. Для некоторых он является успокаивающим, а для других — раздражающим фактором (Ibid.: 304).

Макклоски неоднократно (начиная с книги «Буржуазные добродетели» и даже ранее) выделяет названные выше добродетели (проще говоря, качества человека), выходящие за пределы *Max U*, как неоспоримые и во многом решающие импульсы экономической деятельности. В бизнесе смыслы значат не меньше, чем любовь в браке, смелость в армии или справедливость в суде.

Если обратиться к классической постановке агентской проблемы<sup>11</sup>, то здесь самый важный вопрос: откуда у менеджера возникают обязательства обеспечивать прибыль? По мнению Макклоски, они вытекают из факта его «этической ответственности». Да и в целом «агент хочет действовать потому, что он придает смысл собственной жизни в качестве менеджера, государственного служащего, экономиста или этического философа. Он — человек с собственной идентичностью, а не счетная машина *Max U*, подобная траве, бактериям или крысам» (Ibid.: 307).

Ограничения делятся на реальные (подобные тем, что у *Max U*) и потенциальные, которые представляют собой символ или позор. Часто они проявляют себя и в виде самопрезрения (Ibid.).

Итак, подводя некоторые итоги, можно заметить, что основная претензия Макклоски к мейнстриму, к которому она относит и новых институционалистов типа Норта, заключается в сужении человека до «человека экономического» или, как она выражается, *Max U*. Это не значит, что расчетливость не является добродетелью. Однако не надо забывать и про остальные человеческие качества, также определяющие характер поведения. Ну а раз человек далеко не чистый *Max U*, то теория, принимающая обратное в качестве исходной предпосылки, не способна адекватно осознать исторический процесс и в первую очередь причину промышленной революции, появления устойчивого экономического роста и многократного увеличения благосостояния за последние 200 лет («Великое обогащение»).

### 5.3. ГУМАНОМИКА, БУРЖУАЗНЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И БУРЖУАЗНОЕ ДОСТОИНСТВО

Макклоски в своих построениях опирается на новый для современной нам эпохи подход, который она описывает словом «гуманомика» (*humanomics*). Этот термин, как отмечает сам автор, был введен в работе «Буржуазные добродетели» и определяется ею кратко как «экономика

<sup>11</sup> Речь идет о хорошо известной экономистам проблеме «принципал–агент». В оригинальной ее версии рассматривались отношения между владельцем(-ами) компании и наемными менеджерами; сегодня она трактуется как гораздо более широкая поведенческая модель, описывающая отношения между поручителем (принципалом) и порученцем (агентом-исполнителем) в любой области человеческой деятельности.

с человеческим лицом» (Макклоски 2013: 37)<sup>12</sup>. Она «задает вопрос: можно ли быть добродетельным и при этом участвовать в создании инноваций, проверенных рынком?» (там же: 38). Ответ на него дается, естественно, положительный.

Макклоски — апологет капитализма, в котором она видит колоссальный нравственный прогресс человечества<sup>13</sup>. Во всяком случае, по сравнению с предшествующими эпохами. «Буржуазные добродетели» — отнюдь не оксюморон, как полагает большинство, а реальность. В самом начале одноименной книги она заявляет: «Здесь (в книге. — А. З.) провозглашается, что современный капитализм не нуждается в свержении, чтобы быть хорошим. Напротив, капитализм может быть добродетельным. В падшем мире буржуазная жизнь несовершенна. Но она лучше, чем любая иная доступная альтернатива» (McCloskey 2006: 1)<sup>14</sup>.

Автор категорически против романтизма, провозглашающего этическое превосходство образа жизни предков. Напротив, «рынки и даже сильно оклеветанные корпорации способствуют дружбе шире и глубже, чем атомизм полновесного социалистического режима или клаустрофобия и мертвящая атмосфера “традиционной” деревни» (Idid.: 138). Во времена, когда царили древние добродетели чести и смелости воина, дружбу заводили ради того, чтобы защитить себя от нападения, в то время как в условиях буржуазных добродетелей мы доверяем незнакомцам и вовлекаем их в расширенный порядок разделения труда, что приносит нам выигрыш. Доверие и дружба являются одновременно и основой рыночной экономики, и побочным продуктом ее экспансии.

<sup>12</sup> В размещенной на персональном сайте Макклоски предварительной версии предисловия к третьему тому ее трилогии говорится: «Я защищаю вместе с Бартом Уилсоном из Университета Чэпмана, а также такими экономистами-предшественниками, как Альберт Хиршман, Кеннет Боулдинг, Фрэнк Найт и вплоть до благословенного Адама Смита, “науку гуманомики”, то есть экономику, которая использует математику, статистику и эксперименты, но использует также разъясняющие части фильмов, песни, историю, биографии, лингвистику, философию, теологию и исследования литературы» (McCloskey 2014b).

<sup>13</sup> Макклоски, если и употребляет термин «капитализм», то всегда ставит это слово в кавычки. Согласно ей, оно вводит людей в заблуждение. По ее мнению, на смену ему должен прийти нераздражающий термин «проверенные рынком улучшения и поставки» (*market-tested improvement and supply*) (McCloskey 2014a).

<sup>14</sup> Очевидна проводимая автором параллель со знаменитым высказыванием Уинстона Черчилля о демократии: «Демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных, которые пробовались время от времени».

В рецензии Беттке это названо «замечательным благим кругом» (Boettke 2007: 85).

Основное, что хочет сказать нам автор книги «Буржуазные добродетели», заключается в том, что нельзя сводить их только к одной — расчетливости. Без других она трансформируется в порок — жадность. Проверенные рынком инновации и поставки воспитали и иные добродетели, которые были перечислены выше. Более того, как отмечает Макклоски, капитализм функционирует без них плохо. Дело в том, что «институты работают успешно или неуспешно в соответствии с этикой субъектов, а не в соответствии с правилами игры» (McCloskey 2014b). Утрата добродетелей опасна, ибо открывает путь к государственному интервенционизму под предлогом плохой работы рынков. В итоге «у нас есть выбор между коллективным благом, проистекающим от буржуазных добродетелей, и коллективным благом, поступающим в приказном порядке от правительства» (McCloskey 2006: 48).

Деловой образ жизни лучше воровства (*dealing is better than stealing*). «Страны, где правит воровство, а не деловые отношения, становятся бедными и остаются таковыми» (Ibid.: 3). Капитализм же не несет ответственности за те беды, которые ему приписываются. Вопреки Марксу и его последователям утверждается, что «большинство бед были следствием *атак* на капитализм» (Ibid.). Так, например, войны — это реакция на него, а не результат его самого.

Освободив капитализм от приписываемых ему грехов, Макклоски заключает, что «рынки и буржуазная жизнь не всегда плохи для человеческого духа» (Ibid.: 4) и что «участие в капиталистических рынках и буржуазных добродетелях цивилизовало мир» (Ibid.: 26). Ознакомление с цитируемой выше книгой не вызывает сомнений, что ее проповедь нравственности капитализма по своей силе и убежденности не уступает знаменитой Айн Рэнд<sup>15</sup>. Впрочем, надо заметить, что в пропаганде нравственности капитализма она отнюдь не единственная последовательница этой писательницы (Нравственность капитализма 2012). В то же самое время ее воззрения можно рассматривать как диаметрально противоположные многим критикам капитализма, но в первую очередь вспоминается Вернер Зомбарт с его «Героями и торгашами», где высшие

<sup>15</sup> «Нравственное оправдание капитализма в том, что это единственный уклад, созвучный природной разумности человека, гарантирующий человеку *человеческое* существование и руководимый принципом *справедливости*» (Рэнд 2003: 33–34).

человеческие достоинства ассоциируются с моралью воинствующих героев, а низменные человеческие качества с моралью мирных коммерсантов и обывателей (Зомбарт 2005: 8–102).

Решительный отход от неоклассической традиции привел Макклоски примерно к тому же видению истории, которого придерживался Мизес. Причиной «возвышения Запада», как пишет Беттке, характеризуя точку зрения Макклоски, оказался «широко распространенный и значительный сдвиг в общественном мнении в отношении жизни и деятельности буржуазии» (Boettke 2012: 754). В чем же заключался этот сдвиг?

Произошло то, что Макклоски называет «Буржуазной переоценкой»: «Двойное этическое изменение, придающее достоинство и свободу обычной буржуазной жизни, привело к господству смысла и восприимчивости, благодаря которым мы до сих пор извлекаем выгоду» (McCloskey 2010a: 403). Для нее «современный мир не есть продукт новых рынков и постоянных инноваций, но результат изменившегося отношения к ним» (Макклоски 2013: 38).

Главу о том, что изменило мир, верная риторическому подходу Макклоски назвала очень просто: «Это были слова» (McCloskey 2010a: 385). Решающей оказалась радикальная перемена в «общественных разговорах» (*public talks*), отражавшая сдвиг в доминирующих идеях и общественном мнении. «Изменения в риторике породили революцию в том, как люди видят себя и как они видят средний класс, Буржуазную Переоценку. Люди стали терпимыми к рынкам и инновациям» (Ibid.: 386). Когда быть «буржуазным» в глазах общества стало не стыдно, а, напротив, достойно и почетно, был дан старт промышленной революции и современному экономическому росту<sup>16</sup>.

Макклоски констатирует: «Породившие и поддерживающие современный мир причины не были материальными. На удивление, это были идеи, новые экономические идеи свободы для рядовых людей и новая социальная идея, провозглашающая их достоинство» (McCloskey 2014b). При этом особо подчеркивается бесплодность всех разновидностей «исторического материализма» как правого, так и левого толка (McCloskey 2010a: XI). Попытки настоять на том, что переход в риторике от аристократически-религиозных к буржуазным ценностям

<sup>16</sup> Возражая Кларку, Макклоски подчеркивает: «Эффективны не коммерческие добродетели, наследуемые людьми, а коммерческие добродетели, превозносимые людьми» (McCloskey 2010a: 274).

должен иметь экономические или биологические корни, определяются как «материалистически-экономический предрассудок» (McCloskey 2014a)<sup>17</sup>.

Итак, в основе величайшего поворота в истории человечества лежит риторика, провозглашавшая достоинство и свободу и ставшая в таком качестве обыденным явлением («повседневным разговором»). Достоинство и свободу трудно разъединить, но все-таки достоинство можно рассматривать как социологический фактор, а свободу — как экономический. «Достоинство имеет отношения к мнениям, которые другие имеют о лавочнике. Свобода относится к законам, которые его ограничивают» (McCloskey 2010a: 11). Законы можно изменить без изменений в общественном мнении, и вместе с тем общественное мнение может меняться без изменения законов. Примером первого может служить «сухой закон» в США, примером второго — мысль о независимости, обретавшая популярность среди колонистов Северной Америки (Ibid.).

И все-таки, что важнее или, как это сформулировали бы марксистские философы, что первично: достоинство или свобода? Читателям недвусмысленно дается понять, что пальма первенства принадлежит достоинству. «Свободы, скажу я для просвещения моих либертарианских коллег, самой по себе недостаточно» (Ibid.: 404). Если не будет, говоря словами Шумпетера, «уважающей бизнес цивилизации», то свобода не поможет<sup>18</sup>. И тут же приводится очень наглядный и трагический пример: евреи в Европе. Формально, в рамках законодательства, они в течение XVIII–XIX вв. были уравнены в правах с остальными гражданами, но презрительное отношение к ним и их занятиям со стороны общественного мнения привело в итоге к «окончательному решению» (Ibid.: 11).

В историческом плане обретенные для буржуазии достоинство и свобода стали для мира положительными экстерналиями<sup>19</sup>. Они не только принесли благосостояние для всех, но и стали свободно доступным

<sup>17</sup> «Историки экономики до сих пор не смогли открыть хотя бы одного материального фактора, существенного для британской индустриализации» (McCloskey 2010a: 168). «Коротко говоря, изменения в общественных идеях объясняют промышленную революцию. Материальные и экономические факторы <...> — нет» (Ibid.: 438).

<sup>18</sup> «Но без нового достоинства для торговцев и изобретателей никакой свободы инноваций не хватило бы для слома засохшего пирожного» (McCloskey 2010a: 396).

<sup>19</sup> Под положительными экстерналиями экономисты понимают полученные помимо рынка выгоды от деятельности сторонних лиц.

образцом для подражания. Утвердившись изначально в северо-западной Европе, эти качества начали свое шествие по миру. Нельзя сказать, что триумфальное, но в целом довольно успешное. О чем свидетельствует хотя бы та же «клюшка Макклоски».

Когда достоинство и свобода обретают реальные черты, то это порождает инновации. Одна из глав «Буржуазного достоинства» прямо так и называется: «Либеральные идеи вызывают инновации». «Идея достойной и свободной буржуазии привела к идеям парового двигателя, массового сбыта и демократии» (Ibid.: 25). При этом люди стали толерантными к рынкам и инновациям (Ibid.: 390). В то же время именно инновации, а не простое наращивание промышленных инвестиций, имеют решающее значение в вопросах экономического роста (Ibid.: 133). И, соответственно, ведут к «Великому обогащению».

В итоге, опираясь на приведенные выше суждения Макклоски, попытаемся схематически представить ее видение развертывания цепочки событий, ведущих от двух тысячелетий застоя к современности (рис. 14).

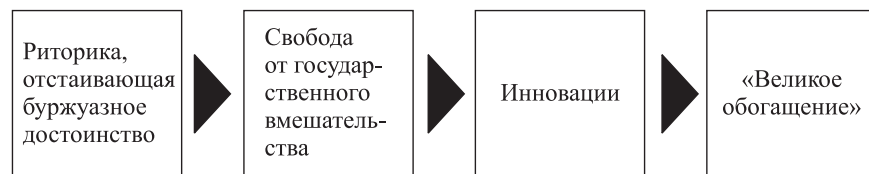


Рис. 14. Развитие по Макклоски

Все начинается с радикального изменения в риторике, в которой на смену одному герою (воину-аристократу) приходит другой (буржуа с его коммерцией). Обретая в общественном мнении достойный облик, он добивается свободы, ставя государство в узкие рамки служения во имя обеспечения общих гарантий хозяйственной жизни. Это создает условия для потока инноваций, выводящих на траекторию устойчивого экономического роста и, как следствие, порождающих немислимый прежде уровень массового благосостояния.

В изложенной концепции привлекают внимание два основных момента. Во-первых, совершенно не характерное для экономиста полное освобождение от материализма: поиска неких «объективных» оснований решающего сдвига в человеческой истории. И речь здесь идет не только о примитивном материализме в стиле Сакса и других сходных с ним точек зрения на природу развития и отсталости, но и об институциональном

подходе, где институты определяются как ограничения и одновременно стимулы человеческого поведения. «Экономисты хотят, чтобы Большое изменение было делом нортовских “институтов”, потому что они хотят, чтобы стимулы были главной историей промышленной революции и современного мира» (Ibid.: 353).

Природу этого «хотения» Макклоски видит в том, что «ограничения и стимулы» — язык, с первых шагов понятный воспитанным в самуэльсоновской традиции экономистам<sup>20</sup>, в отличие от используемых ею добродетелей, достоинства и прочих вещей, представляющихся им некими фантомами. «Идентичность, честность, этика, справедливость, умеренность, профессионализм, идеология, идеи, риторика, любовь, вера, надежда не имеют ничего общего с чем-нибудь в экономике, — заявляют мои заблуждающиеся друзья» (Ibid.: 353).

Во-вторых, в рассмотренной концепции философский идеализм доводится до логического завершения в виде объявления принципиального изменения риторики и отражающихся в ней идей источниками фундаментальных перемен в экономике, решающими импульсами развития. Не прибегая к оценочным суждениям в отношении видения мира «по Макклоски», заметим, что оно становится неуязвимым к критике по схеме «А это уже было и ничего подобного не произошло», которую, как отмечалось выше, активно применяет она сама по отношению к взглядам оппонентов. Дело в том, что идеи человеческого достоинства и свободы и отвечающие им общественные настроения, сложившиеся во второй половине XVIII в. в Великобритании и ранее в Нидерландах, — это, очевидно, уникальный феномен, не имевший прошлых аналогов. Рутинными же практиками (торговлей, инвестициями) или знакомыми человечеству сотни лет до промышленной революции институтами, включая права собственности, объяснить взлет человечества к вершинам благосостояния за столь малую часть его истории действительно невозможно.

<sup>20</sup> Макклоски так описывает представления своих многочисленных друзей-экономистов и даже специалистов в области экономической истории. Они «пришли к выводу, что воздействие идей на экономику осуществляется исключительно или в основном через вбирающие в себя стимулы “институты”. Они хотят, чтобы это было правдой, поскольку понимание институтов как ограничений легко укладывается в их подготовку экономистов-самуэльсоновцев» (McCloskey 2010a: 351).



#### 5.4. ФОРМУЛА МАККЛОСКИ

Вспоминая пребывание в роли чикагского экономиста, Макклоски предлагает формулу национального продукта и ее описание (Ibid.: 411–419):

$$Q = I(D, B, R) \cdot F(K, sL),$$

где  $I$  — инновационная функция, зависящая от  $D$ , — достоинства инноваторов,  $B$  — свободы инноваторов (буква  $L$  — *liberty*, задействована для труда) и  $R$  — ренты или прибыли инноваторов. Инновационная функция умножается на обычную неоклассическую производственную функцию —  $F$ , зависящую от обычного физического капитала ( $K$ ) и труда ( $L$ ), умноженного на коэффициент образования и квалификации ( $s$ ). Смысл выделения функции  $I$  — подчеркнуть, что экономический рост зависит от «австрийско-шумпетерианских инноваций», а не как до сих пор полагают некоторые экономисты и историки, от классического «марксистско-самуэльсоновского накопления».

В свое время экономисты верили, что рост зависит от физического капитала ( $K$ ), а сейчас многие полагают, что он зависит от различных типов человеческого капитала ( $sL$ ). Однако до 90% роста объясняется не накоплением физического и человеческого капитала, а производительностью (в классической модели Солоу обычно обозначается как  $A$  — так называемый остаток Солоу). В модели Макклоски роль остатка Солоу выполняет  $I(\cdot)$ .

В функции  $I(\cdot)$  аргумент  $R$  — это то, что экономисты называют рентой; она представляет рутинный стимул инноватора в отличие от аргументов  $D$  и  $B$ , которые являются неэкономическими и нерутинными переменными.  $R$  до рассеивания — это частное вознаграждение в виде сверхнормальных прибылей, — финансовой отдачи, не объясняемой предельными производительностями  $K$  и  $sL$ . Если бы  $R$  не рассеивалась и не предоставляла бы конечный выигрыш рядовым гражданам, то инновации не нашли бы своего оправдания с эгалитарных оснований<sup>21</sup>. Не случайно не обладающая этими качествами земельная рента, которая исторически концентрировалась в руках нобилитета, находилась под постоянной атакой даже со стороны экономистов. Представители

<sup>21</sup> Как отмечает Макклоски с присущей ей образностью речи, с начала эта рента достается Карнеги, затем через конкуренцию отечественных и зарубежных стальных компаний — простонародью (MacCloskey 2010a: 413).

экономической австрийской школы трактуют  $R$  как результат непреднамеренного открытия, а самуэльсоновцы стремятся вогнать ее назад, в рутинную картину предельных выгод и затрат, в функцию  $F(\cdot)$ .

Переменные  $D$  и  $B$  (достоинство и свобода) обладают собственной динамикой. Макклоски привязывает их к провозглашенным ею добродетелям: достоинство принимает образ веры и справедливости; свобода — надежды и смелости.  $R$  основывается на расчетливости (сбережениях ради инвестиций) и благоразумности (рациональности). Седьмая из добродетелей — любовь к людям или трансцендентальным сущностям (науке, богу, искусству и т. п.) затрагивает другие переменные, непризнанные и, разумеется, неоплачиваемые, но не являющиеся малозначимыми<sup>22</sup>.

Несбалансированные добродетели оборачиваются пороками. Достоинство, например, тяготеет к коррупции, и тогда оно оказывает скорее негативное, чем позитивное воздействие на величину  $I(\cdot)$ . Она появляется, когда коммерсанты превращаются в гордую аристократию (случай Флоренции). Свобода, включая словесную активность, может обернуться политически выраженной завистью, если бедным людям, обладающим ныне правом выражения мнения и правом голоса, покажется правдоподобным, что воровство у богатых есть наиболее прямая дорога к избавлению от бедности<sup>23</sup>.

С течением времени переменные в функции  $I(\cdot)$  —  $D$ ,  $B$  и  $R$  — становятся взаимозависимыми, подобно  $K$  и  $L$  в обычной функции  $F(\cdot)$  с их свойствами взаимозаменяемости и взаимодополняемости,

<sup>22</sup> По всей видимости, позиция Макклоски по данной проблеме окончательно не сформировалась.

<sup>23</sup> Макклоски неоднократно подчеркивает опасность всеобщего избирательного права, что роднит ее с Лалом (глава 3). «Опасность привнесения демократии с принципом “один человек — один голос” в экономику в том, что она может потакать зависти и убить расширение пирога. Лучшая версия демократии та, что имела место в Век инноваций, когда голосует доллар, когда люди вынуждены принимать во внимание альтернативную стоимость их голосов и когда им не позволено использовать бесплатные политические голоса для размещения в свою пользу имеющихся стоимость товаров» (MacCloskey 2010a: 80). И ближе к концу работы она еще раз возвращается к этому вопросу. «Грустная правда заключается в том, что не защищенная риторикой свободы торговли, созидательного разрушения и буржуазных добродетелей демократическая политика может разрушать экономики, если она убивает инновации» (Ibid.: 431).

специфичности человеческого капитала и убывающей отдачи. В общественной среде тоже происходит нечто подобное: например, в 1900 г. достоинство инноватора зависело от ранее обретенных свобод и ранее полученных рент от инноваций. Если выразить это в математической записи, то  $Dt = g(B_{t-1}, R_{t-1})$ . Обретшие свободу люди спустя некоторое время обретали и соответствующее достоинство, особенно если их свобода воплощалась в высоких доходах для них самих или же, благодаря признанной их роли в качестве благодетелей мира, для всех нас. Обратная причинно-следственная зависимость тоже возможна, например, от достоинства к свободе.

В историческом контексте по отношению к стагнирующей экономике России 1850 г. ожидаемая  $R$  становилась все больше и больше в XIX в., в конце концов преодолев влияние низких значений  $D$  и  $B$ . Другим примером, которым оперирует Макклоски, является предреволюционная Франция. Низкий уровень достоинства буржуазии теоретически мог бы компенсировать высокий уровень  $B$ , но этот уровень  $B$  и близко не был достигнут (Ibid.: 416).

Переменные в инновационной функции  $I(\cdot)$  могут воздействовать в течение времени на переменные в производственной функции  $F(\cdot)$ . Обычный путь обнаружения этого факта — выведение кривых спроса (кривых стоимости предельных продуктов) из всего выражения:  $Q = I(\cdot) \cdot F(\cdot)$ . Функция  $I(\cdot)$  будет представлять сомножитель, увеличивающей предельные продукты капитала и более-менее образованного труда. То обстоятельство, что капитал не является иницирующим рост фактором, может быть представлено эластичным предложением  $K$  и  $sL$  в длительном периоде. Накопление, будь то физического или человеческого капитала тогда, следовательно, будет зависеть от изменяемой в зависимости от  $I(\cdot)$  оценки его плодов. По мере того как  $I(\cdot)$  в «Век инноваций» росло, сбережения обеспечивали надлежащие инвестиции, поскольку более высокая производительность делала  $R$  заметной и повседневной<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Для целей углубленного анализа Макклоски предлагает представить анализируемые  $I(\cdot)$  и  $F(\cdot)$  как хорошо знакомые экономистам функции Кобба–Дугласа и проделав с ними довольно тривиальное преобразование, получив  $Q^* = (\delta D^* + \beta B^* + \rho R^*) + (\kappa K^* + \lambda s^* + \lambda L^*)$ , где звездочки обозначают темп изменения каждой из переменных, а коэффициенты перед ними — эластичности ( $\equiv$  экспоненты соответствующей переменной из функций Кобба–Дугласа). Это уравнение можно также представить в подушном измерении:  $(Q/L)^* = (\delta D^* + \beta B^* + \rho R^*) + [\kappa K^* + \lambda s^* + (\lambda - 1)L^*]$ .

В то же время отмечается и обратное влияние: переменные  $D$ ,  $B$  и даже  $R$  могут быть улучшены благодаря образованию. Так, более высокий уровень квалификации  $s$  может найти отражение в более высоком уровне достоинства  $D$  по причине высокого престижа образованной буржуазии или лучшего понимания технических вопросов. Даже подготовка в области экономики может привести к тому, что люди станут больше ценить свободу в экономических вопросах, а следовательно, к росту  $B$ .

Однако Макклоски оценивает влияние образования двояко. То, что обозначено в  $I(\cdot)$  как  $s$ , может иметь и отрицательный эффект. Образование может разлагать, либо внушая, что буржуазия никаким достоинством не обладает, либо нацеливая на превращение в государственного бюрократа, полагающего, что буржуазная свобода должна быть искоренена. Автор напоминает, что лидер левой террористической группировки «Светлый путь» в Перу был профессором философии, а прекрасные компьютерные инженеры содействуют китайской цензуре в интернете (Ibid.: 417).

Возвращаясь к формуле, Макклоски указывает, что даже большие процентные изменения  $K$  не в состоянии объяснить прирост среднедушевого дохода. Экономия от масштаба практически не имела место в Англии в 1700 г. В современных экономиках она в лучшем случае повышает сумму коэффициентов в уравнении Кобба–Дугласа с 1,0 до, возможно, 1,1, так как эластичность невысока.

В случае участия земли как фактора производства имеет место следующее: если ее немного, а доля  $L$ , как следствие, высока, то выражение  $(\lambda - 1)$ , которое, естественно, отрицательно и отражает убывающую отдачу труда от фиксированного количества земли, невелико (по абсолютной величине), так как  $\lambda$  очень близка к 1. В современной экономике, где укрепленный человеческим капиталом труд получает для себя большую часть национального дохода, влияние мальтузианской убывающей отдачи существенно ослаблено (по-другому это называется выходом из «мальтузианской ловушки»). Говоря иными словами, когда вознаграждения за труд становятся значительной долей национального дохода, прочие относящиеся к нему выражения,  $\lambda s^*$ , которые измеряют эффект квалификации, возрастают. Математика показывает, что человеческие ресурсы становятся важнее природных ресурсов (земля объединяется в одно целое с капиталом), но вызывают убывающую отдачу в случае, когда  $(\lambda - 1)$  — большая величина. Последнее имело место в Средние века, когда только половина национального дохода вменялась труду,

а остальная часть — земле. Переход к современной эпохе сократил ( $\lambda - 1$ ), а следовательно, угрозу убывающей отдачи.

Что же касается  $I(\cdot)$ , то нет резонов утверждать, что ее коэффициенты в сумме составляют 1. Напротив, удвоение достоинства по причине связанных с этим всплеском инноваций может иметь в качестве результата более чем удвоение выпуска. Экономисты рассматривают такие социологические/политические обстоятельства, как те, что представлены в  $I(\cdot)$ , в качестве относительно постоянных (или в любом случае в качестве внешних обстоятельств), концентрируя внимание на  $F(\cdot)$ . Однако, согласно Макклоски, они неправы. Автор заключает свои рассуждения утверждением, что «именно  $I(\cdot)$  была создателем нового мира:  $F(\cdot)$  — береговая линия,  $I(\cdot)$  — прилив» (Ibid.: 419).

### 5.5. МАККЛОСКИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если, обернувшись широко распространенной в обществе риторикой, идеи могут породить прогресс, то они же могут и убить его. В этом суть предупреждений экономиста. Впрочем, и здесь Макклоски не первооткрыватель. Мизес, первым выявивший решающую роль идей и общественного мнения в качестве творцов истории, еще в 1956 г. написал об антикапиталистической ментальности и тех угрозах, которые она с собой несет (Мизес 1993: 169–231). И в этой связи Макклоски можно рассматривать как последовательницу великого австрийца. «Если новая риторика об инновациях — это то, что было причиной современного мира, то тогда вероятно, хотя логически не неизбежно, что с потерей идеологии можно потерять современный мир. Другими словами, Век Инноваций мог вести к антикапиталистическим идеологиям, которые могли разрушать инновации» (McCloskey 2010a: 442). Среди таковых по факту фигурировали фашизм и коммунизм, а в более длительно существующей (хронической) форме — презрение творческой интеллигенции к буржуазии. Сегодня оно воплощается преимущественно в виде энвайронментализма. Все это являлось и является реакцией на буржуазию и ее инновации, а также ее рациональный образ мышления (Ibid.).

В свое время марксизм и прочие реакционные взгляды отравили политическую жизнь на 150 лет (Ibid.: 449). В настоящее время Макклоски более всего опасается энвайронментализма, называя его новой альтернативой (не в смысле противоположности, а в смысле иного воплощения

той же, по сути, идеи) центральному планированию и новой гражданской религией, которая со школьных лет проникает в умы и даже в США вытесняет в качестве таковой буржуазную экономику (Ibid.: 433–434)<sup>25</sup>. В то же время системное изложение ею позитивного и негативного влияния идей еще предстоит увидеть. Напомним, что готовящаяся к выходу монография Макклоски повествует о том, как рынки и инновации стали добродетельными (1600–1848), а потом — подозрительными. Рубежной датой считается 1848 г. — год европейских революций (отметим, что это и год выхода «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса).

Предварительный разговор автора о готовящемся к изданию томе и его структуре (McCloskey 2014b) позволяет нам заключить, что проделан серьезный конкретный анализ истории идейных течений и их последствий на основе методологических установок автора. Предупреждением об опасности оказывается, конечно, тот период, когда рынки и инновации стали подозрительными. Автор далеко не всегда может объяснить причину, по которой антирыночная идеология становится доминирующей. Мизес, например, выделял такие мотивы, как зависть и ненависть, и рекомендовал посвященное зависти исследование Гельмута Шека<sup>26</sup> (Хьюльсманн 2013: 700). Макклоски тоже упоминает зависть, но в целом, согласно меткому ее выражению, идеи — это «темная энергия истории» (McCloskey 2010a: 447). Впрочем, как мы помним, сам Мизес говорил, что об идеях можно сказать только то, что они появились (см. главу 4). Макклоски, пытаясь ответить на вопрос, почему именно в северо-западной Европе утвердился капитализм, называет место появления идей и захват ими умов «черными лебедями»<sup>27</sup>. Правда, упоминая о том, что этот «лебедь» был реакцией мировоззрения на реформуляцию, переворот, революцию, чтение (McCloskey 2014b).

В готовящемся к изданию труде кроме интеллектуального поворота как следствия реакции на 1848 г. рассматривается и дальнейшее

<sup>25</sup> В другом месте Макклоски замечает, что «буржуазному разговору был брошен вызов, главным образом, путем апелляции к традиционным ценностям, аристократическим или религиозным, воплотившимся в теориях национализма, расизма, социализма, евгеники и энвайронментализма» (McCloskey 2014a).

<sup>26</sup> Книга Шека недавно издана в русском переводе (Шек 2010).

<sup>27</sup> Термин «черный лебедь» применительно к неожиданному, но имеющему важное значение событию получил распространение у экономистов сравнительно недавно, с выходом в 2007 г. книги нью-йоркского финансиста Насима Талеба с аналогичным названием (рус. пер.: Талеб 2014).

перевоплощение буржуазных добродетелей в грехи по причине привязки их к антибуржуазным идейным течениям и принятия ими гипертрофированного характера. Так, например, национализм стал воплощением избыточной веры, а социализм — избыточной надежды. В то же время такая добродетель, как расчетливость, напротив, оказалась в дефиците у артистической богемы и интеллектуалов (McCloskey 2014a).

И наконец, в заключительной главе с интересным названием («То есть риторика сделала нас, но может легко и переделать нас»)<sup>28</sup> развивается мысль о том, что переворот в риторике не залегает глубоко в слоях культуры. Так, прорыв в Индии к экономическому росту с 1991 г. после многолетнего застоя не сделал индусов европейцами — они и в 2030 г. будут поклоняться своим богам, как делали это в 1947 г. (год освобождения Индии). Такой поворот в экономической политике связан с риторикой, этикой, с тем, как люди говорят друг с другом (Ibid.).

Таким образом, позиция Макклоски в целом такова: риторику (в отличие от культуры) можно довольно быстро менять и сделать относительно массовой. Поэтому, с одной стороны, мы имеем сегодня такие феномены, как Китай и Индию с их ускоренным экономическим ростом<sup>29</sup>. В то же самое время не так уж трудно все поменять и в обратном направлении. Надо сказать, что здесь наблюдается совпадение с воззрением Асемоглу и Робинсона в части представления о негибкости культуры и, как следствие, ее прямой непричастности к резким экономическим изменениям в тех же Китае и Индии. Только у них, как мы помним, вместо риторики в качестве динамичного фактора перемен фигурируют институты (см. главу 2). Кстати, похожее мы видели и у Лала, который, как мы знаем, отделяет космологические представления (по сути, ту же культуру) от материальных как способных к сравнительно быстрому изменению, хотя и считает последние ценностно-нейтральными (см. главу 3).

После всего сказанного нетрудно догадаться, что рекомендует Макклоски. «Признайте свободу и достоинство буржуазии и процветайте в удивительно высокой степени. Сопровитесь столь тривиальной идее, и предсказуемо стагнируйте» (McCloskey 2010a: 397). Как видим,

<sup>28</sup> На английском это сформулировано так: “*That is, Rhetoric Made Us, but Can Readily Unmake Us*”.

<sup>29</sup> «Большая Экономическая История нашего времени состоит в том, что Китай в 1978 г., а затем Индия в 1991 г. усвоили либеральные идеи в экономике и стали признавать достоинство и свободу буржуазии, что ранее отвергалось. А затем и Китай и Индия взорвались экономическим ростом» (McCloskey 2010a: XIII).

рекомендации даны на все вкусы. После ссылки на успехи Китая она предлагает следующий рецепт: «Такой подвиг требует сдвига в риторике: прекратите сажать в тюрьмы миллионеров и начните восхищаться ими, прекратите сопротивляться созидательному разрушению и начните говорить хорошо об инновациях, перестаньте чрезмерно регулировать рынки и дайте возможность людям совершать сделки, коррумпированные или нет» (Ibid.).

В статье «Язык и интересы в экономике: Белая книга о “гуманомике”» приводится определение Шумпетером капитализма, данное им в статье для Британской энциклопедии. В ней он заявлял, что «общество называется капиталистическим, если оно доверяет руководить экономическим процессом частным бизнесменам» (цит. по: McCloskey 2010c). Макклоски полагает, что это — лучшее краткое определение, в сущности, оспариваемой ею концепции (имеется в виду не устраивающее ее определение понятия «капитализм»), и отмечает, что доверие экономики бизнесменам, согласно Шумпетеру, влечет за собой частную собственность, частные прибыли и частный кредит. В этом, по ее мнению, заключается проблематичность перехода к капитализму в России, где сельскохозяйственная земля до сих пор не приватизирована, где частные прибыли все еще подвергаются преследованию со стороны государства, где бросают в заключение миллиардеров, где всех стригут под одну гребенку (*cutting down of tall poppies*).

Однако, согласно Макклоски, Шумпетер упускает в этом определении то, что «общество — или в любом случае люди, которые им управляют, — должны *восхищаться* бизнесменами» (Ibid.). И именно это восхищение добродетелями буржуазии отсутствует в России независимо от того, управляется ли она боярами, царями, комиссарами или секретной полицией (Ibid.). Несомненно, что Россия, пожалуй, одна-единственная из крупных стран, которая крайне плохо внимает рецептам процветания по Макклоски. Скорее, она следует ее представлениям о том, как организовать стагнацию.

И вторая рекомендация Макклоски обращена к экономистам и вытекает из ее видения движущих сил экономики. «Оценки, мнения, разговоры на улицах, воображение, ожидания, надежды — это то, что движет экономику. Другими словами, вы не должны быть материалистами, отрицающими силу идей, только потому, что вы — экономисты» (McCloskey 2010a: 8).



## Заклучение

Итак, теперь можно подвести некоторые итоги. Первое, что бросается в глаза, это отход от «исторического материализма», как иронически называет Макклоски бесконечный поиск чего-то отличного от идей и высказываемых распространенных мнений (риторики) в качестве детерминант исторического процесса. Еще Мизес во главу всего поставил идеи. Это была необычная для экономиста постановка вопроса. Куда привычнее искать не там, где потеряли, а там, где светло: выбрать какой-то фактор (например, удаленность от океанских путей) и, подгоняя соответствующую статистику, доказывать, что все дело в нем (или, по меньшей мере, большая его часть).

Чем глубже вникаешь в тему, тем больше принимаешь точку зрения «идеалистов». Знаменитые «черные лебеди» Талеба тоже, по всей видимости, продукт вызревания соответствующих идей. Их проецирования в массовую риторику. Это вызревание, как бикфордов шнур, горение которого не всегда заметно. А чаще всего его просто не хотят замечать — говорят: «Ну подумаешь, это только слова!» Но зато все замечают взрыв. И опять сделавший ставку на материальное в понимании истории интеллектуал восклицает: «Ну откуда все это?» И невдомек ему, что из слов.

Постараемся быть более конкретными в этих рассуждениях. Данная книга завершалась на фоне украинских событий 2013–2014 гг. Сейчас на календаре 4 июня. Если бы кто-то год назад, вернувшись на машине времени из будущего, стал нам рассказывать о том, что восток Украины в огне вооруженных конфликтов, а Крым отошел к России, то его бы сочли ненормальным. Однако это так. «Черный лебедь» взмахнул крыльями и снес привычное благополучие. При этом в России по всем опросам население страны в абсолютно подавляющем большинстве «одобряет и поддерживает» территориальную экспансию, воссоздающую рухнувшую 23 года назад советскую империю.

Однако проницательный исследователь не должен этому удивляться. Вспомним, что Мизес писал о политике правительства и общественном мнении. Первая в конечном счете не может не подчиняться последнему. Имперско-державный образ мышления россиян на фоне непроходящей ностальгии по СССР на протяжении многих лет после его распада

улавливали социологи — прежде всего «Левада-центр». И вот свершилось! Мысли и отвечающая им риторика воплотились в дела. И это воплощение — полная неожиданность для тех, кто в силу допущения о «первичности материального» не может даже подумать, что идеи имеют решающее значение.

Представленные в работе различные концепции движущих сил истории неодинаково трактуют перспективы стран, бросившихся в погоню за теми, кого мы привычно называем развитыми странами. Норт, Уоллис и Вайнгайт, так же как Асемоглу с Робинсоном, видят труднопреодолимый барьер между ними. Для первых это проблемы, связанные с преодолением социального порядка ограниченного доступа, для вторых — экстрактивные институты, с присущими им пределами для роста. Первые подчеркивают, что переход от ограниченного доступа к открытому — дело очень нелегкое и мало кому в мире удалось. Вторые говорят то же самое о переходе от экстрактивных к инклюзивным институтам. Эти точки зрения роднит то обстоятельство, что они не видят перспектив для несвободного общества выйти на траекторию устойчивого роста. Асемоглу и Робинсон прямо говорят о тупике, в котором окажется Китай.

Противоположна точка зрения Лала. Он, как мы видели, отделяет экономическую свободу от политической. Для успешного развития достаточно первой, тогда как вторая отнюдь не обязательна. Более того, по его мнению, западный индивидуализм, сыграв роль пускового механизма роста, теперь не благоприятствует ему. А для отличных от Запада цивилизаций и вовсе не нужен, ибо вызывает отторжение ошибочно связываемых с ним экономических свобод. На самом же деле последних может быть даже больше, если им не преграждает путь демократический популизм.

Кто из них окажется в конечном итоге прав? Лал с его модернизацией без вестернизации или же те, кто не принимает эти процессы и требует всего комплекса свобод для развивающихся стран как необходимого условия их возвышения. Пожалуй, ответ на этот вопрос даст только будущее. Вспомним, что Мизес и австрийская школа в целом не строят предсказаний, ибо информация, которая для этого нужна, еще не существует в настоящем. Впрочем, сам Мизес не чурался высказываний по данному вопросу и, как мы помним, утверждал мысль о невозможности радикальных экономических изменений в отсталых странах без восприятия ими западной культуры.

И наконец, отметим то, с чего начали, а именно идеализм авторов. Несколько в стороне здесь стоят Асемоглу и Робинсон, для которых

определяющую роль играют институты. При этом они не раскрывают, что имеют в виду под институтами. Время от времени кажется, что они сводят их к неким формальным правилам (регламентация прав собственности и т. п.). Тем более что утверждается возможность быстрого их изменения, а применительно к неформальным институтам (убеждения, обычаи и т. п.) таковое невозможно.

Норт и Лал признают важнейшую роль нематериальных факторов — представлений и убеждений. Однако наряду с этим для них характерен остаточный материализм. Пусть бегло, но отмечается ряд материальных детерминант, которые, правда, не очень-то вписываются в общую схему их утверждений. У Норта решающую роль играют неформальные институты — прежде всего убеждения. Говорится и о культуре, которая, как представляется, вбирает в себя формальные институты. Попутно нельзя не сказать, что Асемоглу и Робинсон не связывают экономические успехи или неудачи с культурой, что особо подчеркивают.

Мизес еще в 1957 г. отбросил все материальные причины. Напомним, что в то время экономисты только о них и говорили. В 1956 г. появилась модель экономического роста Солоу, которую до сих пор во многих учебниках преподносят студентам как самую передовую теорию экономического роста. В ней присутствуют капитал, труд и трудосберегающий технический прогресс. Выводится оптимальный уровень сбережений. Она напоминает больше описание какого-то движущегося технического объекта, чем человеческого общества. А тут Мизес с его трактовкой идей как источников развития и упадка (в зависимости от их содержания). И ведущей ролью общественного мнения. Разумеется, такая позиция настолько выбивалась из принятого в экономическом мейнстриме подхода, что на нее просто не обратили внимания. Да и считали к тому времени Мизеса экономистом очень немногие — ему, скорее, отводили роль философа.

Однако великие достижения не лежат долго под сукном, даже если их при рождении никто не приветствовал. Они нашли продолжение и развитие у современных сторонников австрийской школы. Если говорить об истории, то к ней чаще всего обращается Беттке. И тем не менее прямой наследницей теории истории Мизеса стала Макклоски. Идеи и отвечающая им риторика породили современный экономический рост. И вообще, в конечном счете они определяют настоящее и будущее человеческого сообщества. К сожалению, еще не вышел третий том ее трилогии, где будет показано, как смена доминирующих идей влияет на смену укладов общественной жизни на протяжении истории.

Возьмем еще знакомый многим в нашей стране марксизм. Абсолютно утопическая идея переустройства общества со временем охватила массы и стала основой грандиозного социального эксперимента, закончившегося закономерным крахом. И вовсе не «производительные силы», как следует из догм марксизма, были причиной постановки этого «спектакля». Идеи, пришедшие первоначально в голову кучке интеллектуалов XIX в., буквально обрушили мир в XX столетии.

Рассмотренные в книге концепции отражают современные воззрения на проблемы экономического развития и причины отсталости. Какое из них ближе к истине? Никто не даст правильный ответ. Просто потому, что это невозможно. Только барон Мюнхгаузен сумел вытащить себя за волосы из болота, сидя верхом на лошади. Человечество вряд ли сможет повторить его подвиг и познать самого себя. Нельзя исследовать броуновское движение будучи молекулой. И тем не менее концепции рождаются. В результате можно сравнивать концепции и выбрать для себя ту, что больше понравится. От читателя ничего другого и не требуется.

- Алексеева О. Государство расщепляют на 15 млрд евро. 2012. (<http://www.gazeta.ru/financial/2012/06/13/4624345.shtml>; дата обращения 30.09.2014).
- Балацкий Е. В. Когнитивно-институциональный синтез Д. Норта // Общественные науки и современность. 2011. № 5. С. 154–166.
- Балацкий Е. В. Дискурсивная экономика и ее возможности // Общественные науки и современность. 2014. № 1. С. 163–176.
- Беттке П. Дж. Концепция «культура имеет значение»: содержание, основы, вопросы. 2009. (<http://www.inliberty.ru/library/255-koncepciya-kultura-imeet-znachenie>; дата обращения 30.09.2014).
- Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004.
- Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб.: Экономическая школа, 2005.
- Боди З., Мертон Р. К. Финансы. М.: Вильямс, 2000.
- Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов: мягкая депрессия XXI века. Челябинск: Социум, 2005.
- Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск: Социум, Cato Institute, 2004.
- Бреннан Дж., Бьюкенен Дж. Причина правил. Конституционная политическая экономия. СПб.: Экономическая школа, 2005.
- Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 51–72.
- Быков Д. Дмитрий Быков — о Стиве Джобсе. 2011. (<http://www.online812.ru/2011/10/11/023/>; дата обращения 30.09.2014).
- Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Бьюкенен Дж. Сочинения. Серия «Нобелевские лауреаты по экономике». Т. 1 / Гл. ред. кол.: Р. М. Нуреев и др. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 207–444.
- Бьюкенен Дж., Ванберг В. Рынок как созидательный процесс // Философия экономики. Антология / Под ред. Д. Хаусмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. С. 355–380.
- Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия // Бьюкенен Дж. Сочинения. Серия «Нобелевские лауреаты по экономике». Т. 1 / Гл. ред. кол.: Р. М. Нуреев и др. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 31–206.

- Вейзе П. Homo economicus и homo sociologicus: монстры социальных наук // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 115–130.
- Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006.
- Гельман В. Я. «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России // Пути модернизации: траектории, развилки и тупики / Под ред. В. Гельмана и О. Маргания. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. С. 64–88.
- Гельман В. Я. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
- Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
- Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
- Гуляев Г. Терпение — враг инвестора // Коммерсантъ-Деньги. 2013. № 19. С. 46–47.
- Гуриев М. Роль экономики в становлении современных общественных институтов. 2007. (<http://polit.ru/article/2007/03/29/guriev/>; дата обращения 30.09.2014).
- Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь: Судьбы человеческих обществ. М.: АСТ, 2012.
- Докинз Р. Бог как иллюзия. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2012.
- Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004.
- Заостровцев А. П. Институты естественного государства в России: рост барьеров для социального порядка открытого доступа // Теоретические и прикладные исследования экономики и экономической политики / Отв. ред А. В. Бутуханов. СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2012. С. 192–205.
- Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота // Собрание сочинений. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 8–102.
- Зудин А. Ю. Бизнес и государство в России: опыт применения подхода Норта-Уоллиса-Вайнгаста. Статьи 1, 2 // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 15–31; № 3. С. 5–17.
- Ингхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.
- Исследовательский проект «Институты, развитие и группы интересов: применение подхода порядков ограниченного/открытого доступа к анализу истории России». 2012–2013. (<http://www.hse.ru/institutions/about>; дата обращения 30.09.2014).

- Истерли У.* В поисках роста: приключения экономиста в тропиках. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006.
- Каплан Б.* Миф о рациональном избирателе: Почему демократии выбирают плохую политику. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2012.
- Кларк Г.* Всеобщая культура прогресса. 2009. (<http://www.inliberty.ru/library/257-vseobshchaya-kultura-progressa>; дата обращения 30.09.2014).
- Кларк Г.* Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
- Ковалев А. В.* Австрийская школа и институционализм: схожесть методологии // *Terra Economicus*. 2011. Т. 9. № 4. С. 77–82.
- Кордонский С. Г.* Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008.
- Котликофф Л., Бёрнс С.* Пенсионная система перед бурей. М.: Альпина Бизнес Бук, 2005.
- Куда ведет кризис культуры?* / Под ред. И. М. Клямкина. М.: Новое издательство, 2011.
- Лал Д.* Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты. М.: ИРИСЭН, 2007.
- Лал Д.* Возвращение «невидимой руки»: Актуальность классического либерализма в XXI веке. М.: Новое издательство, 2009.
- Лал Д.* Похвала империи: Глобализация и порядок. М.: Новое издательство, 2010.
- Леонтьев В., Марискал Ж., Сон И.* Перспективы развития советской экономики на период до 2000 года // Леонтьев В. Избранные статьи. СПб.: Изд-во газеты «Невское время», 1994. С. 225–241.
- Ли Куан Ю.* Сингапурская история: из «третьего мира — в первый». М.: МГИМО — Университет МИД России, 2005.
- Либман А. М.* Экономическая теория и социальные науки об экономике: некоторые направления развития (научный доклад) // Теоретическая экономика. Труды семинара / Под ред. А. Рубинштейна. М.: ИЭ РАН, 2008. Кн. 1. С. 87–134.
- Линдси Б.* Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
- Лоусон Т.* Что может предложить реализм? // *Философия экономики*. Антология / Под ред. Д. Хаусмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. С. 419–446.
- Майровский Ф.* Физика и «маржиналистская революция» // *Terra Economicus*. 2012. Т. 10. № 1. С. 100–116.
- Макгуайр М., Олсон М.* Экономика деспотии и правило большинства: невидимая рука и применение силы // *Экономическая политика*. 2010. № 2. С. 114–128; № 3. С. 189–203.

- Макклоски Д.* Риторика экономической теории // *Истоки: социокультурная среда экономической деятельности и экономического познания* / Гл. ред Я. И. Кузьминов. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. С. 252–320.
- Макклоски Д.* Риторика этой экономической науки // *Философия экономики* / Под ред. Д. Хаусмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. С. 399–418.
- Макклоски Д.* Экономика с человеческим лицом // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. 2013. Вып. 3. Сер. 5. С. 37–40.
- Мизес Л. фон.* Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М.: Дело, 1993.
- Мизес Л. фон.* Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2005.
- Мизес Л. фон.* Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война. Челябинск: Социум, 2006.
- Мизес Л. фон.* Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. Челябинск: Социум, 2007.
- Мизес Л. фон.* Антикапиталистическая ментальность // Хайек Ф. Капитализм и историки. Челябинск: Социум, 2013. С. 259–377.
- Мокир Дж.* Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
- Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж.* Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002.
- Норт Д.* Институты и экономический рост: историческое видение // *THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем*. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 69–91.
- Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
- Норт Д.* Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2010.
- Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.
- Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б.* В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности: Доклады XIII апрельск. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
- Нравственность капитализма.* То, о чем вы не услышите от преподавателей / Под ред. Т. Дж. Палмера. М.: Новое издательство, 2012.
- Олсон М.* Диктатура, демократия и развитие // *Экономическая политика*. 2010. № 1. С. 167–183.



- Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры. М.: Новое издательство, 2012.
- Ореховский П. А. Роль страха в экономическом поведении в настоящее время и после полной победы демократии // Мир России. 2012. Т. 21. № 3. С. 65–79.
- Паришев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь. М.: Крымский мост-9Д, 1999.
- Плискевич Н. М. Возможности трансформации в России и концепция Норта–Уоллиса–Вайнгаста. Статьи 1, 2 // Общественные науки и современность. 2013. № 5. С. 37–50; № 6. С. 45–60.
- Попов В. В. Стратегии экономического развития. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
- Попов В. В. Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны, и почему сегодня Китай догоняет Запад? Новый ответ на старый вопрос // Журнал Новой экономической ассоциации. 2012. № 3. С. 35–64.
- Пушкин А. С. Золото и булат // Собрание сочинений А. С. Пушкина в десяти томах. М.: Художественная литература, 1959. Т. 2.
- Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
- Расков Д. Институциональные исследования как будущее социальных наук // Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. С. 9–31.
- Робинсон Дж. Дело не в культуре. 2009. (<http://www.inliberty.ru/library/253-delo-ne-v-kulture>; дата обращения 30.09.2014).
- Ротбард М. Власть и рынок: Государство и экономика. Челябинск: Социум, 2003.
- Ротбард М. Предисловие // Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. Челябинск: Социум, 2007. С. xi–xviii.
- Рэнд А. Апология капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
- Сакс Дж. Д. Конец бедности. Экономические возможности нашего времени. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.
- Сен А. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004.
- Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005.
- Скоузен М. Кто предсказал крах 1929 года? // Бум, крах и будущее: Анализ австрийской школы. М.: ООО «Социум», 2002. С. 172–215.
- Словарь современной экономической теории Макмиллана. М.: ИНФРА-М, 1997.

- Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М.: Олимп-Бизнес, 2001.
- СССР после распада / Под общ. ред. О. Л. Маргания. СПб.: Экономическая школа, 2007.
- Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Национально-общественный научный фонд, 2003.
- Сэй Ж.-Б., Бастиа Ф. Трактат по политической экономии. М.: Дело, 2000.
- Талей Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.
- Тросби Д. Экономика и культура. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
- Уэйнгаст Б. Р. Почему развивающиеся страны так сопротивляются верховенству закона? // Прогнозис. 2009. Т. 18. № 2. С. 135–163.
- Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательство. Челябинск: Социум, 2007.
- Уэрта де Сото Х. Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция. М.; Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2008.
- Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательская функция. Челябинск: Социум, 2009.
- Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности. Челябинск: Социум, 2011.
- Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ, Ермак, 2004а.
- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ, Ермак, 2004б.
- Хайек Ф. А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости, Catallaxy, 1992.
- Хайек Ф. А. фон. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000.
- Хайек Ф. А. фон. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006.
- Хайек Ф. А. фон. Капитализм и историки. Челябинск: Социум, 2012.
- Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. М.: КоЛибри, 2008.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.
- Харрисон Л. Главная истина либерализма. Как политика может изменить культуру и спасти ее от самой себя? М.: Новое издательство, 2008а.
- Харрисон Л. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике. М.: Новое издательство, 2008б.
- Харрисон Л. Культура и экономическое развитие. 2009. (<http://www.inliberty.ru/library/259-kultura-i-ekonomicheskoe-razvitiye>; дата обращения 30.09.2014).
- Хелпман Э. Загадка экономического роста. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

- Хьюлсманн И. Г. Последний рыцарь либерализма: жизнь и идеи Людвига фон Мизеса. М.; Челябинск: Социум, 2013.
- Шаститко А. Е. Антитраст в России: быть или не быть? // Экономическая свобода и государство: друзья или враги / Под ред. А. П. Заостровцева. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2012. С. 156–184.
- Шек Г. Зависть. М.: ИРИСЭН, 2010.
- Шустер Д. Г. Эпицентр. Парадоксы глобального кризиса. СПб.: Экономическая школа ГУ ВШЭ, 2010.
- Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001.
- Яковлев А. А. Коммунистические убеждения и их влияние на развитие экономики и общества: применение новых подходов Д. Норта к анализу исторического опыта СССР // Мир России. 2012. Т. 21. № 4. С. 154–157.
- Яковлев А. А. В поисках новой социальной базы, или Почему российская власть меняет отношение к бизнесу // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 5–14.
- Acemoglu D.* Growth and Institutions // *New Palgrave Dictionary of Economics* / S. N. Durlauf, L. E. Blume (eds.). London: Macmillan Publishers, 2008. Vol. 2. P. 792–797.
- Acemoglu D.* Theory, General Equilibrium and Political Economy in Development Economics // *Journal of Economic Perspectives*. 2010. Vol. 24. N 3. P. 17–32.
- Acemoglu D., Garcia-Jimeno C., Robinson J. A.* Finding Eldorado: Slavery and Long-run Development in Colombia // *Journal of Comparative Economics*. 2012. Vol. 40. N 4. P. 534–564.
- Acemoglu D., Hassan T. A., Robinson J. A.* Social Structure and Development: A Legacy of the Holocaust in Russia // *Quarterly Journal of Economics*. 2011. Vol. 126. N 2. P. 895–946.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A.* The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation // *American Economic Review*. 2001. Vol. 91. N 5. P. 1369–1401.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A.* Reversal of Fortune, Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution // *Quarterly Journal of Economics*. 2002. Vol. 117. N 4. P. 1231–1294.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A.* Institutions as the Fundamental Cause of Long Run Growth // *NBER Working Papers*. 2004. N 10481. March.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A.* Institutions as the Fundamental Cause of Long Run Growth // *Handbook of Economic Growth* / P. Aghion, S. Durlauf (eds.). Amsterdam: Elsevier, 2005. P. 385–372.

- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A.* The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Reply // *American Economic Review*. 2012. Vol. 102. N 6. P. 3077–3110.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A., Yared P.* Income and Democracy // *American Economic Review*. 2008. Vol. 98. N 3. P. 808–842.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A., Yared P.* Reevaluating Modernization Hypothesis // *Journal of Monetary Economics*. 2009. Vol. 56. N 8. P. 1043–1058.
- Acemoglu D., Robinson J. A.* Economic Origin of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Acemoglu D., Robinson J. A.* Persistence of Power, Elites and Institutions // *American Economic Review*. 2008. Vol. 98. N 1. P. 267–293.
- Acemoglu D., Robinson J. A.* Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. N. Y.: Crown Business, 2012.
- Acemoglu D., Robinson J. A.* Economics Versus Politics: Pitfalls of Policy Advice // *Journal of Economic Perspectives*. 2013. Vol. 27. N 2. P. 173–192.
- Aiyar S.* The Elephant that Became a Tiger // *Development Policy Analysis*. 2011. N 13. July 20.
- Alboy D.* The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Comment // *American Economic Review*. 2012. Vol. 102. N 6. P. 3059–3076.
- Allen D. W.* The Institutional Revolution: Measurement and the Economic Emergence of the Modern World. Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
- Angeles L.* Income Inequality and Colonialism // *European Economic Review*. 2007. Vol. 51. N 5. P. 1155–1176.
- Aoki M.* Institutions as Cognitive Media between Strategic Interaction and Individual Beliefs // *Journal of Economic Behavior and Organization*. 2011. Vol. 79. N 1–2. P. 20–34.
- Arias O.* Culture Matters. Real Obstacles to Latin America Development. January–February. 2011. (<http://www.foreignaffairs.com/articles/67202/oscar-arias/culture-matters#>; дата обращения 30.09.2014).
- Auer R.* Geography, Institutions and the Making of Comparative Development // *Journal of Economic Growth*. 2013. Vol. 102. N 6. P. 179–215.
- Besley T., Persson T.* Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters. Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Boettke P.* Deidre McCloskey's the Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce // *Economic Affairs*. 2007. Vol. 27. N 1. P. 83–85.
- Boettke P.* A behavioral approach to the political and economic inquiry into the nature and causes of the wealth of nations // *Journal of Socio-Economics*. 2012. Vol. 90. N 1. P. 753–756.

- Boettke P.J., Coyne Ch.J., Leeson P.T. Institutional Stickiness and the New Development Economics // *American Journal of Economics and Sociology*. 2008. Vol. 67. N 2. P. 331–358.
- Boettke P.J., Coyne Ch.J., Leeson P.T., Sautet F. The New Comparative Political Economy // *The Review of Austrian Economics*. 2005. Vol. 18. N 3–4. P. 281–304.
- Boettke P.J., Coyne Ch.J., Leeson P.T. Comparative Historical Political Economy // *Journal of Institutional Economics, FirstView Articles*. P. 1–17. Doi: 10.1017/S1744137413000088, Published online by Cambridge University Press. 22 Apr. 2013.
- Boettke P., Horwitz S. The Limits of Economic Expertise: Prophets, Engineers and the State in the History of Development Economics // *The Role of Government in the History of Economic Thought* / Ed. by S. Medema and P. Boettke. Durham; London: Duke University Press, 2005. P. 10–39.
- Brennan G., Buchanan J.M. *The Reason of Rules: Constitutional Political Economy*. Cambridge, N. Y., 1985.
- Brousseau E., Garrouste P., Raynaud E. Institutional Changes: Alternative Theories and Consequences for Institutional Design // *Journal of Economic Behavior and Organization*. 2011. Vol. 79. N 1–2. P. 3–19.
- Buchanan J.M. *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
- Buchanan J.M., Tullock G. *The Calculus of Consent, Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
- Bueno de Mesquita B. et al. *The Logic of Political Survival*. Cambridge, Mass.: MIT, 2003.
- Caplan B. Rational Irrationality // *The Encyclopedia of Public Choice* / C. K. Rowley & F. Schneider (eds.). Dordrecht, 2004. Vol. II. P. 470–472.
- China-2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative High Income Society. The World Bank and Development Research Center of the State Council, the People's Republic of China. Washington, 2012. (<http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17494829/china-2030-building-modern-harmonious-creative-society>; дата обращения 30.09.2014).
- Clark G. *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Clark H. Review of Deirdre N. McCloskey's *Bourgeois dignity: why economics can't explain the modern world*. Chicago (IL): University of Chicago Press, 2010 // *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*. 2011. Vol. 4. N 2. P. 83–88.
- Coyne C. J., Boettke P. J. The Role of Economist in Economic Development // *The Quarterly Journal of Austrian Economics*. 2006. Vol. 9. N 2. P. 47–68.

- Demsetz H. Information and Efficiency: Another Viewpoint // *Journal of Law and Economics*. 1969. Vol. 12. N 1. P. 1–22.
- Demsetz H. Toward a theory of property rights II: The competition between private and collective ownership // *Journal of Legal Studies*. 2002. Vol. 31. N 2. P. 653–672.
- Denzau A. T., North D. C. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions // *Kyklos*. 1994. Vol. 47. N 3. P. 3–31.
- Diamond J. *Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies*. N. Y.: W. W. Norton and Co., 1997.
- Drechsler W. Natural versus Social Sciences: On Understanding in Economics // *Globalization, economic development, and inequality: an alternative perspective* / T. S. Reinert (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2004. P. 71–87.
- Drug Policy Alliance*. (<http://www.drugpolicy.org>).
- Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report* on Sept. 20, 2010. PowerPoint presentation. (<http://www.freetheworld.com/powerpoint.html>; дата обращения 30.09.2014).
- Ekelund R. B., Jr. Medieval Church // *The Encyclopedia of Public Choice*. Vol. 2. C. K. Rowley, F. Schneider (eds.). Dordrecht etc.: Kluwer acad., 2004. P. 387–388.
- Freedom in the World Country Ratings, 1972–2013*. ([http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.U2LF3IF\\_szg](http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.U2LF3IF_szg); дата обращения 30.09.2014).
- Fukuyama F. Acemoglu and Robinson on Why Nations Fail. 2012. (<http://blogs.the-american-interest.com/fukuyama/2012/03/26/acemoglu-and-robinson-on-why-nations-fail/>; дата обращения 30.09.2014).
- Fund for Peace*. Failed State Index-2012. (<http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1210-failedstatesindex2012-06p.pdf>; дата обращения 30.09.2014).
- Fund for Peace*. Failed State Index-2013. (<http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1306-failedstatesindex2013-06l.pdf>; дата обращения 30.09.2014).
- Gallup J. L., Sachs J. D., Mellinger A. D. *Geography and Economic Development* // *International Regional Science Review*. 1999. Vol. 22. N 2. P. 179–232.
- Gill I., Kharas H. et al. *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Washington, D. C.: World Bank, 2007. ([http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1158536715202/EA\\_Renaissance\\_overview.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1158536715202/EA_Renaissance_overview.pdf); дата обращения 30.09.2014).
- Gokhale J., Partin E. Europe and the United States: On the Fiscal Brink? // *Cato Journal*. 2013. Vol. 33. N 2. P. 193–210.
- Goldstone J. A. *Why Europe? The Rise of the West in World History, 1500–1830*. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2009.
- Handbook on Contemporary Austrian Economics* // P. J. Boettke (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010.



- Hayek F.A. *The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology*. Chicago: University of Chicago Press, 1952.
- Hibbs D., Olsson O. Geography, Biogeography, and Why some Countries are Rich and Others are Poor // *Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States*. 2004. Vol. 101. P. 3715–3720.
- High J. Deidre McCloskey, *Bourgeois Dignity Why Economics Can't Explain the Modern World*. Chicago (IL): University of Chicago Press, 2010 // *Review of Austrian Economics*. 2013. Vol. 26. N 3. P. 347–354.
- How Much Does Culture Matter?* 2006. (<http://www.cato-unbound.org/issues/december-2006/how-much-does-culture-matter>; дата обращения 30.09.2014).
- In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development* / D. C. North, J. J. Wallis, S. B. Webb, B. R. Weingast (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- International Monetary Fund*, *World Economic Outlook Update*, July 2007. *The Global Economy Continues to Grow Strongly*. (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/update/01/>; дата обращения 30.09.2014).
- International Monetary Fund*, *World Economic Outlook Update*, July 2008. *Global Slowdown and Rising Inflation*. (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/02/>; дата обращения 30.09.2014).
- International Monetary Fund*, *World Economic Outlook Database*, April 2011. ([http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?s\\_y=1990&ey=2000&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=NGDP\\_RPCH&grp=0&a=&pr1.x=61&pr1.y=13](http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?s_y=1990&ey=2000&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&pr1.x=61&pr1.y=13); дата обращения 30.09.2014).
- Jellema J., Roland G. Institutional Clusters and Economic Performance // *Journal of Economic Behavior and Organization*. 2011. Vol. 79. N 1–2. P. 108–132.
- Khalil E. L. Lock-in Institutions and Efficiency // *Journal of Economic Behavior and Organization*. 2013. April. Vol. 88.
- Kuran T. *Private Truths, Public Lies*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
- Lal D. *The Political Economy of Predatory State*. Discussion Paper no. 105. Washington, D. C.: World Bank, 1984.
- Lal D. *The Hindu Equilibrium*. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1988, 1989.
- Lal D. Markets, Mandarins and Mathematicians // *Cato Journal*. 1987. Vol. 7. N 1. P. 43–70 (перезд.: Lal D. *Against Dirigisme*. San Francisco: ICS Press, 1994. P. 23–50).
- Lal D. *Unintended Consequences*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998.
- Lal D. *In Defense of Empires*, AEI Press, Washington D. C., 2004a.
- Lal D. *India* // *Political Competition, Innovation and Growth in the History of Asian Civilization* / Ed. by P. Bernholz, R. Vaubel. Cheltenham: Edward Elgar, 2004b. P. 128–141.

- Lal D. *The Threat to Economic Liberty from International Organizations* // *Cato Journal*. 2005. Vol. 25. N 3. P. 503–520.
- Lal D. *Reviving the Invisible Hand: The Case for Classical Liberalism*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2006.
- Lal D. *An Indian Economic Miracle?* // *Cato Journal*. 2008. Vol. 28. N 1. P. 11–33.
- Lal D. *Institutions and Economic Development: A Black Box?* // VIII International Economics Conference “Political Stability and Economic Freedom”. Universidad Peruna de Ciencias Aplicadas, Lima, Peru, 7–8 June 2010a. ([https://www.google.ru/url?sa=t&rcrct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.ucla.edu%2Ffal%2Flal%2520Peru%2520VIII%2520International%2520Economics%2520Conference%2520paper.%2520Institutions%2520and%2520Economic%2520Development%2520doc.doc&ei=3TQrVOPrG6uCzAPntYL4Aw&usq=AFQjCNF1v4bbnY2V1U92RtbopuSaR7uLTQ&sig2=hVZYIzfHPHI\\_oc4NYS62g&bvm=bv.76477589,d.bGQ&cad=rjt](https://www.google.ru/url?sa=t&rcrct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.ucla.edu%2Ffal%2Flal%2520Peru%2520VIII%2520International%2520Economics%2520Conference%2520paper.%2520Institutions%2520and%2520Economic%2520Development%2520doc.doc&ei=3TQrVOPrG6uCzAPntYL4Aw&usq=AFQjCNF1v4bbnY2V1U92RtbopuSaR7uLTQ&sig2=hVZYIzfHPHI_oc4NYS62g&bvm=bv.76477589,d.bGQ&cad=rjt); дата обращения 30.09.2014).
- Lal D. *Toward a New Paganism: The Family, the West and the Rest* // *Biblioteca della liberta*. 2010b. XLV, gennaio-aprile. N 197 online. (<http://www.econ.ucla.edu/lal/Towards%20A%20New%20Paganism.pdf>; дата обращения 30.09.2014).
- Lal D. *India's Post-Liberalisation Blues* // *World Economics*. 2011. Vol. 12. N 4. P. 1–12.
- Lal D. *Is the Washington Consensus Dead?* // *Cato Journal*. 2012. Vol. 32. N 3. P. 493–512.
- Lal D., Myint H. *The Political Economy of Poverty, Equity and Growth*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- McCloskey D. N. *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*. Chicago: IL: University of Chicago Press, 2011.
- MacLeod W. B. *On Economics: A Review of Why Nations Fail by D. Acemoglu and J. Robinson and Pillars of Prosperity by T. Besley and T. Persson* // *Journal of Economic Literature*. 2013. Vol. 51. N 1. P. 116–143.
- Mantzavinos C., North D. C., Shariq S. *Learning, Institutions, and Economic Performance*. Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods. Bonn. 2003. December.
- McCloskey D. N. *The Rhetoric of Economics*. 2<sup>nd</sup> ed. Madison: The University of Wisconsin Press, 1998.
- McCloskey D. N. *The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce*. Chicago (IL): University of Chicago Press, 2006.
- McCloskey D. N. *Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World*. Chicago (IL): University of Chicago Press, 2010a.
- McCloskey D. N. *Humanomics: Values and Innovation*. October 2010b. (<http://www.cato-unbound.org/2010/10/12/deidre-mccloskey/humanomics-values-innovation>; дата обращения 30.09.2014).



- McCloskey D. N.* Language and Interest in the Economy: A White Paper on “Humanomics”. 2010c. ([https://www.aeaweb.org/econwhitepapers/white\\_papers/Deirdre\\_McCloskey.pdf](https://www.aeaweb.org/econwhitepapers/white_papers/Deirdre_McCloskey.pdf); дата обращения 30.09.2014).
- McCloskey D. N.* A Kirznerian Economic History of the Modern World // Annual Proceedings of the Wealth and Well-Being of Nations. 2010–2011. Vol. 3 / Emily Chamlee-Wright (ed.). Beloit College Press, 2011. P. 45–64.
- McCloskey D. N.* A Neo-Institutionalism of Measurement, Without Measurement: A Comment on Douglas Allen’s The Institutional Revolution // Review of Austrian Economics. 2013. Vol. 26. N 3. P. 363–373.
- McCloskey D. N.* The Great Enrichment Came and Comes from Ethics and Rhetoric. 2014a. (<http://www.deirdremccloskey.org/docs/pdf/IndiaPaperMcCloskey.pdf>; дата обращения 30.09.2014).
- McCloskey D. N.* Contents and Exordium to final Volume of Bourgeois Era. 2014b. (<http://www.deirdremccloskey.org/docs/pdf/McCloskeyExordiumAugust2014.pdf>; дата обращения 30.09.2014).
- McGuire M., Olson M.* The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force // Journal of Economic Literature. 1996. Vol. 34. N 1. P. 72–96.
- Menard C., Shirley M.* The Contribution of Douglass North to New Institutional Economics. 2011. ([http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/62/42/97/PDF/2011-Menard\\_Shirley\\_North\\_and\\_NIE--CUP.pdf](http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/62/42/97/PDF/2011-Menard_Shirley_North_and_NIE--CUP.pdf); дат обращения 30.09.2014).
- Mesquita de B. B., Root H. L.* When Bad Economics is Good Politics // Governing for Prosperity / B. B. de Mesquita, H. L. Root (eds). New Haven: Yale University Press, 2000. P. 1–16.
- Michels R.* Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press, 1962.
- Mokyr J.* The Lever of Riches. N. Y.: Oxford University Press, 1990.
- Mokyr J.* Innovations and Its Enemies: The Economic and Political Roots of Technological Inertia // A Not-So-Dismal Science: A Broader View of Economies and Societies / M. Olson (ed.). Oxford, N. Y.: Oxford University Press, 2000. P. 61–91.
- Mokyr J.* The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton: Princeton University Press, 2002.
- Mokyr J.* Intellectual property rights, the industrial revolution, and the beginnings of modern economic growth // American Economic Review. 2009. Vol. 99. N 2. P. 349–355.
- North D. C.* The Economic Growth of the United States 1790–1860. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1961.
- North D. C.* Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600–1850 // The Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. N 5. P. 953–970.

- North D. C.* Structure and Change in Economic History. N. Y.; L.: W. W. Norton & Comp., 1981.
- North D. C.* Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. New York: Cambridge University Press, 1990.
- North D. C.* Autobiography. 1993a. ([http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/); дата обращения 30.09.2014).
- North D. C.* Noble Prize Lecture. 1993b. ([http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/); дата обращения 30.09.2014).
- North D. C.* Economic Performance Through Time // American Economic Review. 1994. Vol. 84. N 3. P. 359–368.
- North D. C.* Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- North D. C.* Institutions and the Performance of Economies Over Time // Handbook of New Institutional Economics / C. Menard, M. M. Shirley (eds). Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. P. 21–30.
- North D. C.* Violence and Social Orders // The Annual Proceedings of the Wealth and Well-Being of Nations, 2008–2009. Vol. 1. Social Institutions and The Rule of Law: Ideas and Influence of Douglass North / E. Chamlee-Wright (ed.). Beloit College Press. 2009. P. 19–28.
- North D. C., Davis L. E.* Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- North D. C., Summnerhill W., Weingast B.* Order, Disorder, and Economic Change: Latin America versus North America // Governing for Prosperity / B. B. de Mesquita, H. L. Root (eds). New Haven: Yale University Press, 2000. P. 17–58.
- North D. C., Thomas R. P.* The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- North D. C., Wallis J. J.* Defining the State. Working Paper. Mercatus Centre. George Mason University. June 2010. N 10–26.
- North D. C., Wallis J. J., Webb S. B., Weingast B. R.* Limited Access Order in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development. World Bank // Policy Research Working Paper. 2007. N 4359.
- North D. C., Wallis J. J., Webb S. B., Weingast B. R.* Limited Access Orders: An Introduction to Conceptual Framework // In the Shadow of Violence: Politics, Economics and the Problem of Development in Limited Access Orders / Ed. by D. C. North, J. J. Wallis, S. B. Webb, B. R. Weingast. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 1–23.
- North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R.* The Natural State: The Political Economy of Non-Development. March 2005. (<http://www1.international.ucla.edu/media/files/PERG.North.pdf>; дата обращения 30.09.2014).

- North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History // NBER Working Paper. 2006. N 12795.
- North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- North D. C., Weingast B. R. Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England // Empirical Studies in Institutional Change / L. J. Alston, T. Eggertsson, D. C. North (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 134–165.
- Oakshott M. Morality and Politics in Modern Europe. New Haven: Yale University Press, 1993.
- Olson M. Dictatorship, Democracy and Development // American Political Science Review. 1993. Vol. 87. N 3. P. 567–576.
- Press-Release, 12.10.1993. ([http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/economics/](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/); дата обращения 30.09.2014).
- Reinert E. S. Introduction // Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective / T. S. Reinert (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2004. P. 1–20.
- Reinert E. S., Daastøl A. M. The Other Canon: The History of Renaissance Economics // Globalization, economic development, and inequality: an alternative perspective / T. S. Reinert (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2004. P. 21–70.
- Robbins L. An Essay on Nature and Significance of Economic Science. 2<sup>nd</sup> ed. London: Macmillan, 1935.
- Rowley C. K., Vachris M. A. Efficiency of Democracy? // The Encyclopedia of Public Choice / C. K. Rowley, F. Schneider (eds.). Dordrecht, 2004. Vol. II. P. 189–195.
- Sachs J. D. The End of Poverty: Economic Possibilities of Our Time. New York: Penguin Books, 2005.
- Sachs J. D. Government, Geography, and Growth. The True Drivers of Economic Development // Foreign Affairs. 2012. Vol. 91. N 5. P. 142–150.
- Samuelson P. A. The Foundations of Economic Analysis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1947.
- Searle J. R. The Reconstruction of Social Reality. N. Y.: Free Press, 1995.
- Searle J. R. What is an Institution? // Journal of Institutional Economics. 2005. Vol. 1. N 1. P. 1–22.
- Spolaore E., Wacziarg R. How Deep Are the Roots of Economic Development? // Journal of Economic Literature. 2013. Vol. 51. N 2. P. 325–369.
- Tanner M. Is America becoming a Greece? // Cato Journal. 2013. Vol. 33. N 2. P. 211–225.

- The Elgar Companion to Austrian Economics / Ed. by P. J. Boettke. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 1994.
- Tollison R. D. Chicago Political Economy // The Encyclopedia of Public Choice / C. K. Rowley, F. Schneider (eds.). Dordrecht, 2004. Vol. II. P. 74–75.
- Trenin D. Getting Russia Right. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2007.
- Ward K. The World in 2050. Quantifying the Shift in the Global Economy. HSBC Global Research. Global Economics, January 2011. (<https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hsbc.com%2F~%2Fmedia%2FHsbc.com%2Fabout-hsbc%2Fadvertising%2Fpdfs%2Fthe-world-in-2050.ashx&ei=WU0rVPf4A4v9ywP-wIDIDg&usq=AFQjCNGzKMCYVIVSAiz4Qjz6XXVhVdW2-w&sig2=Uztxf0aSpck536RmBsj8dQ&bvm=bv.76477589,d.bGQ&cad=rjt>; дата обращения 30.09.2014).
- Weingast B. R. The Failure to Transplant Democracy, Markets, and the Rule of Law into the Developing World // The Annual Proceedings of the Wealth and Well-Being of Nations, 2008–2009. Vol. 1. Social Institutions and The Rule of Law: Ideas and Influence of Douglass North / E. Chamlee-Wright (ed.). Beloit College Press, 2009. P. 29–40.
- Weingast B. R. Why Development Countries Prove so Resistance to the Rule of Law? // Global Perspectives on the Rule of Law / J. J. Heckman et al. (eds). N. Y.: Routledge, 2010. P. 28–52.
- Whaples R. B. 2010. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Douglass C. North, John Joseph Wallis and Barry R. Weingast. 2009. Cambridge: Cambridge University Press // Book Review. (<https://www.gordon.edu/ace/pdf/F&E%202010%20Spring%20BR-Whaples.pdf>; дата обращения 30.09.2014).
- World Development Indicators. World Bank. (<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS>; дата обращения 30.09.2014).
- World Economic Outlook Database, September 2011. International Monetary Fund. (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata>; дата обращения 30.09.2014).

*Научное издание*

**Андрей Павлович Заостровцев**

**О РАЗВИТИИ И ОТСТАЛОСТИ:  
как экономисты объясняют историю?**

Редактор, корректор *Д. М. Капитонов*  
Дизайн *А. Ю. Ходот*  
Верстка *А. Б. Левкина*

Подписано в печать 22.10.2014. Формат 60×88 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,15. Тираж 700 экз.

Издательство Европейского университета  
в Санкт-Петербурге  
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3А  
e-mail: [books@eu.spb.ru](mailto:books@eu.spb.ru)  
тел.: +7 812 386 7627  
факс: +7 812 386 7639  
Сайт и интернет-магазин издательства  
[WWW.EUPRESS.RU](http://WWW.EUPRESS.RU)

Отпечатано в типографии  
издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,  
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40  
тел./факс (812) 766-05-66  
e-mail: [renome@comlink.spb.ru](mailto:renome@comlink.spb.ru)  
[www.renomespb.ru](http://www.renomespb.ru)